

И ОТ СУДЕБ ЗАЩИТЫ НЕТ



НАТАЛЬЯ
НЕСТЕРОВА

Жребий праведных грешниц
Возвращение

Annotation

Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат, им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства.

«Жребий праведных грешниц. Возвращение» – третья, заключительная часть саги Натальи Нестеровой.

- [Наталья Нестерова](#)
 -
 - [От автора](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Ленинград](#)
 - [Омская область. Село Погорелово](#)
 - [Курск](#)
 - [Ленинград](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Добровольцы](#)
 - [Курск](#)
 - [Блокада](#)
 - [Дневник Насти](#)
 - [Блокада \(продолжение\)](#)
 - [Братья](#)
 - [Омская область. Село Погорелово](#)
 - [Курск. Оккупация](#)
 - [Часть третья](#)
 -
 - [Москва](#)
 - [Погорелово – Ленинград](#)
-

Наталья Нестерова

Жребий праведных грешниц.

Возвращение

© Н. Нестерова, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

От автора

Работа над трилогией подарила мне радость открытия, что не только профессиональные историки, краеведы, этнографы владеют знаниями о прошлом России, но и очень много простых людей оставили воспоминания поистине уникальные. Это касается всех периодов и мест, которые были для меня важны: Сибирь начала прошлого века, предвоенный быт, Курск во время немецкой оккупации, ленинградская Блокада. Моя глубокая благодарность тем, кто передавал рассказы очевидцев из уст в уста, кто записал их. Это наша история, пропущенная через судьбы.

Моя глубокая признательность специалистам разных областей за интересные и толковые консультации: Е. М. Дутовой, О. В. Буратынской, М. А. Жигуновой, Л. А. Ивановой, И. М. Плаксину, Л. И. Лариной, В. М. Губареву.

Ирине Николаевне Умеренковой – низкий поклон за помощь, поддержку и доброту.

Мое восхищение профессионализмом редакторов О. А. Павловской и Татьяны Николаевны Захаровой, обладающей редкой способностью найти и исправить ошибки столь деликатно, что автор не краснеет и не тушует.

Мария Сергеева, заведующая редакционно-издательской группой АСТ, по возрасту годится мне в дочери, и в то же время она – «повивальная бабка» всех моих книг, начиная с первой, выпущенной много лет назад. Как важны добрые и умелые руки, принимающие новорожденного ребенка, так и для книг значимо отношение тех, кто читает их в рукописи. Разница заключается в том, что мы, как правило, не знаем тех, кто первым взял нас на руки, а редактору имеем возможность выразить искреннюю благодарность. Что я и делаю с желанием уточнить понятия: «повивальная бабка» давно превратилась в доброго ангела.

Подготовка книги к печати, ее продвижение и распространение – это труд многих людей, чьи имена не значатся в выходных данных книги. Сотрудникам издательства АСТ, команде, которая трудилась над моей трилогией, – огромное СПАСИБО!

Я не знаю, как благодарить моих главных вдохновителей: мужа, детей, внуков, невесток, друзей – как не знаю слов благодарности воздуху, которым дышишь.

Посвящается ленинградским блокадникам, павшим

и живым. Всем, кто о них помнит.

Часть первая

Накануне войны

*Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Живородящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как раскалённая пустыня
И как алтарь без божества.*

А. Пушкин

*Мать – творит, она охраняет...
Мать – всегда против смерти.*

М. Горький

Ленинград

Весной 1941 года знакомый сапожник сказал Марфе (не для передачи, и языком трепать не надо), что война точно будет и накопления на сберкнижках держать нельзя – реквизируют, а что под матрасом спрятано – обесценится, сама помнишь, как в Гражданскую было, когда деньги в фантики превратились. Сапожник был знающий: у него в мастерской имелся радиоприемник, включенный с утра до вечера. Когда сапожник впадал в запой, его жена приемник уносила и прятала – таков был строгий наказ трезвого мужа, не уверенного, что в пьяном угаре не пропьет дорогую и ценную вещь. Марфа сапожнику доверяла еще и потому, что работал он на совесть, прибитые им подковки не отваливались от каблуков, а подметкам сносу не было. Сапожник питал к Марфе некую слабость, не в амурном смысле, а за оценку его труда. Когда сапожник запивал, Марфа не шла к другим мастерам, а дожидалась его выхода на работу.

У Марфы было накоплено шестьсот рублей – за обучение старшего сына Митяя в девятом классе осенью надо заплатить двести, за десятый класс потом еще двести плюс подсобрать на обучение в институте, в который Митяй, конечно, поступит.

«Образовательные» деньги Марфе было тратить обидно и горько, ведь копейку к копеечке собирала. Но выхода нет. Война – лихолетье, в котором выживают только запасливые хозяева, вроде ее покойной свекрови.

Александра Павловича Камышина, в семье которого Марфа уже много лет, еще с Омска, состояла в домработницах, она спросила при случае:

– Имеются у вас деньги на сберкнижке?

Он кивнул, удивился вопросу: Марфа была щепетильна до крайности в финансовых делах и экономна до жмотства.

– Могу я поинтересоваться, на что тебе понадобились деньги?

– Война с немцами будет.

– Исключено, мы с ними подписали договор о ненападении.

– У меня точные сведения, – упрямилась Марфа.

– Да? – благодушно хохотнул Камышин. – От кого, позволь спросить? Ты имеешь связи в органах зарубежной разведки?

– Какие надо связи, такие и имею. Сколько у вас накоплено?

– Рублей пятьсот.

Негусто, меньше, чем в кубышке у Марфы. Впрочем, неудивительно – при транжирстве-то Елены Григорьевны, жены Камышина.

– Завтра же и сымите. Буду запасы делать.

– Марфа, милая, – снова рассмеялся Камышин, – ты можешь подорвать финансовую мощь государства. Если все поддадутся панике и станут забирать накопления, случится денежный коллапс.

– Мне до всех дела нет, свое домохозяйство перед лихолетьем надо укрепить-обеспечить. Дык, сымите?

Марфа нервничала, потому что он тянул время и смотрел на нее с насмешливым обожанием.

Камышин любовался ею: статная, налитая женской силой, которую не скроешь за мешковатой одеждой. В сорок пять лет Марфа выглядела так, что мужчины, общаясь с ней, приосанивались, расправляли плечи, задирали брови, стреляли глазами. Имей бы, как петухи, перья, призывно встопорщили бы их, будь парнокопытными, выбивали бы дробь конечностями. Но Марфа была равнодушна к мужским ухаживаниям. С Камышиным ее связывали непростые отношения – давние, Марфой пресеченные решительно и бесповоротно.

– Сымите? – повторила она, поджав губы.

– Как прикажешь.

– Спасибо, барин! – поклонилась Марфа и вышла.

Она называла Александра Павловича барином, когда яростилась на его поведение. Камышин терпеть не мог этого обращения.

Марфа принялась закупать продукты долгого хранения – крупы, муку, макароны, сахар, соль, хлеб сушила на сухари. Однажды Камышин, возвращаясь с работы, встретил у парадного Марфу, которая тащила два мешка – один огромный, другой поменьше.

Александр Павлович забрал у нее ношу и спросил:

– Что у тебя тут?

– Клей столярный, – ткнула Марфа на большой мешок, – и лаврового листа по случаю перепало.

– Зачем тебе столько клея? – поразился Камышин.

– Дык его из костей варят.

– Марфа, ты умом тронулась? Собираешься нас клеем кормить? – Камышин остановился на ступеньках.

– Путь будет. – Марфа попыталась забрать у него мешки, но Камышин не отдал. – Съедобное всё ж таки. Вы голоду настоящего не знали.

– А ты знала?

– Нет, потому что у меня свекровь была мудрая женщина.

– Полнейшая ерунда! Сожрут мыши все твои запасы, помяни мое

слово.

– А я кота завела, настоящего крысолова, выменяла на сковородку чугунную.

– Если уж ты настолько озабочена предстоящим голодом, – с издевкой проговорил Камышин, – то завела бы дюжину котов и собак. Мясо всё ж таки, – передразнил он.

Через полгода в Ленинграде не останется домашних животных – все они будут съедены, мыши передохнут сами собой, а крысы, напротив, размножатся.

Но еще до начала Войны произошло событие, повлиявшее на будущее семей Медведевых и Камышиных.

Марфа схватила кухонное полотенце и принялась стегать сына. Минуту назад Митяй сообщил, что Настя Камышина от него беременна.

– Ах ты, ирод! Варнак! Переселенец! – кричала Марфа.

В свое время, когда в Сибирь хлынул народ из центральной России и Украины, слово «переселенец» у коренных сибиряков стало ругательным.

Петр, отец Митяя, гыгыкал, глядя, как жена лупит сына, а тот слабо отмахивается. Петр всегда гыгыкал по любому поводу и без повода. Когда нормальные люди открывают рот, чтобы словами донести свое мнение о происходящем, из уст лыбящегося Петра вырывается: «гы-гы-гы». Сослуживцы, Петр работал кочегаром-истопником, и соседи принимали его за недоумка. И только близкие знали, что еще никому не удалось выиграть у Петра Еремеевича в шахматы, что он складывал в уме пятизначные числа, что, фанат-рыболов, он всегда приходил с большим уловом, ему были известны повадки каждого вида рыб. Кроме шахмат, праздных арифметических упражнений и рыбалки, Петра более ничего не волновало. Для окружающих он был физически сильным полуидиотом.

– Язви ты черти! – разорялась Марфа. – Ты пошто девку спортил?

Как и все Медведевы, Марфа была высокого роста, но двухметровому Митяю доходила только до носа. Ему надоело уворачиваться, тем более что мама обладала нешуточной силой и полотенце хлестало больно.

Он захватил полотенце, притянул за него мать, крепко обнял:

– Мам, хватит! Не портил я ее. Так получилось. Случайно...

– Дык, разве случайно девки брюхатеют, – обмякла Марфа и, всхлипнув, уткнулась сыну в грудь. – Как я теперь барину и барыне в глаза посмотрю?

– Я заметил, – Митяй широко улыбнулся и погладил мать по спине, –

что, когда ты злишься или волнуешься, переходишь на сибирский говор. И еще называешь Елену Григорьевну и Александра Павловича барами. Какие они баре? Простые советские труженики, интеллигенты.

– Ага, Елена Григорьевна особо труженица у нас.

Критику в адрес хозяйки ни отец, ни сын не восприняли серьезно. Марфа пылинки сдувала с Елены Григорьевны, относилась к ней как к хронически больному ребенку. Этому ребенку было за сорок лет и она выкуривала две пачки папирос в день.

С улицы прибежал Степан, младший, тринадцатилетний сын Медведевых. Увидел обнимающихся мать и брата.

– Кто-то помер? – с испуганным интересом спросил Степан. Интересы было значительно больше, чем испуга. Не дожидаясь ответа, сообщил: – В двадцать четвертом корпусе дядька умер, сейчас выносили, на лестнице, на повороте гроб не вписался, мертвец чуть не выпал...

– Я тебе! – показала Марфа ему кулак. – Цыть!

Степан юркнул под мышку к отцу, который продолжал гыгыкать.

Марфа отстранилась от сына, взглянула на него с любовью и болью:

– Тебе лет-то сколько...

– Шестнадцать. Зато Насте восемнадцать.

– Какие из вас родители, малолетки!

– Переведусь в вечернюю школу. Пойду работать.

Степан ткнул отца в бок:

– Про что они?

– Настя, гы-гы, от Митяя, гы-гы...

– Забеременела?.. забережемевневе... – запутался Степан.

– Гы-гы, – подтвердил отец.

– В двадцать шестом корпусе, – в голос, громко перебил беседу матери и брата Степан, – тоже девушка нагуляла, так ее мать по коридору за косы таскала, от квартиры к квартире, чтобы выяснить кто...

– Уши после вчерашнего зажили? – спросил Митяй брата.

Он уже давно не прикладывал младшего брата по-настоящему, трудно было силу рассчитать, крутил за уши, когда Степка проказничал. Степень усилий легко определялась по визгу младшего брата, и Митя прекрасно слышал, когда Степка вопит притворно, а когда ему действительно больно и страшно, что без ушей останется.

Степка был смышленным, учился отлично, домашнее задание делал за двадцать минут. Но не потому, что школу и учебу любил. Хотел быстрее отделаться – и на улицу. Если в дневнике двойки и тройки, то мать на улицу не пустит, а Митька уши выкрутит, потом они как у слона. Если уши слона

в кипятки опустить и сварить.

Степка был артист и хулиган. Прекрасно подражал голосам соседок. Мог постучать в их двери, попросить: «Маня (Глаша, Вера, Таня...), сахару не одолжишь?» И вместе с приятелями убегал, прятался за дверью на общую кухню. Женщины выходили и паялились друг на друга, выясняли, кто у кого одолжиться хотел. Потеха!

Проказы с кошельками на веревочке, пятаками, приклеенными к мостовой, которые «счастливые» обладатели найденного поймать или отодрать не могли – это все Степка Медведев. И еще он обожал многолюдное действо: похороны, поминки, свадьбы, соседский мордобой, женские кухонные склоки. Стоял где-нибудь в уголке (в окружении приятелей, конечно) и в нужный момент мог гаркнуть: «Так она сама его в гроб загнала!» или: «Глядь, какая на ней кофта! У Маруси тридни назад такая пропала – чистая стиранная, с веревки», или: «Соли-то вам в борщ Верка бухнула. А вы думала, что дважды посолили». Кухонная бабья перебранка, привычно и мирно булькающая, превращалась в громотрясное извержение вулкана.

Елена Григорьевна Камышина говорила про Степку:

– Это больше, чем талант. Это дар. Прирожденный режиссэр, – Елена Григорьевна многие слова произносила на дореволюционный манер.

Марфа качала головой:

– По тюрьмам да острогам этот режиссэр будет театр наводить.

Ночью Марфа плохо спала, хотя обычно, намаявшись за день, засыпала как убитая – из пушки пали до пяти утра не добудишься. В пять, точно по внутреннему будильнику, открывала глаза, начинался рабочий день, который в лучшем случае заканчивался в десять вечера – это если Елена Григорьевна не загуляет, не придется ее дожидаться из театра, ресторана или из гостей. Вставать рано Марфа привыкла с детства, с крестьянских юности и молодости.

Одолевали тревоги за будущее старшего сына, напознали как злые муравьи, подступали к сердцу, но впиться не могли, смывало их волной – радостью сознания того, что на свет появится новый человечек – ее, Митенькино, Еремея Николаевича Медведева, царство ему небесное, продолжение. Того, что ее сын не от мужа рожден, а от свекра, не знала ни одна живая душа. Петр детей не мог иметь, точнее, не захотел делать операцию, чтобы их иметь. Семнадцать лет назад от безысходности Марфа полезла в петлю, свекор случайно в сарай заглянул, спас ее. И подарил ей счастье понести Митеньку. Еремей Николаевич был очень хорошим,

жалостливым человеком, не снохарем-домогателем, не преследовал ее, не задаривал ради случки. Просто подарил ей счастье материнства. Ради такого парня, как сынок Митяй, стоило не то что под свекра лечь, под последним варнаком распластаться.

Вот и Степка... Марфа тяжело вздохнула и перевернулась на другой бок. На одно лицо с хозяином, Александром Павловичем Камышиным. Удивляться нечего, что сын на отца похож. Ехидные соседки подкатывали к Елене Григорьевне, указывали на сходство и на то, что муж ее Степку сынком называет.

Елена Григорьевна вскидывала брови и пускала дым от папиросы в лицо сплетницам:

– Он так называет и Дмитрия, а Марфа мою Настеньку – доченькой. По-видимому, вам не знакомы особенности личного обращения у русского народа. Хотя вы сами явно не голубых кровей, а высшего филологического образования для этого не требуется. Что же касается сходства, то я похожа на английскую королеву Елизавету. Прикажете записать себя в ее наследницы? Избавьте меня от пошлых домыслов и собственного присутствия.

Они еще в Омске жили, когда Марфа уступила напору Александра Павловича. С его стороны была страсть, Марфе совершенно не нужная, с ее стороны – ноющее, измучившее как безостановочная внутренняя судорога желание иметь еще одного ребенка. Как только убедилась, что понесла, дала барину от ворот поворот. Он бесновался, до сих пор нет-нет да и совершает попытки.

Две или три недели назад было. Нетрезвый, зажал ее в уголке у сортира, в грудь уткнулся:

– Марфинька, милая! Как я без тебя истосковался!

И давай целовать куда попадая.

Пьяный, поэтому можно не церемониться. Врезала ему кулаком снизу в челюсть, отлетел, приземлился на задницу. Пол-лица у него потом раздуло синячищем, говорил всем, что на лестнице поскользнулся. А как еще учить? Дай ему! Она не гулящая баба! Хоть и грешница, большая грешница.

Мысли снова вернулись к Митяю. Шестнадцати лет никак не дашь – плечи широченные, в талии узок, руки и ноги длинные, чувствуется в них сила большая и даже кажется, что подрагивают от невозможности применить эту силу. В детстве у него были волосы беленькие, нежно-кудрявые, с возрастом потемнели, но волна на русой макушке при дурацкой стрижке полубокс осталась. Глаза серо-голубые, глубоко посаженные и как

у Еремея Николаевича добрые-добрые. Лицо крупное, губы чудно хороши. Сколько раз наблюдала, уставятся бабы на его рот и немеют. Марфе-то привычно, а одна из приятельниц Елены Григорьевны сказала: «Поцелуями этих губ можно торговать». И вот что странно. Глаза добрые, губы завлекательные, фигура могучая, а весь Митяй в целом никак не располагает к легкости общения, к панибратству. Нет в нем простетскости, он не «свой парень», он сам по себе, отдельный. При этом в каждой дырке затычка, особенно в спортивных. За школу, а то и за район выступать по бегу, футболу, гребле, прыжкам, плаванию, по конькам – кто? Дмитрий Медведев.

К Марфе один раз тренер пришел, не то по волейболу, не то баскетболу, но по какому-то «болу» точно. Напористый, даже испугал поначалу, заморочил. Принялся трындеть, что Митяй перспективный, что у него возможности в составе сборной за границу ездить, Марфе хотелось в ушах пальцами прочистить – заложило. Кивала, делая вид, что понимает и вникает, так же кивала учителям в школе, которые говорили, что Митяй способный, но «неопределенный». Ему, мол, нужно решить, в каком предмете, в математике, биологии или в литературе подналечь, чтобы из твердых хорошистов перейти в полные отличники.

Эти люди, безусловно желавшие ее сыну добра, не понимали, что она – только мать. Хорошо кормить, вежливость и уважение к старшим прививать. Одевать с иголки – чтоб туфли парусиновые, каждое утро порошком зубным натерты, белоснежно сверкали, на толкучке втридорога купить «соколку» – трикотажную футболку со шнуровкой на груди, следить, чтоб порты не коротки были, ведь рос как на дрожжах, только школьные брюки справишь, а они через полгода чуть не до колен подскочили.

Однако именно ей, матери, Митяй доверил свою мечту. Не спортсменом, не ученым по биологии хотел стать, а художником. Это у него тоже от настоящего отца. Еремей Николаевич вырезал по дереву – красиво, затейливо.

Елена Григорьевна год назад нашла Митяю учителя по живописи – для подготовки поступления в Художественную академию. Двадцать рублей в месяц учитель брал – это десять литров керосина, но Марфа не скупилась. Раз надо, значит надо, парень должен сам свою судьбу строить, а она, мать, только условия создавать и следить, чтобы не охальничал, чтоб повадок бандитских не набрался. Ходил-ходил Митяй к учителю, а потом вдруг смотрит Марфа сын какой-то стал вроде приспатый, будто дрых десять лет, а сейчас проснулся, озирается, как впервые видит, и то, что видит, ему не

нравится.

– Смурной ты в последнее время, – прямо заявила она Митяю. – Говори как есть матери. Чего не пойму, растолкуешь.

Митяя точно прорвало: заговорил торопливо, горячо, размахивал руками, когда не мог подобрать точного слова.

– Ведь как мы, то есть я представлял живопись? Эрмитаж, Русский музей, Рубенс, Веласкес, передвижники – как вершина классового искусства. Какое отношение классовая борьба имеет к творчеству? Помнишь, я водил тебя в музей?

– Конечно, «Бурлаки на Волге».

Для Марфы каждый выезд в город был мукой. Но сын очень хотел показать ей картины. Запомнились «Бурлаки». Большею частью потому, что подтверждали вековое убеждение, что в Расеи (сибиряки всегда числили себя отдельно) жизнь беднее и бесправнее. Бурлаков на сибирских реках быть не могло, на них по природным условиям не бурлат, да и не сыщешь холопов, которых можно запрячь точно лошадей.

– А современные картины? – пытал Митяй. – Все эти портреты членов правительства, бравых сталеваров и румянощеких доярок?

– Хорошие портреты. Натуральные.

– Мама! Искусство должно развиваться, осваивать новые языки. Это как человек. Вот он ребенок, лопочет, потом говорит правильно, литературно, потом объем знаний требует выражаться по-особому. Сейчас! – вскочил Митяй. Достал из сумки лист и положил перед матерью. – Мне Игорь Львович подарил. Только посмотри, какая экспрессия в каждом штрихе!

Перед Марфой лежала серая картонка, облохмаченная по краям, с пятнами от грязных пальцев и от капель пролитого чая или кофе. Люди, нарисованные карандашом, то ли дерущиеся, то ли спорящие, то ли вытворяющие неведомое что. Люди были в виде палок, кругов и черточек.

– Мама, ты видишь, видишь? – горячился Митяй. – Социалистический, а также критический реализм просто убиты одним этим этюдом.

– Кто рисовал-то?

– Художник погиб или эмигрировал, неизвестно. Но на тебя ведь произвело впечатление? Я две ночи не спал! Меня его мазок, то есть штрих, ума лишил.

– Побереги ум, сынка. Честно тебе скажу, мне «Бурлаки на Волге» милее и понятнее. Что до того, будто художество как человек... Родился безмолвным, потом лопочет, каша во рту, потом отдельные слова, к школе уж почти не картавит и не пришепётывает, после пятого класса слова

умные проскакивают, а дальше, если образование получит, и вовсе не угонишься с понятием. Только ведь в конце он умирает.

– Кто?

– Человек, любой человек. Конец известен и другого не бывает. Зачем искусство, которое сгинет? Поперву, сынка, научись рисовать как... этот, с «Бурлаками»...

– Репин.

– А потом уж свои языки придумывай.

Она видела много работ сына, поражалась, как точно он улавливает сходство в портретах. Угольком или простым карандашом малевал, а Петр как живой, лыбится, но идиотом не кажется, даже каким-то умным и значительным, вроде чемпиона по шахматам. На Степки портреты глянешь, так и хочется спросить: «Что эта шельма еще натворил?» Собственные портреты Марфа оценить не могла, только умилялась до слез – сынка ее запечатлел. Но чаще всего Митяй рисовал Настеньку. Разную – дурашливую, хитро-лукавую, обиженную, с кулачками во рту, даже летящую по небу навроде чудной птицы.

Марфа тихо вздохнула: конечно, не о такой жене для сына она мечтала. Чтоб ростом была повыше, костью пошире, в бедрах раздольнее, с грудью наливной, а не с прыщиками вместо сисек. Но такую уж себе Митяй выбрал судьбу. В пять лет выбрал, Насе тогда семь было. Увидел ее и присох навечно. Они-то, взрослые, тогда посмеивались над их детской привязанностью, да только никуда она с годами не делась. Однолюб Митяй. Их даже во дворе не дразнили «тили-тили тесто, жених и невеста», а вздумай кто-нибудь обидеть Настеньку – Митяй живо голову скрутит. У него не руки, а лапищи. А однажды на спор арбузы плющил. С двух сторон хряснет – арбуз в кашу. За тот спор ему от матери досталось полотенцем по шее. Арбузы не яблоки из сада ворованные, они денег стоят.

Настя год назад школу окончила, в консерваторию поступала, да провалилась. Пристроили музыкальным работником во Дворец пионеров. Тунеядство, это если ты бездетная и не на производстве, – статья, посадить могут. Вот теперь будет детная.

Хорошо, что Настя не полностью на мать походит, что-то и от отца взяла. Сметка практическая есть, интерес к хозяйству просматривается. Пироги несколько раз с Марфой пекла, щи варила. А кто Марфу в очереди за мануфактурой, обувью, одеждой сменяет? Опять-таки Настя, Митяй при ней, конечно. Стоять-то приходится по шесть часов. В продовольственном магазине быстрее очередь идет, в полтора-два часа можно уложиться.

«Да что я с младенцем не управлюсь, не подниму внучика?» –

спросила себя Марфа с досадой.

Досада происходила от того, что время позднее, вставать скоро, а она думы думает. Повернулась на бок, лягнула пяткой мужа, чтобы храпел тише, и погрузилась в сон.

Омская область. Село Погорелово

Хрупкая, невысокая по сибирским меркам женщина сидела перед директором школы и учительницей – молодыми педагогами, присланными в Погорелово два года назад. Июнь, разгар страды, Прасковья Порфирьевна Медведева, единственная из родителей, пришла узнать, как сын окончил пятый класс. Она и после каждой четверти наведывалась. Других родителей в школу не заманишь: получают вызов – розгами пониже спины отстегают сына и велят: «Скажи учительнице, что тебя уже наказали». По их логике раз вызывали, значит, проказничал и заслуживает порки. Какие у него оценки, родителей не волновало. Прасковья Порфирьевна – исключение, из-за каждой тройки или четверки расстраивалась.

– По итогам года, – говорила учительница, – у Егора только по русскому языку четверка, остальные пятерки. Вот, посмотрите его диктант.

Прасковья была грамотной, но быстро читать не умела, разобрать каракули сына с ходу не могла. Сосредоточилась на предложении, в котором Егорша сделал три ошибки, исправленные красным карандашом. «Солнце садилось за лес». Егорша написал: «Слонце содилась за лес». А дальше ни одной помарочки. Опять мечтал! С ним так бывало: делает домашнее задание и вдруг замрет, кончик карандаша грызет, смотрит мечтательно – где-то мыслями витает. Окликнешь его: «Сынка! Трудись!» – посмотрит сквозь тебя, голову опустит, начнет писать и обязательно ошибок наляпает.

Учительница и директор хвалили Егора, говорили, что он способный и ответственный.

– Так-то оно так, – кивала Прасковья. – Однако ж «слонце». Наделает ошибок глупых, в институт не поступит.

Педагоги незаметно переглянулись. До окончания семилетки Егору Медведеву еще два года. Обучение в старших, восьмом, девятом, десятом классах платное, не говоря уж про техникумы или институты. Откуда у бедной колхозницы возьмутся средства? Кроме того, Егор Медведев – сын расстрелянного в тридцать седьмом году врага народа и происходит из семьи кулаков. Какой уж тут институт. Если не останется в колхозе, то ему один путь – в ремесленное училище или в фабрично-заводскую школу, после которых обязан четыре года отработать на предприятии, плюс армия, срочная служба.

– Список литературы на лето? – спросила Прасковья Порфирьевна.

– Есть у него список, – улыбнулась учительница. – Только все произведения им давно прочитаны, как и большинство книг из школьной библиотеки да и нашей личной.

– Книги... они ведь развивают?

– Очень развивают, – заверил директор.

Педагоги вышли на крыльцо проводить уникальную родительницу. Несколько минут смотрели ей вслед. Прасковья Порфирьевне до дальнего стана, где пахали, идти часа три, если не случится оказия, не подвезет кто-нибудь. Стремление этой женщины дать высшее образование сыну вызывало уважение, но было неосуществимо и бессмысленно.

Прасковья шла и легонько поглаживала висевший на шнурке рядом с крестиком льняной мешочек. В нем покоилась переданная из тюрьмы предсмертная записка мужа: «Кланяюсь. Простите. Скажите Парасе, пусть постарается детям образование дать». Напутствие Степана она выполнит любой ценой, не глядя на «слонце».

Собрать денег и оплатить учебу в старших классах Егорши она действительно не могла. Колхозникам зарплат не платили, выдавали продуктами на трудодни. Того, что удавалось выручить, продавая на городском рынке собственные молочные продукты, ягоды, битую птицу, не хватало на одежду, обувь, посуду, сельхозорудия, не говоря уж про чай и сахар. Да и здоровьем крепким Парася никогда не отличалась, не то что двужильная Марфа. Но именно на Марфу, любимую сестричку, надеялась Парася. Они, жены родных братьев, называли себя сестричками в тайне от суровой свекрови Анфисы Ивановны еще когда жили в родовом доме Медведевых в счастливые времена молодости. Да и Нюраня, сестра убитого Степана и живого Петра, поможет. В двадцать девятом году Нюраня бежала от раскулачивания в Расею, зацепилась в Курске, удачно замуж вышла и воплотила свою мечту – выучилась на врача. Нюраня, ныне Анна Еремеевна Пирогова, время от времени присылала деньги и писала, чтобы Парася насчет трат на обучение не беспокоилась.

У Параси было трое детей. Старший, Васятка, уже должен оканчивать школу. Парася ничего не знала о большаке уже четыре года. Васятку увезла на воспитание, умыкнула семья бухгалтера Фролова из коммуны, которой руководил Степан. Только его заарестовали, Фроловы манатки собрали, Васятку подхватили и сгинули на просторах Расеи. Бездетные Фроловы очень привязались к смышленому Васятке и с детства с ним занимались разными предметами, даже иностранными языками. Так привязались, что

украли. Парася только-только младшенькую Аннушку родила, в Омск помчалась мужа вызволять, в больницу с тяжелой грудницей попала... За ее спиной и в неведении и увезли в неизвестном направлении большака. Хоть бы одну весточку прислали! Парасе ничего не оставалось, как молиться за сына и надеяться, что ее слезные материнские мольбы дойдут до Бога.

Жизнь Параси после ареста и расстрела мужа разломилась как каравай. Одна часть осталась сладкой, сдобной – воспоминания. Другая краюха, сухая, черствая – проживаемое существование.

Прасковью с детства окружали вдовы: ее отец погиб в империалистическую войну с германцем, потом были революция, колчаковщина, Сибирское восстание – мужиков выкашивало, сиротило детей, подрубало корни. Выкричав, выплакав горе, замуровав его остатки в сердце, бабы находили в себе силы жить дальше. Им нужно было втроене работать, чтобы поднять детей. Смурная, печальная ты много не натрудишься – выест тебя изнутри кручина. Да и кому приятно постоянно видеть похоронную физиономию? Поэтому вдовы бывали веселы в праздники, интересничали с чужими мужиками, вдоволь сплетничали, обсуждая происшествия за соседскими заплотами и колхозные новости. Прасковья так не могла, но притворялась, что может. Заставляла себя улыбаться в ответ на шутку, делала вид, что внимательно слушает бабы пересуды, мамино старческое ворчание, щебетание сестры, запутавшейся в женихах. Сначала притворство тяжело давалось, через несколько минут хотелось закричать, разрыдаться, биться головой о стену: «Как вы можете нести чепуху, когда Степан умер! Когда его нет! И никогда боле не будет!» Потом свыклась держать прилюдно нужное настроение.

По общему мнению, Прасковья Медведева стала чуть блаженной. С другой стороны, она в юности была пуглива и стеснительна, выйдя замуж, расцвела, расщебеталась – как робкая птичка, вдруг запевшая в голос. Овдовев, Прасковья будто вернулась в свое природное состояние.

Ее мужа вспоминали часто. Степан Медведев был из тех мужиков, что по наружной стати, по благородству характера, а главное – по делам – надолго остаются в памяти народной. О его гибели говорили: гроза бьет по высокому дереву.

Степан родился в зажиточной семье, а революцию принял всем сердцем. Был председателем сельсовета и в контрах с родной матерью Анфисой Ивановной – домовитой кулачихой, гордой тиранкой – словом, очень выдающейся правильной женщиной. Отец Степана по другой, не

крестьянской, части был славен, знаменитился ремеслами, особенно работой по дереву. Красивее дома Медведевых, сожженного Анфисой Ивановной в момент раскулачивания, не было во всей Сибири. Медведев Степан организовал сельхозкоммуну, слава о которой за несколько лет прогремела не только по Сибири, но и по всему СССР, доказав преимущества коллективного труда.

Почему-то эти преимущества, как уяснили сибиряки, очень прекрасно расцветали, когда во главе коммуны или колхоза стоял хозяин крепкого ума. А если председателя колхоза мамка в детстве с лавки уронила и у него звон в голове и в членах трепыхание, то никакого успешного преимущества не будет. Коротко говоря, как во всяком домовладении – есть или мудрый хозяин, или хвост собачий. Как у них там на фабриках городских, нам не ведомо, а у нас от посева до уборки сразу ясно становится.

Прасковья слушала, как восхваляют ее мужа, с застывшей улыбкой. Люди не могли догадываться, что значило для нее видеть Степана, утопать в его объятьях, принимать ласки, засыпать на его груди, рожать ему детей, хоронить не выживших, лелеять здоровых... Она в политике и в экономике колхозной никогда не разбиралась. Она истово любила Степана и, ответно, получала его любовь. Муж погиб, а ее любовь осталась. Это как жажда при абсолютной уверенности, что больше не найдешь чистой воды: не встретится ни родник, ни речушка. Русло широкой вольной реки, по которой ты радостно плыла, высохло, потрескалось, и бредешь ты по нему, спотыкаясь о коряво застывший мусор.

Прасковью подвез на телеге Максим Майданцев, бригадир. Его жена Акулина, баба вздорная, крикливая, любящая власть, была председателем их колхоза.

Максимка происходил из почетной сибирской семьи, погубленной событиями отечественной истории. У его бабки было пятеро сыновей – как на подбор гренадеров, тихого нрава и силищи невероятной. Всех в революцию, колчаковщину, в Сибирское восстание двадцать первого года поубивало, в том числе и деда, с которого сыны были чистыми слепками. Остались внук Максимка и две внучки – от сыновей, чьи жены успели понести и родить, и две невестки бездетные. Максим рос в бабьем царстве вечных склок, но вырос незабалованным и при достоинстве – как прежние Майданцевы. У него была большая любовь с Нюраней Медведевой, пожениться не успели. Спасая Нюраню от ссылки в страшный Васюган, девушку родные отослали в Расею, и Максим свою любовь потерял. Поначалу заростился до крайности – банду организовал, чтобы

раскулачников-чекистов изничтожать. Степан Медведев вовремя подхватился, пока мальчишки больших бед не наделали. Банду разогнал, а Максимку привез к ним в коммуну под личный присмотр. Парася и Степан за ним ходили, как за больным. Ведь парень-то был – заглядение! Настоящий сибирский могутный мужик из него мог выйти. Не получилось, стух Максимка.

Так редко бывало, чтобы мужик из-за бабы терял жизненный интерес, тем более что Максимка и Нюраня в пору своего жениховства были еще очень молоды и толком, то есть на опыте жизненных испытаний, познать друг друга не могли. Однако ж вынула Нюраня у Максимки сердце и увезла в дальние края. Стал он бессердечным, не в том смысле, что жестоким, озлобленным, а пустым душой, равнодушным. Тут его вдовая Акулина заметила, даром что старше парня была и детей уже имела, затащила в постель, уласкала до того, что вскоре от Максимки понесла. Сплетничали, что Парася их брак подстроила, потому как Акулину не любила и хотела с глаз долой из коммуны услать. Парася ведь тогда супругой главного руководителя была и про нее многое сочиняли. Не любила Акулину – правда, а что подстроила их брак – вранье. Акулина сама хоть под живого, хоть под мертвого подстроится. А когда объявила, что на сносях от Максимки, тут уж ни у него, ни у Медведевых вариантов не было.

Сколько лет прошло? Двенадцать, не меньше. Максимка телом возмужал, бороду отрастил, а духом так и не воскрес: глаза отрешенные, как у кандальника, который смирился с приговором на вечную каторгу и не ждет от жизни ничего радостного.

Они ехали по лесной дороге, Парася на телеге полулежала, Максимка правил лошадей, время от времени кренясь, уворачиваясь от веток. Говорили о колхозных делах, потом замолчали.

«Хочет про Нюраню спросить», – подумала Парася и сделала вид, что задремала. Не хотелось беречь старые раны.

Уловка не удалась. Максим кашлянул и попросил:

– О Нюране поведай.

– Дык, чего рассказывать? Все с божьей помощью: живет, работает, дочку воспитывает. Имя у той чудное – Клара.

– Исполнилась ее мечта, добилась Нюраня. Хотела доктором стать и стала.

– Она по женским болезням и родам врач.

– У тебя фотографии ее нет? Не присылала? Покажешь?

Фотография у Параси дома была. На ней Нюраня, настоящая городская дама, с мужем и дочкой. Супруг Нюранин Парасе не понравился –

напыщенный, грудь колесом и живот заметный, как у лавочника. А девочка славненькая, с пышными бантиками на косичках.

– Ни к чему тебе, Максимка, на фотографии смотреть и сердце тревожить. Что было, то прошло, быльем заросло.

– Оно-то, конечно. Только, знаешь, Парасенька, иногда так подступит! Бросил бы все и рванул к ненаглядной. Что кумекаешь, приняла бы меня?

– Господь с тобой, Максимка! Куда тебе беспаспортному? Как тебе совесть позволит дезертирствовать, когда на тебе семья и детки?

– Да и кто я против Нюрани, – точно сам с собой говорил Максим. – Лапоть деревенский, а она с образованием, не на земле ковыряется, людей лечит.

Другому человеку Парася возразила бы, сказала, что для любви не высшее образование главное, а влечение сердца. Максиму же посоветовала:

– Выкинь из головы!

– Токма если ее отрезать.

«Ах ты, горемыка, – мысленно сокрушалась Парася. – Ему так же лихо, как мне, а может, и похуже. Моего Степана уже не вернешь, а он знает, что где-то ходит по земле его любовь и судьба. От капельки надежды на душе еще ядовитее, чем совсем без надежды. Нюраня, поди, совсем про Максимку забыла, ни в одном письме про него вопроса не спросила».

Они нагнали Юрку-скотника. Парася подвинулась, Юрка запрыгнул на телегу. Он был известным в селе балагуром и фантазером. Где Юрка, там смех и потеха. И сейчас он с ходу принялся веселить попутчиков.

– Обращаюсь к тебе, Максимка, как к начальству в чине бригадира. Непорядок у нас на ферме. Можно даже сказать трагедь с новыми телками в главных ролях фильма.

– Что такое? – откликнулся Максим.

– Не вяжутся телки, не идут под быка, брыкаются так, что доблестный Буян покрыт синяками, что твой африканский леопард.

Парася улыбнулась, Максим хмыкнул.

– Приезжал ветеринар из Омска, – продолжал Юрка. – Солидно коровам в рот заглядывал и трубочкой брюхо им прослушивал. Я, конечно, хотел спросить, рот-то при чем и брюхо? У них под хвостом причина гнездится, но умолчал. Хотя мне на личном опыте давно известно происхождение возмутительного брыкания новых телок.

– Какое же? – спросила Парася.

– Телок откуда брали? Из Тарасовки! Вот! Что вы недоумеваете? У меня жена из Тарасовки.

Максим и Парася вежливо хохотнули, а Юрка не унимался:

– Ветеринар тот нас просветил, что, мол, в будущем случка коровы с быком отойдет в прошлое как класс буржуазии. То есть коровы с быками останутся, но будут спариваться научно и в отдалении. Значит так: у быка шлангом и насосом откачивается семя. Максимка, я хотел бы посмотреть на того смельчака, что станет у Буяна откачивать! Далее коровы выстраиваются в ряд, как новобранцы на плацу, снимают штаны, то есть задирают юбки, в смысле – поднимают хвосты, и туда вводится... он так говорил: «вводится содержимое».

– Фу! – скривилась Парася. – Гадости какие!

– Да, честное партийное! – перекрестился Юрка. – Все доярки слышали, у них спроси. Меня, конечно, интересовало, кто коровам содержимое станет вливать. Если скотник, то я – пас! Меняю профессию, а то осеменителем прозовут, как того конопатого счетовода, что один раз по району проедет, а через девять месяцев бабы рыжих младенцев на свет производят. Ветеринар говорил: «Наука не стоит на месте, и проблема породистости скота будет решена». Меня взволновало, куда наука дойдет, не ровен час до людей доберется. Задаю ему конкретно-предметный вопрос. Да, отвечает, такое в принципе возможно и с людьми, потому что они млекопитающие. И вот тут, Парася, представилась мне картина до нервной дрожи страшная. Нас, мужиков, к насосам подключают. Армию возьми: роты, полки – это же тыщи солдат! И все – к насосам. Далее женщины. Они, конечно, просто так не дадутся. Но если соревнование организовать, мгновенно загорятся. Первыми семя получают ударницы с производства и колхозницы с наибольшим числом трудодней. Входят они в помещение, как библиотека, только на полочках не книги стоят, а скляночки с бирочками, как из аптеки. Ходят бабы вдоль полок и читают: «Гаврила Петров, кудрявый, чемпион по лыжам» или «Игнат Морозов, рост два метра, знатный тракторист». Ударницы, ясное дело, расхватают всех кудрявых, двухметровых и знатных. Остальным бабам достанутся коротышки с дефектами.

– Насочинишь ты, Юрка, – хмыкнул Максим.

– Балабол. Хлебом не корми, дай лясы поточить, – сказала Парася.

– А что я? – развалился на телеге Юрка. – Представил вам научную перспективу будущего. Я и своей любезной Ольге Гавриловне со всей конкретностью заявляю: «Даром, что ты из Тарасовки, пользуйся живым супругом, пока не пришлось скляночками довольствоваться».

Парася подумала, что будь сейчас здесь Степан, он бы хохотал от души. Его смех, раскатистый и сильный, был как свежий ветер в жару – уносил потный морок, освежал. Степан и смеялся в голос, и громогласно

кричал на нерадивых тружеников – не только у виновных, у слушателей коленки подгибались. Он все делал в полную силу, и мир, когда из него ушел Степан, ослабел, лишился части общей мужской силы, которая и есть опора мира.

Курск

– Анна Еремеевна! – заглянула в ординаторскую медсестра. – Миленькую доставили.

– Поймали? – спросила доктор, оторвавшись от историй болезни, которые заполняла после обхода.

– Сама пришла сдаваться. В третью палату ее положила.

– Хорошо, я к ней загляну.

«И что я буду делать с Миленькой?» – спросила себя Нюраня.

Двадцать лет назад в семье железнодорожников родилась девочка, которая как нельзя точно соответствовала родовой фамилии – Миленькая. Большущие глаза – распахнутые в удивлении, в ожидании чуда и радости, робкая улыбка не сходит с лица – будто ребенок хочет сделать тебе подарок, но стесняется. Таня Миленькая летом любила собирать цветы и дарила всем букетики, а зимой делала букетики из бумаги. Если Таня видела, что кто-то грустен, печален, хмур, устал, она несла букетик: «Возьмите цветочки!» Она не была умственно отсталой, но из-за своей небесной доброты производила впечатление блаженной. Все бы славно, но у этого ангелоподобного существа имелся врожденный порок сердца. Отчасти поэтому и выразительные глаза на худеньком, бледном до серости личике. Плюс синюшные губы и постоянная одышка. Таня Миленькая не должна была прожить и до десяти лет, однако, не иначе, как молитвами всех тех, кого наивно утешала, не умерла, выросла в девушку – слабую, хрупкую, но вполне сформировавшуюся. И даже вышла замуж за славного парня.

Нюраня, она же доктор Анна Еремеевна Пирогова, познакомилась с Таней, носившей фамилию мужа, но всеми по-прежнему величавшейся Миленькой, когда перепуганные родители привели ее в больницу. Таня Миленькая была беременной. Вариантов не существовало. Анна Еремеевна сделала операцию выскабливания, то бишь аборт, и вызвала для разговора мужа Тани, которому в жутких красках обрисовала картину мучительной гибели его жены и недоразвившегося ребенка, озвучила советы по предохранению от беременности. Славный парень прибежал через полгода: Таня опять на сносях. Таня пряталась в кустах за городом, где ее отловила специально организованная команда, точно диверсантку. Снова чистка. После операции Нюраня орала на Миленькую и ее мужа так, что сбежались все ходячие пациентки. Было на что посмотреть: доктор Пирогова совала в руки мужа Тани скальпель и кричала: «Убей ее прямо сейчас!»

За устроенное представление Нюране объявили выговор по больнице. Тем более обидный, что Таня снова всех перехитрила.

Рожениц и гинекологически больных женщин было много, очень много – не затихающий поток. Пожилые и молодые, красавицы и дурнушки, утомленно многодетные и горестно бесплодные, те, кто рвался из больницы поскорее домой, и те, кто сочинял себе недуги – лишь бы понежиться в безделье на казенных харчах. Долг врача ко всем относиться одинаково, симпатий и антипатий Нюраня себе не позволяла, с пациентками держалась ровно и строго, как бы давая понять: я здесь царь, бог и воинский начальник, слушаться меня беспрекословно. Девяносто пять процентов ее пациенток были невежественными суеверными бабами, строгий окрик на них действовал гораздо эффективнее душевной беседы. Миленькая входила в эти проценты, но была в ней распахнутость, открытость нежной души, которая не могла оставить Нюраню равнодушной.

«Господи! – думала Нюраня по пути в палату. – Зачем ты послал страшные испытания этой блаженной? Наверное, потому и послал, что святость испытывал. Марфа когда-то рассказывала, что все святые были большими мучениками».

Миленькая сидела на кровати, болтала худенькими ножками. При виде доктора хотела встать, но Нюраня махнула ей: сиди! Взяла табуретку, поставила напротив, уселась, сложила руки на груди.

– Анна Еремеевна, – не выдержала молчания Таня. – Простите! Христом богом! Никто-никто не виноват! Я говорила, что кушаю хорошо и поправляюсь.

– Давно поправляешься?

– Уж полгода или дольше.

Только слепой мог подумать, что Таня набирает вес. Ножки-ручки тоненькие, ключицы выпирают, личико – кожа да кости. И большой живот.

«Роды она не перенесет, – рассуждала Нюраня. – От первой же сильной потуги ее сердце лопнет. Операция кесарева сечения, наркоз тоже опасны. И что делать? Оставить ее, наблюдать как подопытного кролика?»

– Вот вам! – Таня вынула из-за спины букетик мать-и-мачехи. – Первые цветочки.

– Спасибо! – процедила Анна Еремеевна, но руки за букетиком не протянула.

Глаза Тани наполнились слезами. И без того огромные, серо-голубые, за водяной линзой они стали щемяще трогательными. Такие глаза и крокодила могут заставить пасть захлопнуть.

– Ложись, я тебя посмотрю, – велела доктор. – И не хлюпать! Утри нос.

Она достала из кармана сантиметр и измерила живот вдоль тела и поперек. Верных двадцать шесть – двадцать восемь недель. Уже кое-что. Послушала сердцебиение плода – в норме. Потом послушала сердце самой Тани. Это не ритмы! Это дробь пьяного барабанщика.

– Анна Еремеевна! Я очень-очень ребеночка хочу!

– Знаю, не мешай, замолкни.

Доктор потрянула ладонями, будто сбрасывала с них мусор, потеряла их друг о дружку. Затем, чуть растопылив пальцы, медленно провела руками по лежащей Тане – от головы до пяток.

Выпрямилась, строго и хмуро произнесла:

– Сегодня тебя подготовят, а завтра мы сделаем операцию.

И вышла из палаты.

Нюране передался от бабушки и матери дар – предчувствовать выздоровление или смерть. Нюраня этот дар ненавидела. Она жила в век материализма, была человеком науки. Ее задача как коммунистки и прогрессивного врача заключалась в борьбе с мракобесием – приметами, вредными «народными» рецептами и прочей отсталостью. Предчувствия объяснить научно невозможно, поэтому они вредны и пагубны, следует их давить. Но давить не всегда получалось, ведь это как ручей руками перегородить. Мать Нюрани, когда ту звали больного посмотреть, если предчувствовала смерть человека, крестилась и старалась поскорей уйти: «Бог поможет». Нюраня, напротив, если вспыхнет внутри «не жилец» – утраивала силы по спасению пациента. И несколько раз ей почти удалось добиться успеха.

С Миленькой она впервые сознательно пошла на «магнетическую диагностику», поэтому злилась на себя, не хотела, чтобы пациентка увидела ее хмурое лицо, спешно покинула палату. Между тем внутренний голос заверил в благоприятном исходе. Это был даже не голос, а вспыхнувшее в мозгу знание-утверждение. Будь голос, то он, наверное, прохрипел бы как больничный сторож дед Кондрат: «Не дрейфь, кошелка, разродисси!» Дед Кондрат рожениц, привозимых ночью, именно так приветствовал, а всех женщин называл почему-то кошелками.

Однако быстрый уход доктора не остался незамеченным. Примчалась санитарка:

– Анна Еремеевна! Так Миленькая ревет, убивается – страсть!

Нюраня мысленно чертыхнулась и поспешила в палату.

Таня лежала на боку, скрючившись, обхватив живот, точно это был

бесценный клад, который варнаки отнять хотят. И плакала не «страсть», а жалобно скулила.

– Что происходит?! – рявкнула Анна Еремеевна.

– Ба-ба-бабы говорят, – заикалась Миленькая, – что вы ребеночка на куски порежете и вы-вы-вытащите...

– А они не говорят, – развернулась Нюраня и гневно уставилась на лежащих на кроватях четверых других пациенток, которые мгновенно натянули одеяла на головы, – что я потом его зажарю и съем? Не говорят? – повторила она вопрос Миленькой.

– Не-е-е...

– И на том спасибо! Быстро успокоилась! Легла свободно, расслабилась.

– Как это?

– Ноги-руки мягкие, не деревянные. Ты зачем своего ребеночка пугаешь? Он ведь все чувствует! Хороша мать, дитятку страшит! Вот так, хорошо, – поглаживала ее доктор, – расслабилась, умная девочка! Слушай меня, Танюша, завтра мы тебе сделаем операцию.

– Ой!

– Не «ой», а наш единственный шанс, ждать нельзя. Ты будешь спать, а вот тут, по животу мы тихонечко разрежем, достанем ребенка и аккуратненько снова зашьем, ты ничего не почувствуешь. И вообще, отныне ты не о себе должна кручиниться. Ребенок будет маленьким, очень маленьким, недоношенным. Но это не страшно. Был такой ученый, Менделеев, он периодическую систему... Впрочем, фамилия Менделеев тебе ничего не говорит. Чапаев! Ты смотрела фильм «Чапаев»?

– Пять раз.

– Могу тебе доложить, что красный командир родился недоношенным, весу цыплячьего, семимесячным, точь как и твой ребенок. Повитухи у Чапая были опытными, держали ребенка в варежке и на опаре. Мы, конечно, до подобной экзотики не дойдем, но для малыша надо будет соорудить специальную кроватку, обкладывать теплыми грелками, замотанными в пеленки, следить за температурой. Придется потрудиться и тебе, и твоему мужу-разгильдю. Поняла, о чем сейчас надо думать? Как выходить своего единственного ребенка, других у тебя не будет – это я тебе заявляю авторитетно.

– Все сделаю, как вы скажите, Анна Еремеевна! Жизнь положу!

– Перспектива весьма вероятная. И где мой букетик? Я взять забыла, а ты уж, наверное, кому-то другому его подарила?

– Да нет же! Вот он, привял только.

– Ничего, в воду поставлю – оживет. Полевые цветы неприхотливы, как и крестьянские дети.

Нюраня ей хитро подмигнула, на секунду сбросив маску строгой докторши, и Таня от неожиданности радостно всхлипнула и рассмеялась. Ее смех напоминал рождественский звон бубенцов.

Домой Нюраня пришла поздно. Пятилетняя Клара тут же вцепилась в мать: «Поиграй со мной хоть чуточку, послушай, что сегодня было!» Нюраня уделила ей десять минут: «Мне некогда, няня тебя уложит». Емельян, муж, тоже хотел поделиться новостями, чинно посидеть с женой за чаем. Нюраня сказала, что ей надо подготовиться к завтрашней сложной операции, уселась за стол, уткнулась в книги. Все новости Емельяна сводились к тому, что еще удалось приобрести, урвать, принести в дом. Емельян по званию был сержантом НКВД, по должности – завхозом, по уму, знаниям – бревно, по складу характера – крохобор-мещанин. Их дом был завален барахлом, заставлен мебелью, завешан коврами. Две швейных машинки, к которым Нюраня не притрагивалась, патефон и большой набор пластинок, которые никогда не слушали, бархатные шторы с бахромой на окнах и в проемах дверей между комнатами, кружевные салфетки куда ни кинь взгляд, атласные покрывала на их постели и на дочкиной кровати, пирамиды взбитых подушек с накидками... Книги тоже были – Емельян их выбирал по цвету корешков, предпочитая золотое тиснение, ни одной не прочитал. Единственное место в квартире, где царил беспорядок: груды медицинских справочников, атласов, энциклопедий, тетрадей и папок с записями – письменный стол Нюрани, к которому она никому не разрешала приближаться.

Нюраня была плохой женой и скверной матерью. Она специально засиживалась за письменным столом, чтобы избежать супружеской близости, шла спать, когда Емельян уже храпел. Бывали дни, когда Нюраня на работе принимала до полутора десятка младенцев: палаты переполнены, рожениц клали на кровати в коридоре, а когда кроватей уже не оставалось, бросали матрасы на пол. Нюраня за каждую пациентку и новорожденного была готова горы свернуть, и времени на них не жалела. А на собственную дочку жалела. Клара росла избалованной, своенравной владычицей. Домработница, няня и отец плясали под ее дудочку, только мать имела власть над ребенком, но мать пропадала на работе.

Емельян хотел еще ребенка, но не настаивал. Жена для него была предметом гордости, как прочая обстановка квартиры. «От него? Никогда!» – давно решила Нюраня. Нельзя рожать от мужчины, которого

не уважаешь, даже если ты свое неуважение маскируешь за скудной вежливой приветливостью.

«А если бы от Максимки?» – спросила себя Нюраня. Оторвалась от книги, в которой искала описание родовспоможений женщин с пороками сердца, замерла, уставилась в настольную лампу, свет которой жег глаза как маленькое солнце.

«От Максимки я рожала бы безостановочно, как крольчиха. Так, наверное, сейчас и поступает его жена. Приходится допустить, что для одних женщин не важен отец их ребенка – биологический зов сильнее. Для других, вроде меня, селекционный выбор становится основным. Моя мама выбрала моего папу как отца своих детей. Других претендентов она бы порезала на кусочки, зажарила и съела, то есть поедом извела. С папой так невозможно было поступить, поэтому от него и рожала. Прасковье со Степаном чудно повезло. А Марфе достался мой придурковатый братец Петя, и она, не рассуждая и не гневя судьбу, родила от него двух прекрасных парней. Что же я? Как женщина – ничто. Хотя врать-то себе не надо! Нравится, когда засматриваются, комплименты отпускают, и томление женское одолевает. Ласки хрюкающего пузана Емельяна – только терпение, раз-два в месяц, более не выдержать, и обязательно в тот период, когда точно не понесу. Но слово-то Емельяну дала? Дала! Была сделка? Была. Он мне – образование врача, я ему – верность. Вот и нечего Максимку вспоминать и видеть его в каждом прохожем!»

Глаза от яркого света заслезились. Нюраня опустила колпак лампы пониже, вернулась к чтению. Есть один случай, описана операция кесарева сечения, но ни черта не сказано, как поддерживали хилое сердце пациентки. Значит, надо придумать самой. Допустим, что это любая полостная операция у пациента с врожденным пороком. Надо найти. Нюраня потянулась к другим книгам, не обращая внимания на тома, что свалились на пол, у них там должны быть дозы препаратов камфоры, кратность введения...

Операция прошла благополучно. Ребенок, мальчик, крохотный, вес чуть больше килограмма, дышал самостоятельно, не кричал, но попискивал. Его поместили в коробку, внутри обложенную ватой, между ватой и стенками коробки – грелки, за температурой которых следили, постоянно меняли. Таня очнулась после наркоза и держалась молодцом, Анна Еремеевна навещала Миленьку каждый час.

Нюраня совершенно забыла, что обещала мужу пойти с ним сегодня в театр. Емельян ждал ее дома, позвонил в роддом, когда время совсем

поджимало. Нюране театр был сейчас не в удовольствие, но Емельян еще две недели назад просил не брать в этот день дежурства. «Заезжай за мной», – сказала ему по телефону Нюраня и подумала, что после театра обязательно вернется в клинику, проведет здесь ночь. Первые сутки – самые опасные.

Всю дорогу в машине Емельян бурчал, что Нюраня одета в простой костюм, между тем как у нее имеется шикарное платье, скопированное модисткой с наряда Любови Орловой из фильма «Светлый путь».

– Ты мне еще черно-бурую лису на плечи накинь, – не удержалась от упрека Нюраня.

– И накинула бы! Таких в городе раз-два и обчелся.

– Ага, летом при лисе – самое время!

Нюраня терпеть не могла эту мещанскую лису: длинная спинка великолепного серебристого меха, с одного конца узкая мордочка с искусственными глазками, с другого – роскошный хвост. Лиса набрасывалась на плечи вроде шали или палантина. При лисе Нюраня выглядела как нэпманша. Разрешала дочери играть с этойдохлой зверюгой, а Емельян, если видел в руках Клары лису, приходил в негодование: дорогая вещь, не игрушка!

Ленинград

Приехав из Омска в тридцать седьмом году, Камышины и Медведевы поселились на Крестовском острове. Его жители были почти селянами, хотя большинство работало на питерских предприятиях. Всего десять минут на трамвае до Петроградской стороны, а на Крестовском сохранились деревянные дома с палисадниками, огородами и пастбищем. Коровы, поросята, козы, куры... В небе кружат голуби – взывают то из одной голубятни, то из другой, похожие на маленьких перепуганных ангелов, вырвавшихся из неволи, опьяненных свободой и устранившихся ее. Весной на набережной Малой Невки рыбаки прямо с лодок продавали корюшку. По острову плывет дурманящий запах, чуть напоминающий арбузы и огурцы. Животы подводит, в рот набирается слюна – хочется скорее отведать корюшки. Свежая, обваленная в муке и обжаренная в кипящем масле, она съедается со скоростью лужения семечек, и ничто по вкусу не может сравниться с корюшкой.

Для Марфы переезд в Ленинград оказался не таким помрачительным, как из деревни в Омск, где она впервые увидела автомобили, электрические лампочки и унитазы. Тогда ее мутило от множества незнакомых предметов и вещей, от многолюдия, шума и пыли. На Крестовском же оказалось почти как в деревне. Конечно, есть тут большие каменные дореволюционные дома, но немного, есть красивый дворец Белосельско-Белозерских, гребной клуб, стадион «Динамо», на соседнем Елагином острове Центральный парк культуры и отдыха – ЦПКиО, ласково называемый ленинградцами Ципочка.

Сонный и тихий Крестовский только летом да в теплую погоду весной и осенью, по выходным, наполнялся людьми. Они, как муравьи к огрызку медовой коврижки, текли по Морскому, Константиновскому или проспектам. В дни футбольных матчей сначала к стадиону «Динамо» – муравьи деловые, торопящиеся, через несколько часов обратно – хмельные, расхлябанные, шумные, насытившиеся.

В теплые воскресенья ленинградцы приезжали в Ципочку отдохнуть. «На пикники» – так это называла Елена Григорьевна. Расстелют на травке одеяло, в центр газетку положат, на нее снесь – яйца вкрутую, колбасу, селедку, помидоры, огурцы свежие и малосольные, лучок зеленый перышками, курицу вареную, картошку укропчиком посыпанную в

катышках сливочного масла, банку килечки в томатном соусе откроют, соль в спичечных коробках поставят. Водка, конечно, тут же, отбивается сургуч с горлышка, а для детей – ситро, шипучий фруктовый напиток в бутылках.

В Марфином сибирском селе народ тоже, бывало, собирался на еду под открытым небом. Когда были «помочи» – общий труд селян в поддержание лишенцев, то есть семей, потерявших кормильцев. Вдовы детные, стариками обремененные не могли сами сколько нужно вспахать, собрать урожай, накосить сена – обеспечить на долгую сибирскую зиму. Им помогали всем селом. После работы было благодарственное угощение. Как бы лишенцами предоставленное, а на самом деле бабы с достатком свое несли, не разорять же несчастных, с них только самогон да сладкий взвар. Холстами застилали часть луга, не на газетках, а на чистых тряпицах раскладывали пироги множественных начинок, куски тушеного мяса, рыбу копченую, рыбу припущенную... А чтоб картоху или яйца вкрутую принести? Себя позорить.

Главное – в Сибири все угощались за одним общим, громадным «столом». Ведь понятно, что такую компанию ни в каком доме не уместишь.

Ленинградцы же отдыхали лоскутно: под одним деревом одеяло, газетка, закуски, водка, ситро – семья или компания гуляет, десять метров подале – другое одеяло, газетка, водка, килька в томатном соусе... Издали посмотришь – табор единоличников приземлился.

Но потом Марфа увидела, где живут «пикники», как она назвала воскресных гостей «нашенского острова», съездила в город, в большой Ленинград. Не допросишься иголок швейных купить да ниток. Соседки утверждали, что все можно найти в Гостином дворе или, на худой конец, на толкучке у Апраксина двора. Найти легко, в самом центре. Как же, легко!

Заблудилась, в ад попала. Каменные соты! Ни деревца, ни травинки, ни солнца, ни неба! Людей превратили в насекомых. Сама не помнила, как выбралась. И с тех пор взидала на «пикников» жалостливо благосклонно. Пусть хоть изредка подышат, детишки их на воле побегают.

Сама Марфа на вторую весну их пребывания в Ленинграде развела на Крестовском огороде. Покупать картошку, лук, морковь, свеклу, капусту, редьку, когда их можно вырастить? Это настолько противоречило ее миропониманию, что Марфа заболела бы, не взвали на себя еще одну обузу. Петр не переработался в своей котельной, пусть губы подберет – раскатал между сменами на рыбалку шастать, уж объелись его рыбой и всех соседей закармливали, на огороде потрудится, да и Митяю весной и осенью лопатой, граблями поработать – полезный спорт. Возникла проблема: где хранить

урожай? Договорилась с хозяйкой одного из дворов на аренду части погреба. У хозяйки-то: куры, коза и самое завидное – корова.

В середине тридцатых годов на Крестовском острове возвели жилой комплекс – строчная застройка вдоль Морского проспекта. Строчная, потому что четырехэтажные дома с коридорной системой стояли торцами к проспекту, как стежки на шитье. Это было сделано для того, чтобы один дом (их все называли корпусами) не затенял другой, и в каждой квартире было достаточно солнца. Расстояние между корпусами было большое – легко помещался детский садик или футбольное поле, теннисный корт, котельная.

Входишь в любое из трех парадных, поднимаешься по лестнице на нужный тебе этаж и оказываешься в длинном стометровом коридоре, по сторонам которого расположены квартиры и общие кухни. Дети гоняют по коридору на велосипедах, на самокатах или просто носятся, в догонялки играют. Выражение «у нас на коридоре» для жильцов корпусов звучит так же, как для деревенских – «у нас в селе».

Для поддержания порядка и чистоты коридор поделили на секции: от лестницы до лестницы, от крайней лестницы до торца. Мыть весь коридор и все кухни – это сдохнуть. Моют по очереди, по неделе на каждого члена семьи. Марфа мыла чаще других – их четверо, да трое Камышиных – получается семь недель. Тайком от Александра Павловича еще мыла за докторшу Веру Павловну и ее мужа – хмурого бухгалтера с завода «Электроаппарат», за семью эстонцев, которые совершенно не участвовали в жизни коридора, готовили еду на примусе у себя в квартире, здоровались сквозь зубы, глаза в пол. За что и получили прозвище «дундуки чухляндские».

Если бы Камышин узнал, что Марфа на кого-то батрачит, пришел бы в ярость. Для нее же было очевидным: если можешь заработать копейку, так заработай! А тут не копейка, а три рубля за неделю! Докторша и чухляндцы – это двенадцать рублей! Дурой быть – разбрасываться. Тем более что не всегда сама горбатилась. Митяй, если не у художника, не на соревнованиях или других занятиях, обязательно помогал. Тряпкой-шваброй орудовал безо всякого смущения. А Степка – ведра таскать, воду менять – это уж без разговоров, только попробовал бы отвертеться, у матери рука тяжелая.

Квартиры в корпусах по четной стороне Морского проспекта задумывались как общежития для рабочих с предприятий, расположенных

на Петроградской стороне. По нечетной стороне шли корпуса с отдельными квартирами для инженерно-технического состава питерских фабрик и заводов, творческой и академической интеллигенции ранга выше среднего. Александр Павлович Камышин по занимаемой должности мог получить просторную трехкомнатную квартиру в корпусах по нечетной стороне Морского. Но семейство Медведевых: Петр – кочегар в котельной, обслуживающей корпуса, на подобное жилье претендовать никак не могло. А это означало, что Марфу и сына Камышин видел бы крайне редко, ведь приходилось работать по двенадцать часов в сутки. Поэтому он выбрал общежитие, четные корпуса.

В суматохе нервных интриг, оголтелой борьбе страстей, которые сопровождали выделение отдельного жилья в перенаселенном городе, решение Камышина не показалось странным. Его соседями в двадцать втором корпусе оказались не только семьи передовых рабочих, которых было большинство, но и интеллигенция средней руки. Интеллигенция, как водится, притухла под напором пролетарского натиска гегемона.

Квартирка Камышиных: крохотная прихожая, справа сортир, через стенку от него – закуток странной конфигурации, площадью два на метр с раковиной и краном холодной воды. Марфа называла его кутью, там в настенных шкафах, на антресолях, которые она настроила под потолком, содержались утварь, сезонная одежда и прочие вещи, которые Марфа хранила, потому что выбрасывать что-либо понятия не имела. Две отдельные комнаты – большая восемнадцать метров, меньшая – одиннадцать. В большой жила Камышин и дочь, маленькая – будуар, святилище Елены Григорьевны. В большой комнате передвигаться можно было только вокруг стола в центре, остальное пространство заставлено мебелью: диваном, на котором спал Александр Павлович, книжным и платяным шкафами, буфетом, Настиным пианино, ее же кушеткой и этажеркой. У Елены Григорьевны тоже было тесно: деревянная кровать с пышной периной, якобы супружеская, но Камышин на нее никогда не навещался, отгорожена ширмой, бюро, служившее туалетным столиком, над ним зеркало в пышной раме, два стула с гнутыми ножками и кресло, в котором Елена Григорьевна проводила большую часть времени. Еще один столик, даже самый маленький, втиснуть было невозможно, поэтому, когда Елена Григорьевна принимала гостей, не больше двух, Марфа застилала бюро ажурной салфеткой, на которой накрывала чай, ставила угощение.

В квартире Медведевых были те же сортир, куть, раковина, но комната только одна, четырнадцатиметровая. Марфа с мужем спали на кровати, а сыновья на полу, каждый вечер расстилали тюфячок, утром убирали. Еще

из обстановки – стол, стулья, швейная машинка, сундук, книжные полки, сколоченные Петром из обструганных досок.

Куть, как и в деревенском доме, была местом, где Марфа толклась почти целый день. Ставила тесто, шинковала продукты, чтобы потом сварить щи на общей кухне, чистила рыбу, лепила пельмени, стирала белье. Но в деревенском доме не было подвода воды, тут – пожалуйста. Благодать. Где есть вода, там грязи и грязных не бывает. Марфа бдительно следила, чтобы ее мужики вымыли ноги на ночь. Они по очереди задирали ноги в раковину и мыли их студеной водой с мылом. С хозяйственным, не сметь туалетное земляничное трогать! А вытираться тряпкой, что для бестолковых на гвоздике внизу подвешена! Не хватать полотенце, что на гвоздике повыше, оно для лица!

Мыться ходили в баню на Разночинной. По выходным дням по улицам Ленинграда, большинство жителей которого ванн не имело, текли мини-демонстрации – народ шел в бани. У многих в руках шайки и березовые веники. Потому что было две очереди – для бесшаечных, часа на три, и для тех, кто со своими шайками – часа на полтора.

Петр, Александр Павлович и мальчики мылись в общем мужском зале, при котором была парилка. Марфа, Елена Григорьевна и Настя – в семейном отделении, представлявшем собой помещения с комнатой для раздевания и собственно ванной комнатой. Первым делом Марфа драила щелоком корыто ванной – неизвестно, какой вшивый тут до них мылся, а уборщицам, что после каждого посетителя обязаны порядок наводить, доверия нет. Потом в чистую ванну, наполненную водой, Елена Григорьевна из флакона с духами добавляла несколько капель, забиралась сама, нежилась несколько минут, мурлыкая, манила пальчиком дочь. Настя присоединялась. Марфа сидела напротив на лавке, любовалась ими. Точно две сестрички – беленькие, хрупкие, нежные, шаловливые. Елена Григорьевна мало внимания уделяла дочери, и Марфа видела, как радуется Настенька этим моментам – когда они с мамой нагие, беззащитные, но очень веселые, в ароматной воде. Однако времени нежиться не было: сеанс длился сорок минут, за десять минут до его окончания уборщица принималась тарабанить в дверь, поторапливать. Марфа вставала, подходила и начинала их мыть намыленной вихоткой, как она по-сибирски называла мочалку, сначала мать, потом дочь, быстро, ловко и тщательно. Сама Марфа мылась последней, Елена Григорьевна и Настя вытирались и надевали белье. В комбинашках поверх трусов и лифчиков они возвращались к Марфе, стоявшей на четвереньках в ванной и принимались специальной, жесткой как щетина вехоткой, в четыре руки драить Марфе

спину. Это был единственный акт их прямого участия, заботы о Марфе, других она не допускала, да никто и не стремился. Но уж очень Марфа любила настоящую баню. По своей воле ходила бы в женское отделение с парилкой. Отпустить же Елену Григорьевну и Настю одних и думать было нечего. А привести Елену Григорьевну – с шайкой, к трем десяткам голых баб – все равно, что птичку певчую из клетки вытащить и бросить в курятник, от нее и перышка потом не найдешь. За годы жизни в Ленинграде Марфа бывала в парилке всего несколько раз – когда барыня отдыхала в Крыму.

Разговор с Камышиными состоялся в банный день после обеда. Марфа накрыла чай и, опустив руки по швам, проговорила смущенно:

– Обсудить надо.

– Что? – поднял голову от газеты Александр Павлович.

Произнести слово «сватовство» Марфа не решалась.

– Дык сдаваться мы пришли, – и, повернув голову к двери, крикнула: – Митяй, заходи!

Он давно стоял за дверью, в коридоре, ожидая сигнала. Мать очень нервничала, ее волнение передавалось Митяю, хотя они с Настей уже все обсудили и решили: если родители поднимут вой, собирают вещи и уходят из дома.

– Приятного аппетита! – с порога начал Дмитрий. Его не успели поблагодарить, как он выпалил: – Прошу руки вашей дочери! Она беременная, я ее люблю, и она меня любит.

– Кто беременный? – глупо переспросил Камышин.

– Я-а-а, – пропищала Настя.

Камышин начал наливать багровой краской. Елена Григорьевна прикурила папиросу. Марфа испугалась. Она была воспитана в почтительности, беспрекословном уважении к старшему мужчине в доме. И то, что этот мужчина по пьяни, бывало, зажимал ее в углу, никакого подрыва его авторитету не наносило и не значило, что можно схалтурить и не приготовить ему с утра костюм, крахмальную рубашку, не надраить ботинки.

– Молокосос! Школяр! Подонок! – Голос Александра Павловича набирал силу. – Я тебя по стенке! Мокрого места не останется!

– Папа, пожалуйста! – захлюпала Настя.

Отец повернулся к ней:

– А ты? Как гулящая девка, как шлюха...

– Александр Павлович, – шагнул вперед Дмитрий, – я вас попрошу

выбирать выражения!

– Выражения? Я сейчас так выражусь на твой наглой морде, что кровью умоешься!

– Попробуйте! – напрягся и зло процедил Дмитрий.

– Ой, да что же это! – всплеснула руками Марфа. – Да как же это, люди добрые! Жили не тужили, в согласии и дружбе...

– А потом твой сын наплевал нам в душу!

– Я не... – начал Дмитрий, но получил от матери ощутимый тычок в бок.

– Не ерепенься, покаяйся!

– В чем, собственно? Хорошо! Александр Павлович, Елена Григорьевна, я бы принес извинения, если бы видел основания для них. Возможно, вам наши... действия кажутся несколько... преждевременными. Но у нас есть оправдание.

– Какое, интересно? – Камышин еще клокотал, но старался подавить гнев.

– Мы любим друг друга, – примирительно улыбнулся Дмитрий.

– Очень-очень, – тихо подтвердила Настя.

– Дык что теперь яроститься, – заговорила Марфа. – Дитё-то уже есть и не рассосётся.

«Это точно», – мысленно согласилась и вздохнула Настя. Пока ребенок не зашевелился, они с Митей надеялись, что все собой как-то «рассосется», по-детски прятались от последствий, которыми обернулись помрачительно восхитительные минуты настоящей близости.

– Только пусть «дитё» не называет меня бабушкой, – подала голос Елена Григорьевна. – Мне нравится манера европейцев величать грэнд-пэрэнс по имени. А если ребенку будет трудно произносить Елена или Лена, то пусть зовет меня Лёка. Правда, мило – Лёка?

На нее уставились в недоумении – так далеко ни чьи помыслы еще не простирались. Пожелание Елены Григорьевны мгновенно остудило накал страстей. Обычно она уклонялась от обсуждения бытовых проблем, но если уж снисходила, то умела замечанием нелепым, глупым, наивным, не по теме, отрезвить присутствующих.

– Прекрасно! – усмехнулся Александр Павлович. – Но мне-то как раз не понравится, если ребенок станет величать меня Сашок.

Марфа перевела дух: коль повели речь об именах, то гроза миновала.

– Папа, может, предложим Марфе и Дмитрию присесть? – спросила Настя.

– Нет! – отрезал Камышин. – Это ты, голубушка, вставай и становись с

ними рядом.

Настя подчинилась с готовностью. Они тут же взялись с Митяем за руки. Низкорослая девушка между двумя дылдами походила на дюймовочку, которую взяли под защиту добрые великаны.

– На что и где ты собираешься жить? – спросил Камышин Дмитрий.

– Пойду работать...

– А через два года тебя забреют в армию, – перебил Александр Павлович. – И где, собственно, вы собираетесь вить свое семейное гнёздышко? Здесь? Лёка, – дернул он головой в сторону жены, – переедет в эту комнату, а вы займете ее будуар?

– О-о-о! – жалобно простонала Елена Григорьевна.

Точно такой же звук детской обиды и разочарования вырывался у нее, когда знакомый спекулянт вместо легендарных французских духов «Лириган де Коти» приносил ей «Красную Москву», тоже очень дефицитную.

– Или у Медведевых поселитесь? – продолжал Камышин. – Будете там впокатуху все спать на полу? Говори! – обратился он к Марфе. – Ты ведь уже все просчитала, наметила? Со свечкой не стояла? Воспитала обормота!

– Дык и вашего влияния тоже немало было. Все разговоры с Митяем политические вели, вот бы и наставили, как девичью честь беречь, – испугавшись вырвавшегося упрека, Марфа заговорила быстро. – В тесноте люди песни поют, а на просторе волки воют. Разе мы дитёнка одного не поднимем? Разе я бессильная, немочная? А комнату сымут. Из двадцатой квартиры двенадцатого корпуса муж в длительную командировку отправляется, я уж договорилась.

– Великолепно! Она договорилась! Детки доигрались, а она договорилась! – бушевал Александр Павлович.

– Чуть потише, дорогой! – попросила Елена Григорьевна. – Если ты, конечно, не стремишься обеспечить соседям, которые сейчас, я уверена, прилипли ушами к стенке, – она ткнула папиросой в мундштуке на противоположную стену, – хорошую слышимость.

К тому, что общение мужа и жены Камышиных большей частью состояло из замаскированных упреков, все давно привыкли. У них никогда не доходило до открытых ссор, крика, оскорблений.

Елена Григорьевна была женщиной не просто особенной. Казалось, что она не ходит, а парит, не говорит, а поет, что прилетела на нашу планету с другой, волшебной планеты, где даже не коммунизм, а веселый рай. Она походила на яркую, нежную, хрупкую бабочку, которую неведомые ветры

занесли в каменоломню, или, точнее, на грациозное животное, вроде газели, пребывающее в клетке зверинца. Елена Григорьевна ни дня не трудилась, не заработала ни копейки, не знала домашнего труда – скорее умерла бы от голода, чем подошла к плите и вскипятила чайник, сносила бы всю одежду, за не имением чистой опять-таки легла бы помирать, но непритронулась к корыту. Ее не волновали бытовые проблемы, их для нее попросту не существовало. Всегда находился кто-то, последние годы – Марфа, кто заботился о газели, чистил клетку и подносил еду. Изнеженная хрупкая бабочка-газель любила театр, музыку, балет, много читала, обожала модную одежду и косметику. Елена Григорьевна была очаровательна, и суть ее жизненного пребывания заключалась в очаровывании окружающих – и только. Другие женщины, помимо очаровывания, все-таки тратили свой ум на жизнеустройство или хотя бы на то, чтобы закрепить и развить свой успех у поклонников. Интриги Елену Григорьевну не занимали, и любовников у нее не было, как и долгих подруг. Бабочка – сегодня ее крылышками любитесь один, завтра – другой. Газель – сегодня грациозно выбивает копытцем перед одним, завтра – перед другим. Тщеславие столь великое, что перестало быть осязаемым, как вода при кипячении выходит паром.

Когда-то Камышин, студент из разночинцев, потом талантливый инженер, был сражен Прекрасной Еленой. Подобных девушек не существовало и не могло существовать. Потому что даже особы королевских кровей наверняка ходят по земле, а не парят, говорят, а не пропевают с подвздохами слова, не поворачивают голову, не взмахивают руками так, что балерины с их оттренированными лебедиными жестами должны от зависти сгрызть свои пуанты. Он влюбился, заболел ею, упорно добивался. Женился, вылечился, получил прививку от inferнальных женщин – экзотических животных лучше наблюдать со стороны. Хотел разойтись, не смог – Елена забеременела и была готова вытравить ребенка, он не допустил. К счастью, Настёна не под копирку мать повторила, что-то и от него взяла: трезвый практицизм, деловую хватку. И подражание матери: окутывание себя флёротом беспомощной нежной очаровашки – не без влияния Митяя сошло на нет. В отношении к Прекрасной Елене было что-то от снисходительности к инвалиду. Настя быть инвалидом не желала.

Митяй и Настя дружат с детства, рассуждал Александр Павлович, можно допустить, что дочь унаследовала родовое качество камышинских женщин: его матери, которую он любил и ценил безумно, бабушки, прабабушки, о которых осталось нежное воспоминание, – умение выбирать достойных мужчин.

«Мы их унюхиваем, – говорила, веселясь, мама. – За грудиной есть приемник, он начинает щекотать, и тут уж не смотри, что нос картошкой, два вихра ссорятся на макушке, от волнения бэк-мэк-кукарек изъясняется, мундирчик старенький, чин плюгавенький, но понимаешь: вот именно он опора, надежда, судьба и счастье. Детьми будущими как бы понимаешь – от него славных деток рожу». Мужчины камышинского рода подобной прозорливостью не отличались. Александр тому пример.

Митяй хороший парень: умный и покладистый, добрый и гордый, надежный и основательный – настоящий сибиряк. Но Митяй еще мальчишка, школьник!

– Папа, мама! – заговорила Настя. – Благословите нас.

– Осподь! – хлопнула себя по щекам Марфа. – У доме ни одной иконы!

– Мы же не верующие, – улыбнулся Митяй. – Александр Павлович, Елена Григорьевна, я вам даю честное комсомольское слово и клянусь жизнью, что буду беречь Настёну больше жизни!

– В сложившихся обстоятельствах, – пробурчал Камышин, – нам ничего не остается, как поверить тебе. Зовите Петра, Степку – будем праздновать помолвку.

Когда выпили за здоровье молодых, и Камышин заговорил о будущем без гнева и ерничества, Митяй решительно воспротивился планам старших. Александр Павлович и Марфа, мнение Елены Григорьевны и Петра не в счет, полагали, что ему надо окончить школу, получить аттестат. Это означало – официально не расписываться с Настей, женатые в средней школе не учатся.

– Нет! Мы регистрируемся, я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака.

– Благородные поступки, – проворковала Елена Григорьевна, – по мнению обывателей, всегда кажутся глупыми, нерациональными, невыгодными и даже пагубными. На этом построена вся мировая героическая литература – поступки благородного рыцаря идут вразрез со здравым смыслом. Дмитрий, вы прелесть!

– Его все равно засудят, – неожиданно встрял Степка. – Ведь узнают, на бюро комсомольское вызовут, хорошо, если выговором отделаются, а то и исключить могут. Это – хана, никуда не тыркнешься.

Камышин крикнул от возмущения, но посмотрел на сына, выказавшего поразительную практическую сметку, с любовью:

– Тебе кто слово давал? Ты почему вмешиваешься в разговоры взрослых? Еще раз пикнешь, вылетишь отсюда!

– А что, я неправду...

– Степан!

– Молчу. А на какой завод Митяй пойдет?

– Вон! – показал Камышин пальцем на дверь. – Не умеешь себя вести – твое место снаружи!

Степка понуро поплелся на выход. Камышин невольно посмотрел на Марфу, увидел в ее глазах одобрение, потер ладонью лицо, прогоняя неуместные чувства.

– Сыночек, а как же Академия художеств? – спросила Марфа. – Ты ведь мечтал.

Дмитрий глубоко вздохнул, протягивая воздух сквозь зубы, словно ему надо было задавить, потушить внутри себя тлеющий огонь:

– Никуда Академия не денется.

– Милый, – накрыла его руку своей Настя, – я тебе говорила, что...

– Ре-ше-но, – он нежно щелкнул ее по носу.

– Шестнадцать годков всего! – захлопнула рот ладошкой и покачала головой Марфа.

Теперь, когда ее сын не подвергался нападкам, она могла чуть-чуть выплеснуть свою печаль.

– Дык пятаки гнет пальцами, гы-гы, – впервые за вечер подал голос Петр.

– Если б только пятаки, – усмехнулся Александр Павлович.

Часть вторая

Великая Отечественная война

Добровольцы

Митяй пришел в районный комиссариат двадцать третьего июня – на второй день войны – записываться в армию. Он работал подсобным рабочим в трамвайном депо, устроился на летние каникулы, под давлением родителей согласился на компромисс: до осени трудится, а потом посмотрим.

Дежурный офицер, нервный и взъерошенный как грач, у которого разворошили гнездо, только глянул на Митяя, документы не посмотрел, отмахнулся:

– Иди отсюда! С сегодняшнего дня объявлена мобилизация лиц рождения тысяча девятьсот пятого тире девятьсот восемнадцатого. Понадобись – пришлют повестку.

– Но я хочу воевать! За Родину! – Митяй осекся, уж слишком пафосно и одновременно по-мальчишески прозвучали его слова.

– Армии нужны опытные бойцы, имеющие военную подготовку. А ты кто?

– У меня значок «Ворошиловский стрелок»!

– У каждого второго такой значок. – И, повернув голову в сторону двери, офицер закричал: – Анисимов! Пропускать только по паспортам! Одолела пацанва. Добровольцев отсекай, понял?

Митяй возвращался в депо пешком. Война, а город почти не изменился, будто и не слышал о ней. Та же жара, духота, те же девушки в легких платьях, мужики в льняных брюках, сетчатых «бобочках» с короткими рукавами, на ногах парусиновые штиблеты, и выражения лиц обычные, мирные, не озабоченные. Да и чего паниковать, когда ясно, что война продлится месяц или два, вот только он на фронт не попадет.

На Константиновском проспекте Митяй притормозил и вместе с несколькими прохожими слушал, как милиционер объясняется с водителем:

– Ваш номер я записал, вам вручена повестка для следования на сборный пункт.

– Да ты знаешь, чье это авто? – разорвался водитель. – Артиста Черкасова!

– Весь автотранспорт, легковой, грузовой, личный и производственный, – монотонно тупо, явно не в первый и не в десятый раз говорил милиционер, у которого из-под фуражки по вискам катил пот, –

мобилизуется по постановлению...

«Машина Черкасова!» – переглядывались и толкали друг друга в бока зрители. Киноактеры: Орлова, Тарасова, Марецкая, Утесов, Ильинский... были подобны богам, прекрасным и недостижимым, увидеть даже пустой автомобиль Черкасова – событие.

Милиционер, оборвав перепалку, шагнул на проезжую часть и, взмахнув жезлом, велел остановиться грузовику. Митяй двинулся дальше, обратил внимание, что у продуктовых магазинов очереди длиннее обычного, хвосты на улице змеятся, и толпы людей у сберкасс – снимают накопления.

Ему очень хотелось побывать на войне, успеть. Он пошел записываться в добровольцы тайком от матери и от жены. Подобная скрытность не делала ему чести, но прекрасно вписывалась в сумятицу чувств, которые он переживал в последнее время. У него есть жена, и он скоро станет отцом. Ребенок! Маленький, пищащий, которого он обязан любить, но не испытывает ничего похожего на любовь, скорее уж досаду. Это подло, но правда. Он бросит школу, будет трудиться на черной грязной работе, распрощается с мечтами о Художественной академии или отложит их на неопределенное время. Он решил и не отступится, но не может заставить себя радоваться кульбитам судьбы.

«Я рвусь на войну, потому что хочу сбежать из дома? – спросил себя Митяй. – Нет! Враки!» – словно бы кому-то дал отпор, гневный и резкий.

Митяй столько раз пел в школьном хоре:

*Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет –
Как один человек весь советский народ
За свободную Родину встанет!*

Пел и чувствовал огромное желание, готовность защищать родную страну. Это как защищать мать! А теперь еще и жену, и этого... ребенка.

Придя вечером с работы, где он таскал трехпудовые ящики, отужинав и отправившись спать, Митяй не выдержал и признался Насте, что ходил записываться в добровольцы, но его не взяли. Боялся, что Настя справедливо примется упрекать: ей тяжело, страшно, одиноко, она, беременная, замурована в квартире на Морском, а он, муж, вознамерился бросить ее.

Настя возилась, смешно бормоча:

– Пустите животик. Так, мы его сейчас пристроим. Куда попали? На коленки. Какой же у нас длинный папочка! Ползем вверх, пожалуйста, скажите, когда достигнем могучей груди.

– Достигли, – обнял ее Митяй.

– Как тут славненько! Чего ты хмуришься, как будто слопал мандарины из моего новогоднего подарка.

– Я всего одну слопал, и когда это было! Обижаешься, что я в военкомиссариат пошел и не сказал тебе?

– Нисколечки! Ты – Болконский.

– Кто?

– Роман Толстого «Война и мир». Проходят в старших классах. Болконский – мой любимый литературный герой.

– Первый раз слышу.

– Про роман?

– Про то, что у тебя водятся любимые герои.

– Ревнуй, ревнуй, так, глядишь, и с великой русской литературой познакомишься.

– И что Болконский?

– Он ушел на войну и оставил беременную жену, маленькую княжну с усиками.

– С чем?

– Пушок у нее был темный под носом. Я решительно не желала бы иметь такое украшение. Болконский хотел славы, и его не удовлетворяло собственное семейно-общественное положение. Как и тебя.

– С чего ты взяла...

– Митя! Разве я не вижу, что с тобой происходит?

– Со мной все нормально и никакой славы я не хочу.

– Тебя все жалеют: соседи, приятели, учителя. Они смотрят на тебя, как на несчастного юношу, подававшего большие надежды, да и влипшего. Интересное дело: живот растет у меня, рожать мне, а с сочувствием все взирают на тебя. Точно я кровожадная паучиха, заманившая в свои сети доброго молодца.

– Это я тебя заманил.

– В следующий раз, когда нам встретится учительница русского, уставится на мой живот осуждающе, а на тебя – с тихой скорбью, ты ей прямо скажи: «Видите, Мария Гавриловна, какую красотку я заманил!»

– Договорились. А что с Болконским и княжной при усиках?

– Андрей Болконский увидел небо над Аустерлицем. Небо – как

постижение бытия. Маленькая княжна умерла в родах. У них тоже родился мальчик.

– В каком смысле «тоже»?

– У нас родится мальчик. Ты совершенно не похож на мужчину, способного производить девочек.

– Очень боишься родов?

– Безумно!

– У тебя нет усов, поэтому все кончится хорошо.

– Все только начнется. Я его, нашего сына, уже люблю, он ведь во мне растет и дрыгается, точно в футбол играет. А ты полюбишь потом, обязательно полюбишь! Не переживай!

– Настя! – Он хотел сказать, что очень любит ее, но говорил это уже сотни раз, и слов, которые могли бы выразить его чувства, не находил, возможно, их и не существовало.

– Что, милый?

– Ты – мое место на Земле. Мне очень хорошо с тобой.

– Это самое главное.

Марфу и ее мужа Петра мобилизовали на строительство укреплений под Лугой. Они взяли с собой Степку, потому что оставлять его без присмотра было опасно. Митяй и Александр Павлович с утра до вечера на работе, Елена Григорьевна не в счет, Настя с хулиганом не справится, а Степка уже начал собирать из окрестных приятелей отряд для прорыва к фронту и разгрому фашистов.

Петра с ходу назначили бригадиром – мужиков среди мобилизованных было по пальцам счесть, да и те не физического труда, а умственного – профессора в очечках. Руководитель из Петра – как из зайца гармонист. Распоряжалась Марфа. Где копать, куда ссыпать – показали. Из орудий – лопаты, носилки, тачки. Физически сильным Марфе и Петру в бригаду натолкали девушек, которые приехали возводить укрепсооружения в летних платьицах и туфлях-лодочках. У профессоров и девушек в конце первого же дня вспухли мозоли на руках. Но никто не роптал. Рукавиц не было, перетягивали ладони тряпками. За Марфой, Петром и даже за Степкой никто из бригады не мог угнаться, но все старались. Марфа никогда не видела столько «культурных» людей из породы Елены Григорьевны, которые бы трудились неумело и самоотверженно. На них было жалко смотреть, но они жалости не просили.

Правда, один из «профессоров» как-то затеял бунт:

– Мы копаем противотанковый ров неверно ориентированный! Это

инженерная ошибка с профилем! Судите сами: танк или пехота должны натолкнуться на стену. Теперь посмотрим географически. Откуда пойдет враг? С северо-запада. Он не уткнется в препятствие, а взлетит на него и скатится на равнину.

Марфа, уставшая до дрожи, схватила «профессора» за грудки, оттащила в сторону:

– Замолкни, контра! Мы тут до кровавых мозолей убиваемся. Враг подходит, а ты хочешь нас перекопать заставить?

– Я, собственно... Конечно, перекопать невозможно, и разрывы снарядов все ближе и ближе. Нереально. Отпустите меня, пожалуйста. Господи! Я и не подозревал, что женщина способна оторвать меня от земли. Отпустите!

– Помалкивай, понял? – Марфа поставила «профессора» на землю, поправила у него очки на носу и одернула пиджачишко.

Худенькая девушка не удержала наваленную землей тачку, которая вильнула, подсекла Петра, и тот полетел, кувыркаясь, с кручи. Сломал ногу и плечо. Пришлось везти его в город. В кузове полуторки, кроме Марфы с мужем и сыном, было еще несколько калеченных. Но никто так не вопил на ухабах, как Петр. Он совершенно не мог переносить боли. Вид большого, сильного, бородатого мужчины, который рыдает, кричит и скулит, был невыносим. Марфа держалась руками за борт машины. Лицо ее было каменным – она на себе тащила мужа к машине, надорвала какую-то жилу, по спине и животу плясали молнии.

Степка плакал, держал отца за здоровую руку и уговаривал:

– Батя, потерпи! Потерпи!

Через три часа приехали в Ленинград. В больнице, спешно переоборудуемой под госпиталь, врач только заглянул в кузов и сказал, что переломы закрытые, гангрены не возникнет, наложите шины, заниматься вашим плачущим великаном некому.

Водитель, добрая душа, довез их до дома. Степка сбегал за соседками. Четверо баб, Марфа в том числе, кое-как доволокли Петра до постели.

В ее двухнедельное отсутствие хозяйничала Настя. В магазины за продуктами не ходила – там огромные очереди, только раз или два в булочную за свежим хлебом отправлялась. Да и зачем беспокоиться, когда Марфа натащила запасы? Они питались кашами, молочница с бидонами на тележке уже не появлялась по утрам, оглушая двор раскатистым: «Молоко-о-о! Молоко-о-о!» Поэтому пустили в ход банки со сгущенным молоком, с трудом добытые Марфой. Чередовали их с вареньем: вишневым,

клюквенным, яблочным, грушевым – оно же прошлогоднее, чего беречь. Ели каши, пили чай с булками, намазанными сгущенным молоком и вареньем, тем же и мужиков кормили.

Марфа, заскорузлая от грязи, в мятой вонючей одежде, усталая, с хлыстами боли по спине и животу, стояла и смотрела на них: блаженную Елену Григорьевну с папироской в тонких пальчиках, Настю – беременную девочку, бездумно израсходовавших часть ее припасов. Им не объяснить. Они не сибирячки. Не понимают, не впитали с молоком матери, не учились суровой науке у мудрой свекрови. Рассчитывать нужно только на себя! Семейный круг ты обязана обеспечить так, словно живешь в диком поле, в суровой снежной тундре – автономно, одинолично. А эти городские барышни, что молодая, что старая, привыкшие к сортирам и водопроводу – к тому что само течет и откуда-то берется и убирается... С ними бессмысленно разговоры вести.

– Ма-арфа! – протянула Елена Григорьевна тем капризным тоном, которым просила заваривать кофе покрепче. – Кто так ужасно кричит? Это твой муж?

Петр забывался на несколько минут, спал, а, проснувшись, снова начинал орать от боли так, что соседи сбегались к их двери.

– Митяй когда приходит? – спросила Марфа Настю.

– Скоро должен прийти. Марфа, я могу чем-то помочь?

– Уж помогла дальше некуда.

Боль полосовала тело молниями. Как если бы молнии привязать к древку, и они превратятся в хлысты. Теми хлыстами и стегало Марфу.

Она пришла в свою квартирку, приблизилась к кровати, на которой лежал стонающий Петр:

– Заткнись! Умолкни! Я тебя кормить не буду и твоё сранье выносить не стану, если не замолкнешь! Ножка у него сломалась и ручка! Ты мне жизнь сломал, проклятый!

– Мама, что ты говоришь? – заплакал Степка, который за всю жизнь не пускал столько слез, сколько за этот день. – Ему же больно!

– Больно? – повернулась к сыну Марфа. – Нет у настоящих мужиков «больно»! Отсутствует понятие! И это не твой отец, а тварь полоумная!

Испуганный Степка расплакался еще пуще, Петр грыз большой палец здоровой руки и обиженно гыгыкал.

Во спасение Марфы пришел Митяй:

– Что тут у вас происходит?

Он помог матери нагреть воды, самой помыться в корыте, Степку искупать, обмыть отца, замочить и выстирать одежду, приготовить ужин

для себя и для Камышиных.

Митяй никогда не видел мать расхристанной и слабой, икающей от какой-то резкой внутренней боли. Она позволила себя раздеть и погрузить в корыто, не стесняясь, хотя обычно не допускала, чтобы ее видели даже в нижней сорочке. Ее тело было очень красивым – молочно-белым, упругим, с идеальными пропорциями. Вот бы ее нарисовать! Никогда не согласится позировать. Мать была чистоткой – так, кажется, в Сибири величали аккуратных женщин. Желание смыть с себя двухнедельную грязь пересилило природную стеснительность.

Сын Параси, двенадцатилетний Егорка, сбежал на войну. Оставил записку: «Мама, не сердись! Я уйду на фронт бить фашистов».

Прасковья рухнула на лавку и закачалась в немом крике: рот открыт, а голоса нет.

Каждый день по Иртышу плыли баржи с призывниками, причаливали к пристаням, забирали пополнение и плыли дальше. На берегу стоял безутешный бабий вой, многократно усиливавшийся, когда командовали погрузку. В этой суматохе Егорка, наверное, и прошмыгнул на баржу.

Не уберегла сыночка последнего! Не сдержала перед мужем слово!

В дом вбежала четырехлетняя дочка Аннушка, увидела маму, испугалась, подскочила к ней, обняла за колени. Мама была как неживая: качалась и смотрела в одну точку – Аннушка ее трясла и звала, но мама ничего не слышала. Девочка громко заплакала и бросилась на улицу за помощью.

Мать и сестра Параси не знали, что с ней делать, хоть водой отливай. Но ушат воды опрокидывали на бабу, когда она сознание теряла или с пеной у рта билась в истерике, а Парася, ополоумев, только качалась.

К вечеру выяснилось, что Егорка сбежал не один, с ним еще три мальчишки, в том числе пасынок Максима Майданцева. Это уже внушало надежду: один пацан может затеряться, а компанию беглецов отследить легко. Максим бросился в райцентр, звонить по телефону и слать телеграммы. Парасю уложили на кровать и горячо убеждали, что все образуется, поймают беглецов. И наказать их надо по первое число – чтобы знали, как матерей до смерти пугать.

На следующий день Прасковья отошла, заговорила, но была очень слаба. Пережитый страх подорвал ее и без того хрупкое здоровье. Она быстро уставала, задыхалась, стали случаться приступы невыносимой боли за грудиной. Доктор выписал лекарство, но оно мало помогало. Болезнь по-научному называлась стенокардия, а по-народному – грудная жаба. Сердце,

и правда, часто и тревожно квакало.

Троих мальчишек вернули в село через неделю, а Егорку не отыскиали.

Старший сын Параси теперь звался Василий Андреевич Фролов. Он смутно помнил, как бежал с Фроловыми после гибели родителей из колхоза, как тряслись на телеге, как ехали в поезде. Его тогда била дрожь, лихорадило, было горько и страшно до рвоты, до спазма кишок и выворачивания пустого желудка. Фроловы говорили попутчикам: «Это не тиф. Наш сын отравился рыбой». Теперь он был их сын. Ирину Владимировну следовало называть мамой, а Андрея Константиновича – папой. Чтобы никто не узнал, что Василий – сын врага народа, и чтобы его не постигла бы участь родных.

Фроловы уехали недалеко, за четыреста километров от Омска, на север Казахстана. Они давно слышали о Боровском заповеднике: озера с чистейшей водой, великолепный климат – оазис, спрятавшийся между сибирскими лесами и дикой степью. Город Щучинск с окрестностями называли казахстанской Швейцарией.

Ирина Владимировна работала в школе, Андрей Константинович – бухгалтером на промкомбинате, изготавливавшем мебель. Их чопорный и отчасти тайный быт: крахмальные салфетки, супницы, серебряные приборы – был восстановлен. Они жили изолированно, друзей и приятелей не имели, держались за свой мелкий дореволюционный этикет, как держатся за спасательные круги люди, потерпевшие кораблекрушение. Только теперь их было не двое в лодке, а трое. У Васи долго не получалось называть Фроловых мамой и папой, нет-нет, да и вырывались имя-отчества, к которым он привык с младенчества. Если случалась оговорка при посторонних, Ирина Владимировна поясняла: «В нашей семье приняты уважительные обращения, и никаких «тыканий». Сказать «ты» кому-то из Фроловых Васе и в страшном сне не могло привидеться.

Бездетные, они привязались к мальчику, когда он еще под стол ходил. Научили читать в три года, в пять он уже складывал в уме трехзначные числа. Вася был не просто талантливым ребенком, он обладал качеством, необходимым для ученого – любовью к процессу приобретения знаний. Этот процесс Васю интересовал более, чем уличные игры со сверстниками. Причем область знаний долгое время значения не имела: ботаника, биология, география, иностранные языки... Пока не стало ясно, что его призвание – математика и физика.

Фроловы много сил отдали его воспитанию и образованию. Умудрялись находить книги, немыслимые в провинциальной казахстанской

глуши. Им повезло, что в городке проживала ссыльная профессура из Москвы и Ленинграда, у которой Вася брал частные уроки по многим дисциплинам. С талантливым мальчиком занимались бы и бесплатно, но Андрей Константинович филантропии не допускал – расплачивался продуктами и носильными вещами. Ссылные ученые, которые не имели права даже в школе преподавать, выказывали абсолютную беспомощность в организации быта и пропитания. Рассказать о древних сверхконтинентах с прекрасными именами – Родиния, Гондвана, Пангея, о принципах классификации растений и животных они могли, а картошку посадить или кур завести – не умели.

В городской школе Васе делать было нечего. Большинство учеников из-за хронического недоедания, необходимости трудиться на семейных огородах буксовали на квадратных корнях, а Вася решал дифференциальные уравнения. Он сдавал экстерном – за год по два класса.

Ирина Владимировна и Андрей Константинович не хотели, не умели или не находили нужным проявлять к Васе нерассуждающую родительскую нежность. Как настоящая мама Парася, которая обнимала его, целовала в макушку и говорила, что он ясный сокол, кровиночка и радость ее несказанная, или как настоящий отец Степан Медведев, который подбрасывал его к потолку и рокотно, счастливо восклицал: «Растет, тяжелеет сынка! Ох, могутный из него мужик выйдет! Настоящий сибиряк!»

Новая мама уделяла большое значение манерам – сидеть за столом, не взгромождая на него локти, пользоваться салфеткой, вилок и ножом, откусанный хлеб класть на специальную тарелочку рядом с большой тарелкой для второго блюда, на которой стоит тарелка для супа, а по бокам от тарелок – приборы. Все эти дореволюционное барское манерничанье было нелепо: на первое и второе у них часто была только каша, слегка приправленная растительным маслом или комбижиром. На специальное обучение Васи уходила основная часть зарплат приемных родителей. Для Фроловых, особенно для Ирины Владимировны, сохранение и поддержание культурного быта в мелочах имело такое же значение, как для астронома возможность видеть небо. Нет неба – нет смысла существовать.

К пятнадцати годам Василий вытянулся, но был худ и сутул, очки носил уже два года. От природы он получил прекрасное тело. Которое не знало физических нагрузок, спортивных тренировок. Фроловы не жаловали физкультуру. Единственное времяпровождение, не связанное с чтением и занятиями с репетиторами – воскресные прогулки к озерам. Красота природы, весенняя и осенняя, была потрясающей. Они гуляли и

разговаривали на французском и немецком. Вася уже стал изучать английский, но Фроловы его не знали.

Василий никогда не задумывался над тем, чем вызвано участие Фроловых в его судьбе: удовлетворением родительской потребности, благородным желанием помочь способному ребенку или просто возможностью скрасить унылую жизнь, развлечься. Он не испытывал к ним душевной привязанности, да и благодарности. В нем рано проснулся эгоизм, свойственный ученым-фанатикам. Если им что-то надо, они берут, а чувства тех, у кого берут, значения не имеют.

В пятнадцать лет Вася окончил школу, просуществовал изолированно, как микроорганизм в колбе, его даже окрестные пацаны ни разу не побили. Получив аттестат, поехал в Москву поступать на физический факультет МГУ.

Столица ошеломила деревенского мальчика, однако не напугала, поставив перед ним городские задачи: как ездить на метро и в трамвае, как ориентироваться в хитросплетении улиц, переходить через них. Чтобы решить эти задачи, требовалось только понаблюдать за москвичами.

В приемной комиссии университета к Василию отнеслись настороженно: «только вундеркиндов из тмутаракани нам не хватало».

Он блестяще сдал вступительные экзамены, а про те задачи, что были предложены ему дополнительно, на засыпку написал: «Условия смысла не имеют» – и ниже, уравнениями в столбик, доказательства.

Поступив в МГУ, Вася жил в общежитии и был так же далек от интересов двадцатилетних однокурсников с их амурными похождениями, посещениями танцплощадок, ночными пирушками, как был далек в казахстанском городке от сверстников с их рыбалками и пацанским хулиганством. По учебе, по общему развитию он был среди первых, по возрасту – подростком пуританского воспитания.

Летом сорок первого Вася на каникулы приехал в Казахстан, к приемным родителям. Им не нравилось, что Вася ходит по «профессуре» – рассказывает о последних достижениях науки, раздает научные журналы. Это могло привлечь внимание органов. Фроловы боялись карательных органов панически. Васе на их страхи и предостережения было чихать. Тем особенным людям, которых он навещал, к породе которых сам, безусловно, относился, узнать про новый химический элемент гораздо важнее, чем дрова заготовить. Хотя без дров зимой будет кирдык.

Началась война и выяснилось, что реальной возможности в Москву вернуться у Василия нет. На запад один за другим шли эшелоны с военной техникой, солдатами срочной службы и призывниками. На редкие

гражданские поезда достать билет невысказано. Василий рассудил, что не так уж и существенно, где записываться в добровольцы, в Щучинске или в Москве.

Офицер в комиссариате не посмотрел на год рождения, обратил внимание на студенческий билет:

- Второй курс, значит полное среднее образование?
- Совершенно верно.
- Формируется группа для отправки на ускоренные курсы офицеров связи, туда тебя и направим.

Им обоим, Василию и Митяю, несказанно повезло. Если представить жизненную удачу как последовательное и растянутое во времени вручение неожиданных подарков, то им отсыпали все и сразу. Проще говоря, подарили жизнь. За подарки потом спросится, но это потом и у живых.

Василий не попал рядовым в необстрелянный полк, одна винтовка на троих, с колес эшелона – на передовую.

Митяй, который в августе, второй раз, пришел на призывной пункт, мог оказаться в народном ополчении, куда записывали всех подряд, а из вооружения – винтовки из городских тиров. Ленинград защищали грудью – в прямом смысле слова.

- Мне бы в танкисты или в летчики, – попросил Митяй.
- Возраст? – спросил офицер.
- На заводе работаю, и скоро у меня сын родится.
- Ишь ты, – усмехнулся офицер глупому ответу. В последние недели у него не было возможности шутить, смеяться или просто улыбаться, а тут верста коломенская в летчики желает. – Твоя башка, молодой отец, будет из танка торчать по самые груды, хоть они у тебя и не кормящие. Аналогично и с самолетом, ты в кабине и бубликом вряд ли поместишься. Анисимов! – позвал он рядового, дежурившего у двери. – Глянь, майор, что в артучилище набирал, еще не отбыл?

Майор не уехал и принял Митяя. Наверное, за то, что он с ходу перечислил свои спортивные достижения и еще добавил:

- А вообще-то я родом из Сибири.

Из-за волнения и страстного желания попасть на фронт Митяй изъяснялся как полуумок.

В отличие от других призывников, имевших рюкзаки или заплечные мешки с лямками, у Митяя с собой кроме документов ничего не было. Зато он удачно не отшил увязавшегося за ним брата Степку, потому что времени

на прощание с матерью и женой не было.

– Передай им, – говорил Митяй, – что я напишу, что б они не волновались. И еще, скажи Насте... она знает.

Как через девятилетнего пацана передавать слова любви, верности и поддержки? Она их тысячу раз слышала.

– Везет тебе! – Степака не скрывал жгучей зависти. – Ты так на фронт, а я так...

– Уши зажили? – притянул к себе брата Митяй и крепко обнял. – Братка! На тебя оставляю самое дорогое! Береги мать!

– Чего ее беречь? Она сама кого хочешь уберезет, – всхлипнул, скривился, замотал головой Степака.

После того, как отец покалечился, а Степака наревелся хуже девчонки, он дал себе слово никогда в жизни больше не плакать. Сдержать это слово пока не получалось.

– Мужик! – Старший брат отстранил Степку, наклонился и посмотрел ему прямо в глаза. – Я могу на тебя положиться?

– Ладно, можешь! – утер ладонью нос Степака.

– Если Елена Григорьевна, – наклонился к его уху Митяй, – вздумает назвать моего сына Альбертом, стой насмерть и не позволяй!

– А как надо?

– Иваном, – после секундной задержки сказал Митяй. Он никогда не задумывался об имени своего ребенка.

– Как Иван-дурак из сказки? – Степака тянул время, уже объявили посадку, новобранцы лихо запрыгивали в кузов полуторки. Степке не хотелось, было страшно расставаться с братом.

– Наш русский дурак поумней заморских мудрецов всегда оказывается.

– И немецких?

– Немецких – обязательно! Все! Я пошел, Степака! Но пасаран! – Митяй поднял кулак, и Степака, едва сдерживающий слезы, отсалютовал в ответ победным жестом испанских коммунистов.

Ускоренное обучение военным специальностям заняло у них несколько месяцев – три у Василия и пять у Митяя. Это были самые страшные месяцы – и по потерям, и по подавляющей волю растерянности: фашист катил по стране с обескураживающей скоростью. А ведь все были уверены, что мощь страны огромна, что напади враг на нас – война закончится быстро и победно. Перестроить сознание, принять новые реалии, не испугаться, а всколыхнуть в себе силы и злость для борьбы – сложнее, чем

обучиться принципам организации связи фронтовых подразделений или поражению целей малой, средней и тяжелой артиллерии.

Василий и Митяй, когда поймут, как им повезло не сгинуть в первом полуме войны, не будут относиться к подарку судьбы с религиозной фатальностью: перекреститься и поблагодарить Бога. Без слов, наставлений и пояснений – с молоком матерей они впитали: если ты выжил, то на тебя перекладывается долг погибших. Это как: убили брата, мужа сестры – ты заботаешься об их семьях.

Масштабы бедствия, число семей, потерявших кормильцев, были огромны – не покроешь своим участием. Но, с другой стороны, большинство однополчан Василия и Митяя были с ними одной крови, хотя и по национальности отличной. Высоким стилем никто не изъяснялся, но речи политрука, статьи в газетах, состоявшие сплошь из лозунгов, вонзались в сердце и в мозг почти с той благостью, которая бывает, когда получишь письмо от матери, жены, сестры – из дома. Домом стала вся огромная страна.

Василий и Митяй ничего друг о друге не знали. Когда-то, в сибирском детстве, они постоянно соревновались, мерялись по-мальчишески. Их пути разошлись, а теперь не сблизилась, потому что воевали на разных фронтах – семнадцатилетние офицеры. Впрочем, никто о возрасте не спрашивал, а выглядели они старше своих лет.

И еще было общее: во время кратких передышек, переформирований в ближнем тылу оба предавались занятиям нетипичным для отдыхающих бойцов. В семнадцать лет кажется, что время от тебя убегает, надо хватать его за хвост, иначе не успеешь сделать главное.

Митяй рисовал: портреты однополчан, сожженные дома с обугленными, но выстоявшими русскими печами. Делал зарисовки с оторванными руками, сжимающими винтовку, полупрофили санитарок, бинтующих раненых бойцов – Митяю всегда хотелось поймать жест, искривление тела как выражение острой эмоции.

Его рисунки пропали: сгорели, потерялись, были брошены – он не берег их.

Василий свои учебники, тетради с записями хранил как зеницу ока.

Миловидная телеграфистка Света, положившая глаз на очкастого лейтенанта, начальника дивизионной связи, обнимала сзади, клала голову на плечо Васе, кокетливо ворковала:

– Чёй-то вы все пишите и пишите! Закорючки какие-то нерусские.

– Они, собственно, универсальные, математические, – Вася от

вспыхнувшего желания был готов завалить Свету на топчан, как делал помначштаба, не обращавший внимание на Василия, который, естественно, тут же выскакивал на улицу. – Видите ли, – бормотал Вася, – я считаю, что любое явление можно описать математически, в том числе принципы функционирования нового невероятно мощного оружия, которое...

– А любовь описать можно? – перебивала Света, сложив губы трубочкой и дуя ему на ухо.

– Безусловно! Но для этого требуется создать теорию, испытать ее модель...

Света почему-то решила, что Василий назвал ее «моделью», и это было обиднее, чем «подстилка офицерская», как в глаза ей бросали другие девушки-телефонистки.

– Испытатель нашелся! – презрительно прошипела Света, распрямившись. – Сам, небось, не знает, как к бабе подступиться.

Василий действительно не знал, и его невинность, стеснительность и смущение в общении с девушками служили для однополчан поводом для шуток. Защитой могла быть только суровая маска, нацепленная Василием: сейчас не время для амурных развлечений. Со своим непосредственным командиром, помначштаба, он испортил отношения вдрызг, пустив шутку: «Всё на свете? Или все на Свете? – вот в чем вопрос».

Митяй слыл бабником, хотя скоротечных связей не заводил. Товарищам по оружию было завидно, что девушки смотрят на улыбающегося Медведева, как воспитанные кошки на сметану – облизываются, изображают готовность вылизать миску, лапки у них подрагивают, но без команды не приближаются. По общему мнению, сибиряк получал удовольствие втихаря, не афишируя своих постельных побед над местными гражданками и военно-медицинским женским персоналом. Митяй ничего не отрицал, но и не подтверждал, потому что слава громителя женских сердец неожиданно укрепляла его авторитет как командира. Этот авторитет, конечно, базировался на его сметливости, отваге, человечности – он впрягался наравне с рядовыми и сержантами, когда тащили орудия по грязи, помогая изнемогшим лошадям, и не трескал свой офицерский паек в одиночку, а делился с бойцами. И все-таки артиллеристам явно льстило, что могли про своего командира сказать:

– Орел! Коршун, едрить! Только в село вошли, мы честно баб предупреждаем: «Прячьте девок! Ох, и зол до них наш командир!»

Курск

В сентябре 1941 года фашисты приблизились к западным границам Курской области.

Нюраню, как и всех медицинских работников призвали в армию еще летом. Но, объявив их мобилизованными, сразу пристроить врачей: отправить на курсы переквалификации – в хирурги, хоть из стоматологов, но – в хирурги, потому что на войне они нужней всего, не успели. Для спешной эвакуации: людей (из специального списка), промышленного сырья, оборудования предприятий, культурных ценностей, зерна, скота и птицы – транспорта в Курской области не хватало.

Первого ноября Нюраня получила известие: умирает Ольга Ивановна – акушерка из маленькой больнички, несколько лет назад спасшая Нюраню, беженку раскулаченную. Ольга Ивановна заменила ей мать, стала учителем, наставником и охранительницей. Но не из чувства благодарности Нюраня отправилась в опасную дорогу. В суровые времена, на которые пришлась юность Нюрани, в изобилии встречались как подлость человеческая, так и благородство самой высокой пробы. Для Ольги Ивановны Нюраня – нечаянная, последняя привязанность, любовь и гордость. Так, как суровая и немногословная Ольга Ивановна любила Нюраню, только свои, родные любили. Им: отцу, матери, брату Степану – Нюраня не закрыла глаза на смертном одре, не проводила в последний путь. Так пусть хоть отдаст последний долг Ольге Ивановне.

Нюраня успела до минуточки.

Ольга Ивановна узнала ее, слабо улыбнулась и сказала:

– Ты!

Агония длилась три часа.

Деревенские бабы обмывать и наряжать покойницу не пришли, хотя обычно дежурили у дома, где свежий покойник – заработать хоть копеечку. Все прятались в подполах – бомбили далеко, но страшно.

Нюраня сама обмыла и одела в последний путь свою наставницу. Вместе с Николаем – бессменным конюхом, сторожем и работником больнички, положили Ольгу Ивановну в гроб. Николай заранее его выстругал, как и могилу выкопал. Нести вдвоем гроб, даже без крышки, до телеги было невероятно тяжело.

Пока тащились до кладбища, Николай, заметно постаревший, седой и сгорбленный, бормотал ругательства в адрес своей жены Дуськи, которая

не пришла на помощь, а пряталась. Очень эта дура нужна Гитлеру!

Нюраня понимала, что так он прощается с Ольгой Ивановной, с которой бок о бок прожил много лет, пусть не счастливых в смысле радости и веселья, но в смысле спасения чужих жизней – эти годы как утрамбованная капуста в бочке.

Засыпали могилу. Николай спросил:

– Звезду на деревянную пирамидку крепить али крест ставить?

– Крест, – ответила Нюраня.

– За крест, бают, теперича наказывают, высылают.

– Выслать ее дальше, чем сейчас лежит, невозможно. И все испытания, которые можно послать женщине, она приняла. Несла свой крест, и пусть его символ стоит на ее могиле.

– Символ я строгать не обучен. Простой крест заготовил.

Они спустились с косогора, по которому сплывало разросшееся сельское кладбище, и Николай неожиданно сказал:

– На Орлике до города ехай.

Коняга Орлик – единственная и абсолютная любовь Николая. Оказавшись в провинциальной больничке много лет назад, Нюраня часто ругалась с Николаем, который не пускал Орлика по высокому первоснегу за роженицей, потому что, видите ли, до дальнего села «всеравны не добраться, а то, что ёйный муж припёрсси по сугробам, так воно у него со страху».

Николай ежедневно мыл, скреб щеткой Орлика, сам недоедал, жене не давал, но кормил и холил коня.

И вот теперь Николай отдавал своего любимца Нюране.

– Ты, где можа, пеши, а под горку – садись на телегу, ногам сдохнуть, – бормотал Николай, поглаживая шею коня. – Как доберёсси, на конюшне Кондрату Орлика не отдавай, найди Федора, он мужик надежный и меня знает. А если Орлик совсем... Скажи Федору, что подковы у коня новые, подковывал по весне. Да Федька и сам увидит.

«Как же! Доберёсси! – думала Нюраня. – Коняга чудом гроб до кладбища довез. Он так стар, что сдохнет через две версты».

– Спасибо! – поблагодарила Нюраня. – Я как-нибудь сама, на перекладных.

– Сколько отвалила, чтобы тебя сюда доставили?

– Много.

На те деньги, что заплатила Нюраня, можно было первым классом прокатиться до Крыма и месяц там отдыхать, ни в чем себе не отказывая. Емельян не знает, что она почти все сбережения выгребла из шкатулки, с

мужем еще предстоит разговор.

– А ноне ни за какие шиши не повезут, – сказал Николай. – Нету перекладных, транспорт и лошади мобилизованы. Вот тут тебе ещё...

Он порылся в телеге, достал сверток ткани, раскрутил его. Это была старая ветхая льняная простынь с большим красным крестом в центре, пришитом грубыми стежками.

– Зачем мне? – удивилась Нюраня.

– Чтоб ераплан увидел и не бомбил. С Гражданской берегу. Ну, бывай!

Он развернулся и пошел прочь. Старый, сгорбленный, с развевающимися на ветру сивыми нестриженными волосами и бородой.

– Дядя Николай! – закричала Нюраня, подбежала к нему, обняла.

– Ды уж ехай, ехай! – отстранил он Нюраню. – Не рви сердце!

Его сердце, конечно, рвалось от расставания с любимыми конем, а не с Нюраней. Хотя для нее он пожертвовал самым дорогим.

Большая часть пути прошла благополучно. Нюраня возвращалась в город с востока, а враг наступал с запада. Верный Орлик перебирал ногами в том же темпе, что и Нюраня. Она несколько раз присаживалась на телегу на спусках, пила воду из бутылки, заткнутой кукурузным початком. Николай, никогда прежде не отличавшийся заботливостью, положил в телегу бутылку с водой, завернутую в тряпицу краюху хлеба и две луковицы, соль в спичечном коробке, и вдобавок зачем-то фляжку с самогоном. Открутив крышку и понюхав, Нюраня безглаголиво передернулась.

Она ехала меж двух полей, на которых взошли озимые. Мохнатый травяной ковер в лучах предзакатного солнца приобрел нежно-изумрудный цвет и простирался до небольшой балки на горизонте. Звуки дальнего боя или артобстрела были нестрашными, как гроза, бушующая где-то за тридевять земель – пока до тебя дойдет, ослабеет и превратится в мелкий дождик.

Шум мотора из-за балки тоже не насторожил Нюраню. И когда шум усилился, из-за деревьев вылетел самолет, она, задрав голову, смотрела на него с детским любопытством. Самолет резко пошел вниз, Нюраня увидела черный крест на крыльях и даже разглядела за стеклом кабинки летчика в шлеме. Она подняла руки, потрясла ими, как бы говоря: «Подожди минуточку!» Быстро расстелила полотно с красным крестом и потыкала в него, мол, врач, стрелять не следует.

Летчик сделал небольшой круг над полем и, пролетая обратно, пустил

пулеметную очередь. Он промазал – змейкой пробежали по краю поля фонтанчики земли и вырванной травы. Фашист пошел на второй круг, Нюраня рухнула на колени под боком у коня. Орлик оглох года три назад, разрывы пуль его не тревожили. Нюраня, испугавшись вдруг и остро, превратилась в мышь, в зайца, в собаку – в животное, которое прячется в любую щель, за любую ограду, если нельзя спастись бегством.

Во второй заход фашист не промазал – пулеметная очередь прошла Орлика, всколыхнула покрывало на телеге. Орлику пробило шейную артерию, брызнувшая фонтаном кровь окатила Нюраню. Умный конь не завалился на бок, а сложился, упал на подогнувшихся ногах животом на землю. Он был запряжен легкой пристяжкой, без дышла, дуги, оглобеля, которые могли бы удержать раненого коня от падения на бок.

Нюраня детство и юность провела в селе и повадки домашних животных знала. Она много раз слышала, как воевавшие мужики говорили, что раненый конь чаще всего падает на бок и что если на тебя завалится, «весу-то боле полтона», – хана, повезет, если только ноги придавит. Орлик ее спас – и от пуль, и не завалившись на бок.

Но в тот момент она ничего не вспоминала, не удивлялась поведению Орлика – на четвереньках, обдирая колени, ползла под телегу и верещала:

– Мамочка! Мамочка, спаси!

Фашистский летчик сделал еще один круг и пустил еще одну пулеметную очередь. Она не причинила Нюране вреда, только несколько щепок от телеги впились в лицо. Самолет улетал, его рокот становился все тише и тише, а Нюраня все звала на помощь то мамочку, то Господа.

Кое-как уняв дрожь, сотрясавшую тело, Нюраня выдернула щепки, ее кровь, потекшая из ран, смешалась с кровью Орлика. Нюраня оторвала несколько полос ткани от полотна с красным крестом, смочила самогоном и вытерла лицо, кое-как перебинтовала.

Надо двигаться дальше. Поплелась, шатаясь. Добралась до балки и поняла, что не может сделать ни шагу. Ее физическая усталость не могла быть уж очень большой, но тело отказывалось повиноваться. Нюраня опустилась на землю, свернулась калачиком под деревом и расплакалась. Слезы намочили повязки, и раны на лице засадили.

Война шла уже более трех месяцев, но до сих пор для Нюрани выражалась только в дополнительной работе: больницы и роддома переоборудовались под госпитали, тех пациентов, которых нельзя было выписать, свозили в одну больницу. Медперсонал сократился вдесятеро: большинство врачей, медсестер и даже санитарок мобилизовали. А женщины продолжали рожать. Как выражался их больничный сторож дед

Кондрат: ссать и родить нельзя погодить.

И вот теперь война обрушилась на Нюраню лично. Ее, хорошего врача, беззащитную мирную женщину фашистский изверг расстреливал, играя и куражась, насмехаясь над красным крестом. Если бы не Орлик, немецкий летчик пристрелил бы Нюраню, точно зайца пугливого. Нюраня рыдала из-за пережитого страха и от сознания того, что на родную землю пришла безжалостная, бесчеловечная, страшная в своем упоении вседозволенностью темная сила.

Нюраня давно так бурно не рыдала. Последний раз – когда отец, спасаясь от раскулачивания, увозил ее в Омск, от ненаглядного суженого Максимки. Нет, это был предпоследний раз. Прибыв в Курск, она устроила концерт в кабинете главного врача. Спустя много лет он иногда подмигивал: «А помнишь, как ты икала?» После рыданий, до которых в детстве и в юности Нюраня была большой охотницей, на нее нападала злостная икота. Проикала расставание с матерью, на которую, глупая, осерчала. В кабинете главного врача так звонко и оглушительно икнула, что доктор оросился фиолетовыми чернилами, брызнувшими с пера ручки.

И вот теперь снова икота – как пульсирующая затычка, словно мозг велит прекратить истерику и насылает судорожные спазмы. Не столько рыдания, сколько икота, забытая, нелепая, отдающая глупыми детскими горестями, успокоила Нюраню. Она обязательно найдет возможность передать весточку Николаю, сообщить, что Орлик погиб в бою, героически спас ее от неминуемой смерти.

В Сибири говорили: «Женский обычай – слезами себе помогать». Хотя ее мама не терпела рыданий, злилась, когда видела слезы, считала, что они – от себяжаления. Иногда, если себя не пожалеть, то рехнешься.

Нюраня очнулась от предрассветного холода. Зеркальца у нее не было, но воображение с готовностью нарисовало автопортрет: волосы, облитые спекшейся лошадиной кровью, сикось-накось перевязанная физиономия. Отдирать присохшие тряпки не стоит, потому что новые повязки наложить не из чего. Легкое светло-серое габардиновое пальто в бурых кровавых разводах, но хотя бы прикрывает сбитые коленки, и почти не видно подранных чулок.

– Доктор Пирогова, – сказала Нюраня вслух, – вы хороши как никогда. Не хватает лисы на плечах. Но с лисой-то всякая дура обворожительна для неприятельской публики. Разговариваю сама с собой. Один из первых симптомов умственного расстройства. А вот и хрен вам! – Нюраня, присев под кустом справить малую нужду, скрутила фигу и чуть не свалилась,

потеряв равновесие.

По балке плыл туман – быстрый, клубящийся, подгоняемый ветерком. Он напрочь сбил ориентиры, куда идти не ясно, но пока можно подкрепиться. Нюраня грызла ядреную луковицу, заедала хлебом, запивала остатками воды. Отдохнув, выпавшись в лесу (пусть в балке – в сиротском лесу), Нюраня чувствовала себя прежней. Нет, сильнее, чем прежняя, и, определенно, не такой размазней как накануне.

– Да! Говорю вслух, но паническая шизофрения отменяется. А тебя!.. – Нюраня выругалась многосложно, обращаясь к фашистскому летчику, обвинив всех его предков в половых извращениях и пообещав, что потомков у него не будет по причине отсутствия детородных органов. Запнулась, не ожидая от себя матерной тирады. – О, как вырвалось! А теперь литературно: я тебя, фашист, больше не боюсь. И никто не заботится! Ты не знаешь, на какую землю и на какой народ позарился!

Туман рассеялся, остатки его стелились по жухлой осенней траве в балке, по ершистым озимым на поле. Вышло солнце – большое, нестерпимо оранжевое, доброе и равнодушное одновременно. Как Бог.

Нюраня шла по знакомой дороге, никогда прежде пешком не преодолеваемой, а только на бричке или в автомобиле. Шла и говорила, уже не вслух, про себя, только изредка взмахивая руками, грозя фашистам. Идти ей было три часа, ни разу не остановилась, хотя на подходах к городу не гримасничала уже и не размахивала руками – устала. Эта усталость походила на ту, что бывала в сибирскую крестьянскую страду во время сева или уборки урожая: сначала ты ой какая бодрая, работаешь и шутками перебрасываешься. Потом шутки и подначки сходят на нет. Какое-то время на бескрайнем поле, под необъятной вышиной неба, выгнувшемся голубым тазиком с редкими белыми барашками, все работают молча и упорно, пока мышцы окончательно не закаменеют и не станут ломать скелет – надо отдыхать, иначе завтра тело превратится в пышущую болью квашню.

Очень хотелось пить, но ни ручейка, ни родничка Нюране не встретилось. Возможно, они были в стороне от дороги, но сворачивать, искать, терять время она не хотела.

Нюраня чуть притормозила, на ходу достала из сумки фляжку с самогоном, всколыхнула ее и сказала:

– Ты же процентов на шестьдесят или хотя бы на сорок вода?

Нюраня сделала большой глоток, закашлялась, глубоко вздохнула, с шумом втягивая воздух носом, и на выдохе прохрипела:

– Умом тронутым, тем, что сами с собой разговаривают, употреблять спиртное очень не рекомендуется.

Однако крепчайшая самогонка подстегнула мозг, который послал мышцам сигнал: «Вперед, ребята! Мы еще можем».

«Кому сказать, – думала Нюраня, шагая почти бодро и почти не шатаясь, – что если вмазать водки, то силы возрождаются и удваиваются, – не поверят. Что-то здесь не так с научной точки зрения».

Крестьяне, как бы не ухайдокивались в страду, ночуя в поле, никогда не принимали спиртного. Потому что расплата за него и за лишний труд будет очень тяжелой. Хорошие полководцы не поили воинов перед боем, а только после. Жесткие военачальники, что не берегли солдат, перед штурмом или атакой подносили чарочку – для храбрости, для безрассудной пьяной отваги.

Нюраня про полководцев и военачальников ничего не знала, а крестьянский труд до восемнадцати лет был ее основным. Она еще несколько раз прикладывалась к спасительной фляжке.

Шла по окраинам Курска и думала о том, как интересно было бы заняться физиологией. Нет, знаний все-таки не хватает. Вспомнить, как в институте училась, после четырех классов сельской школы-то! Днем и ночью зубрила то, что гимназисты с сопливых годочков знали. Она хотела стать врачом и стала! Ее специализация именно та, что была страстно желаемой. Бабы рожали, рожают и будут рожать! Всегда и везде. Прямо тут...

У пустого магазина с выбитыми стеклами зарешеченных окон, привалившись к стенке, на земле сидела молодая женщина. Основательно беременная. Дышала мелко и часто, к вспотевшему лбу прилипли кудряшки темных волос. Рядом валялся небольшой чемодан.

– Рожаем? – подойдя, спросила Нюраня. – Вот интересно! А если бы я была травматологом, то вокруг меня все бы кости ломали? Или стоматологом? Ко мне бы притягивало бедолаг с пульпитами? Хорошая картинка: я иду по улице с лисой на плечах, а за мной тянутся косорылые, со вспухшими щеками, перевязанными платками. На макушке, – она подняла руку, игриво пошевелила пальцами над головой, – завязочки из узелка весело торчат. Как в кино. Почему в кино больных всегда изображают полудохлыми, но мужественными идиотами, а врачей сосредоточенными, но тоже чикчирикнутыми эскулапами?

Женщина смотрела на Нюраню со страхом: дама была грязна, облита чем-то подозрительно похожим на спекшуюся кровь, лицо тряпками перевязано, а когда присела, пахнуло луком и водкой.

– Я врач, – говорила эта странная вонючая, явно нетрезвая дама в дорогом габардиновом пальто, и туфли у нее не из дешевых. – На твое

счастье я акушер-гинеколог. Меня тебе послал ваш бог... Иегова? Как там величают главное еврейское божество? Я здесь, с тобой, и на всех богов нам сейчас... в смысле, что они не прилетят и не помогут. Я устала до чертей собачьих, – дама говорила и, больно нажимая, ощупывала ее живот. – Головка внизу, предлежание плода классическое, можно сказать, отличное. Нам повезло. Слушать меня и повиноваться! Отвечать на вопросы четко и ясно. Вздумаешь блажить – развернись и уйду! Схватки есть?

– Да.

– Первородящая?

– Да.

– Когда начались схватки?

– Еще в поезде... они бомбили... там было столько убитых и раненых... я ползла... Это такой ужас!

– Не такой уж, если чемоданчик захватила. Отвечай четко на мои вопросы. Когда начались схватки? Три часа назад, пять, полчаса?

– Я не могу определенно сказать.

– Воды отошли?

– Куда?

Странная дама забралась ей под юбку и ощупала:

– Сухо. Воды еще не отошли, и это хорошо. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы роженицы были мало-мальски образованы, чтобы они знали, как протекает процесс, участвовали в нем, помогали. Не мне! Своему ребенку! Неужели когда-нибудь наступит время, когда роженица будет приходить, в смысле поступать, в родовспомогательное учреждение на карете «скорой помощи», или, бери шире, доставляться на аэроплане, и они, роженицы, все из себя подготовленные... Мы раньше на Луну слетаем. Встаем, опираешься на мое плечо. Когда схватка, если мочи нет, приостановимся, но лучше двигаться. Волю в кулак, язык зубами прищемить, но двигаться. Усвоила?

– Чемодан! – завопила роженица, сделав с Нюраней несколько шажков.

– Забудь про него! До ближайшей больницы километров пять, до моего дома ближе.

– Там фотографии!

Роженица, безусловно еврейской национальности в ее наилучшем исполнении, – темные волнистые волосы на макушке, а на лбу и на висках сейчас спиральками прилипшие, миндалевидные глаза, трепещущие как аквариумные рыбки, гладкая кожа лица, в данный момент землистого цвета, но в хорошие времена наверняка была кофе с молоком. Чистое лицо

беременной – это редкость. У большинства на щеках и на лбу ржавого или гречишного цвета неровные пятна. Как ты не хорони, не прячь девку, по лицу сразу поймешь – нагуляла, в подоле принесет. Живот можно спрятать, а лицо не укроешь.

Нюраню, несостоявшегося физиолога, всегда интересовало, какими процессами в организме вызываются эти пятна, пропадающие, как у нее самой после беременности и родов, а у кого-то остающиеся навечно, будто родимые.

– Тебе сейчас не о фотографиях думать надо! – одернула Нюраня женщину.

– Это все, что осталось от мамы, братьев, сестер! Они затолкнули меня в вагон, а сами остались... Я понесу, понесу...

– Она понесет! – подняла Нюраня чемодан. – Ты живот свой донеси.

Улица была пустынной, вымершей, дома на ней большей частью фашисты во время авианалетов разбомбили. Идти приходилось посередине мостовой, лавируя между грудками камней. Часто останавливаться: схватки у женщины накатывали каждые пять минут. Она держалась хорошо, мычала от боли, но не вопила в голос.

– Крепись, – говорила Нюраня, – береги силы. Эта боль – еще не боль. Вот когда головка станет врезаться, ты увидишь небо в алмазах. Роды – тяжелая физическая работа. Короткая, но требующая огромного мышечного напряжения, для него нужны силы, и тратить их на крики безрассудно. Хотя рассудочности от рожениц ждать все равно, что от мухи меду. Обезболивание в родах, особый наркоз – интереснейшая задача.

– Ее решат еще до полета на Луну? Вы, кажется, действительно врач.

– Она еще сомневалась.

– У меня выбора не было, – слабо улыбнулась женщина, восстанавливая дыхание после схватки. – Спасибо вам большое!

– Еще рано благодарить. Давай пошли, как можешь быстрее.

Тишины не было. Где-то впереди и справа ухало, квакало, строчило – будто на птичьем базаре случился переполох, и совы, дятлы, глухари и вороны, голуби и прочие пернатые устроили гвалт.

– Ведь это бой идет? – спросила женщина.

– Наверное, – равнодушно ответила Нюраня.

– Вам не страшно?

– Стреляют далеко, в районе кирпичного завода, там баррикады строили. А отбоялась я вчера – на все войны, эту и последующие. Шагай, милая, старайся!

Откуда взялась роженица, Нюране было ясно.

В Курске с дореволюционных времен имелась большая еврейская община. Говорили, что третья по величине после Москвы и Ленинграда. Евреи в своем районе жили компактно, ходили в синагогу, имели свои школы, микву (место ритуальных омовений), кладбище, на котором женщин хоронили в одной стороне, а мужчин – в другой. Говорили на идише, а на русском – со смешным акцентом и коверканьем слов. Русских и украинцев жилкомиссия тоже селила по ордерам в многоквартирные дома еврейского квартала, и дети их легко вписывались в мир, где еврейские мамы привечали и подкармливали всех детей, приглашали соседей на застолья по случаю своих чудных праздников, вроде обрезания у мальчиков и омовения в микве девочек после первой менструации. Погромов, вражды никогда не было. Хотя, рассказывали, в далеком девятьсот шестом году орда пьяных пришлых хулиганов, вооруженная палками, бросилась громить «пархатых жидов». Так их уладили свои же окрестные русские и украинцы: «Геть от наших евреив!»

С началом войны в Курск хлынули еврейские беженцы с Украины и особенно много – из Белоруссии. Старики, женщины, дети добирались в товарняках, а то и на железных угольных платформах – «хопрах». Кто-то успел прихватить багаж, но были и те, что в ночных сорочках, без вещей, еды и денег. Еврейская община, не обращаясь к помощи властей, в синагоге собирала «гелд» – деньги, чтобы купить лошадь и подводу, одежду и пропитание, отравить беженцев дальше на восток. И сами эвакуировались спешно.

Роженица, на которую натолкнулась Нюраня, была определенно из еврейских, последних, беженцев с запада СССР, теперь уже оккупированного фашистами. Беременную женщину затолкнули в поезд в справедливой надежде, что курская община позаботится, не оставит. А Курск уже не мог обороняться, хотя в народное ополчение, в истребительные отряды записались все мужики, кто мог двигаться. И сейчас они сражались на баррикадах и на заграждениях – с винтовками против танков.

Нюранин опыт общения с представителями еврейского квартала исчерпывался несколькими эпизодами.

Как-то в предродовой палате лежали всего лишь две женщины. Бывало их десяток, и крик стоял! Уши ватой затыкали. Одна из рожениц между схватками призналась, цепкой худой ладонью до боли захватив Нюранину руку, что она жена попа, репрессированного, сосланного и, возможно,

погибшего, так как сведений о нем не имеют уже полгода. Вторая роженица была еврейкой – на улице схватки начались, доброхоты в больницу приволокли. Обычно еврейки рожали под присмотром своих акушеров и врачей. У попадьи был узкий таз плюс крупный плод. У Нюрани – невозможность сделать кесарево сечение. Потому что сроки для чревосечения прошли, да и единственная операционная занята – там пятый час бились, спасая милиционера с перитонитом. Этот герой несколько дней выходил на дежурство, имея гнойный аппендицит, и подстрелил-таки какого-то особо опасного бандита. Подстрелил и свалился. Теперь в коридоре дежурили, шагали из конца в конец люди в кожанках.

Еврейке, верещавшей так, что уши закладывало, Нюраня наложила на лицо марлевую маску, оросила эфиром. Еврейка стала тише, хотя рычала и брыкалась по-прежнему.

Умирая, попадья сказала, глядя на соседнюю кровать:

– Евреи – богоизбранный народ, а русские – народ-богоносец. Ты понимаешь, девушка-доктор? Прочитай надо мной молитву. Любую.

Нюраня не успела вспомнить слов молитвы, как попадья умерла. Вместе со своим ребенком, хотя его сердце, питаясь остатками живой материнской крови, простучало на пару минут дольше.

В предродовую палату, бодро шагая, вошли еврейские врачи в наспех натянутых белых халатах. Тогда-то Нюраня познакомилась с доктором Гильманом. Очень старый, седой и лысоватый. Не акушер-гинеколог по специализации, он работал терапевтом в районной поликлинике, но для еврейской общины был самым главным семейным доктором. Вместе они приняли роды. Их ведение Гильман полностью отдал Нюране, а сам только успокаивал роженицу, что-то приговаривая на идише, изредка с милой улыбкой извиняясь:

– Наша Сара очень эмоциональная особа, даже вздорная. Но это верный признак хорошей еврейской матери. О! Еврейская мама – особый человеческий женский тип. Дарвин, я извиняюсь, про него и не слыхал.

– Вы моей мамы не знали, – ответила Нюраня, косясь на второго доктора.

Он был помоложе, насупленный, не вмешивался, слова не сказал, стоял в стороне, наблюдал за Нюраней с готовностью оруженосца, которому только дай команду выхватить меч и крушить все вокруг.

– Мойша, иди, мой мальчик, – обратился к нему Гильман, – подготовь перевозку нашей дорогой Сары.

И «оруженосец» с готовностью подчинился, вышел из родовой палаты.

– Анна Еремеевна, – Гильман, старый коротышка, ей чуть выше пояса,

захватил ее руки, – вы же ими чувствуете? Ведь чувствуете?

– Отпустите, – выдернула руки Нюраня, которая была уже кандидатом в члены партии и отчаянно травила в себе ненаучные видения.

– Конечно, конечно! Извините! – мелко закивал Гильман.

В то время, что принимала ребенка, и особенно когда старый еврей коснулся ее, Нюраня чувствовала странное с ним единение. Так не бывало с любимым – единственным Максимкой, с матерью, отцом, братьями, даже с учителем первым доктором Василием Кузьмичом, и с Ольгой Ивановной не бывало. Точно она, Нюраня, и этот старый еврей были из одной подпольной касты, которая изъяснялась друг с другом тайными знаками, да и не знаками вовсе, а как гипнотизеры.

– Всего доброго! – бесцеремонно попрощалась Нюраня. – Роженицу и младенца вы увозите, документы оформите, медсестра вам поможет. До свидания!

Вышла, не услышав ответного прощания. Если кто-то догадывался о ее тайном даре, Нюраня отчаянно злилась.

Это было год? Полтора назад? Два? Поток рожениц не утихал, и даты, месяцы, дни событий стирались, точно они были арифметическими примерами на школьной доске, которые дети стирали мокрой тряпкой после урока.

Второй раз, уже после начала войны, Нюраня увиделась с «оруженосцем» несколько недель назад, он пришел к ней в больницу.

Не успел поздороваться, как Нюраня неожиданно выпалила:

– Я вас помню! Мойша.

– Матвей Ильич, с вашего позволения.

У Нюрани после знакомства с доктором Гильманом осталось неприятное чувство: с хорошим человеком обошлась неучтиво. О докторе Гильмане и зашла речь. Он не желал эвакуироваться, Матвей Ильич просил Нюраню (Анну Еремеевну) отправиться вместе с ним и уговорить Гильмана, который-де часто вспоминал «милую доктора Пирогову» и говорил, что она обладает редким врачебным даром. Нюраня с готовностью согласилась – это была возможность загладить свое хамское поведение, которое не становилось простительнее, даже если Гильман и хорошо о ней отзывался.

Матвей Ильич (терапевт из той же больницы, что и старый Гильман) горячо обрадовался и по дороге все время повторял:

– Это недалеко, на углу Либкнехта и Большевиков.

Как будто Нюраня не согласилась бы отправиться к Гильману, живи он на окраине.

– Угол Либкнехта и Большевигов. Улиц. Улиц Либкнехта и Большевигов, – повторял Матвей Ильич.

Смущение молодого врача, ровесника Нюрани, было забавным и льстило.

– Я поняла, этакий коммунистический перекресток.

– Что? В определенном смысле... если к топонимике относиться с некоторой долей юмора.

– А что такое топонимика?

– Раздел ономастики.

– Как? Мне стало еще понятнее.

– Топонимы – это географические названия, – Матвей Ильич от нервной стеснительности спотыкался. От того, что спотыкался, смущался еще больше. – Топонимика изучает географические названия, их происхождение... – мямлил он.

– С происхождением названий улиц имени Карла Либкнехта и Большевигов все понятно. Но скажите мне, откуда берутся названия деревень вроде Грязи или Ванюкино, или Тюрьма? У нас... то есть, скажем, в Сибири, подобного издевательства не встречается. А в российских областях – навалом.

– Да, действительно, – Матвей Ильич изо всех сил старался придать себе достойный вид, выказать ученость или хотя бы передвигаться без вихляния и прискоков. – Трудно представить, что аборигены назовут свое селение неблагозвучно.

– Хотите, я вам расскажу, как сами люди, в вашей терминологии – аборигены – объясняют этот феномен?

– Феномен.

– Что?

– Следует произносить – феномен.

– Да? Спасибо! – искренне поблагодарила Нюраня и впервые посмотрела на него с уважением. Мужчина, который исправляет твою речь в ущерб страстному желанию понравиться, есть человек, который повышает твою культуру и образованность, сознает, что они для тебя важнее, чем потребность нравиться всем и каждому. – Рассказывать или нет?

– Обязательно! – пылко воскликнул Матвей Ильич, споткнувшийся так, что не подхвати его Нюраня, пропахал бы носом землю.

– Однажды я принимала роды в сельце под названием Дураки. Представляете? По соседним областям в составе санпросветотряда ездила и читала лекции бабам «по женским болям», как они называли гигиену

половой жизни. И вот во время одной лекции в клуб врываются три мужика: «У вас тут, гряд, знащая акушерка? А в Дураках баба разродиться не может. Всего пять верст отсель. Которая акушерка? Хватай ее, робяты!» Это были муж и братья роженицы, умыкнувшие меня. Опускаю подробности. Роды прошли благополучно. Когда пили чай, я оборвала триста двадцать пятое извинение и спросила, почему их селение называется Дураки, хотя живут здесь, судя по повадкам, отнюдь не недоумки? Ответил отец... или свекор роженицы – не помню. По его словам, село имело другое имя, но много-много лет назад, в петровские времена приезжали переписчики с бумагами и картами, на которые наносились селения. Переписчикам в грязь и распутицу не хотелось переться на противоположный берег реки или, второй вариант версии, река разлилась, и переправиться через нее не было возможности. Картографы спросили местных: «А там что? Как селение называется?» И местные, у которых деревня благозвучно называется Малиновка, божились: «Дураки. Истинный крест! Так величаются». Усталые географы-картографы рисуют на карте кружочек и пишут «Дураки». Вот такая народная тропа...

– Топонимика, – Матвей Ильич был уже почти молодцом, взял себя в руки (стиснутые перед грудью, как у борца в смешных соревнованиях под названием бокс) и не заплетался ногами. – Я всегда считал и продолжаю считать, что еврейский юмор уникален, в нем множество оттенков и многозначности. С другой стороны, нельзя отрицать, что юмор русских жестче, циничнее, но не улетучивается, как еврейский, а увековечивается. Евреи постоянно смеются сами над собой, анекдоты про хитрых евреев, выигравших в словесных поединках или в финансово-имущественных спорах, я предполагаю, сочинены не русскими, а самими...

Нюрания сначала слушала его с интересом, а потом потеряла мысль.

Они шли по улице. Приближались к женщине, стоящей на тротуаре, задравшей голову возле многоквартирного дома.

– Цыля! Цыля! – звала женщина. – Иде Софка? Цыля, иде Софка?

На втором этаже распахнулось окно, из него высунулась другая женщина, очень полная, ей пришлось перевалить огромную грудь через подоконник:

– Так орешь, разбудила-таки дядю Изю, он пятый год под себя лежит. На чердаке Софка вешается, во дворе пыльно.

Полученная информация несколько не испугала женщину на тротуаре, она продолжила диалог с грудастой собеседницей, а Нюрания застыла и уставилась на Матвея Ильича с испугом. Женщины говорили на русском, перевирая каждое слово или приставляя к нему частицу «-таки» – трещали

пулеметно, ничего не понятно.

Матвей Ильич на идише (гортанное квохтанье, напоминающее немецкий язык) задал вопрос женщине в окне, получил ответ, что-то осуждающее сказал женщине на тротуаре. Обе нечто извиняющее пролаяли. Окно захлопнулось, женщина перед ними быстро засеменила вперед по мостовой.

– Все в порядке, – Матвей Ильич легонько коснулся плеча Нюрани, подтолкнул, принуждая к движению.

– Женщина вешается? Петлю на шею? – Нюрания упиралась, не сходила с места.

– Нет! Что вы! Софка вешает выстиранное белье на чердаке, потому что во дворе летает пыль.

Одноэтажный кирпичный дом Гильманов стоял на углу тех самых улиц Либкнехта и Большевиков, почти вплотную к тротуару, без привычного русскому глазу палисадника.

Доктор Гильман обрадовался Нюрание словно любимой родственнице, стал покрикивать на домочадцев, чтобы скоренько накрывали на стол, сетовал на скудость угощения. Жена и дочь Гильмана, когда Нюрания завела речь о необходимости уезжать из Курска, смотрели на нее с надеждой – они были за эвакуацию. Но сам Гильман решительно воспротивился. Он говорил о том, что в Первую мировую войну три года пробыл в плену у немцев, и за еврейскую национальность его никто не притеснял. Он в совершенстве знает немецкий язык и поможет оставшимся евреям (всем уехать нереально) объясняться с оккупантами. Его точку зрения разделяет и доктор Шендельс, еще до революции учившийся в Германии и считающий немцев цивилизованным народом, не способным убивать мирных людей только за то, что они евреи.

Доктор Шендельс тут же присутствовал. Такой же старик, только не вертлявый и энергичный, как Гильман, а спокойный, даже величественный, как персонаж портрета ученого. Такими портретами были завешены стены аудиторий в мединституте. За весь вечер Шендельс не проронил ни слова, за него, от его лица, говорил Гильман. Нюрания не сразу поняла, что Шендельс перенес инсульт мозга, правая часть тела у него парализована, и речь, очевидно, нарушена, хотя глаза оставались трезвыми и мудрыми.

«Не доедут эти старики, – думала она, – в холодном товарняке, на нарах. Да и на телеге, которую немилосердно трясет на осенних дорогах, вязнет в непролазной грязи, далеко не уедут».

Единственное, чего ей удалось добиться: убедить Гильмана и, опосредованно, Шендельса – отправить в эвакуацию дочерей и внуков.

Сыновья и зятья стариков сражались на фронте с первых дней Войны.

– Разговор на эту тему окончен! – припечатал ладошкой Гильман по столу.

Похожий на лукаво-улыбчивого святого со старой рождественской открытки, Гильман произнес эти слова негромко, но с металлом в голосе. И сразу стало понятно, что за внешностью доброго дядюшки кроется железная воля.

А дальнейший вечер – отдохновение, которого Нюраня давно не знала. Гильман за себя и за Шендельса рассказывал потешные истории из врачебной практики. Нюраня смеялась так, что несколько раз припечаталась лбом к тарелке. Она в детстве и юности была хохотушкой, если заведется, пальчик покажи – помирает от смеха. И плакала, и смеялась – от души. Потом взрывы эмоций ушли, судьба сложилась так, что не до взрывов.

Но тогда, в уютной гостиной Гильманов, с плотно задернутыми бархатными шторами на окнах (светомаскировка), с большой керосиновой лампой под роскошным стеклянным, в морозных узорах, плафоном, стоящей в центре стола, у Нюрани словно распечатали замурованные остатки детской непосредственности. И Нюраня была не единственной, кого тот вечер отшвырнул в прошлое – беззаботное и веселое. Лица жены и дочери Гильмана до того как невидимой пленкой покрытые, застывшие в тревоге, расслабились, пленка исчезла, и женщины, наверняка слышавшие эти байки не раз, смеялись, мелко и радостно кудахча.

Жена Гильмана периодически просила:

– Только без натурализма, пожалуйста!

Врачебный юмор не бывает без натурализма и насмешливого цинизма.

– Про Ару могу я рассказать? – с петушиным задором спрашивал Гильман жену. – Шендельс, ты помнишь-таки эту свою пациентку?

Шендельс кивал и криво улыбался правой половиной лица, левая у него была неподвижна.

– Значит, доктор Шендельс заподозрил у Ары сахарную болезнь. Велел принести утреннюю мочу в чистой баночке. Ара на следующий день приходит, баночку приносит. Делает Шендельс анализ – нет в моче сахара! Все симптомы налицо, а сахара нет! Шендельс в недоумении, но честно Аре объявляет результаты исследования. Эта дура радостно кивает: «Я всегда знала, что Лейба здоров как бык, а только прикидывается». – «Какой Лейба?» – «Мой супруг». – «Ты что же? Его ссаки притащила?» – «А я могла в баночку попасть? Я вам не ворошиловский стрелок, чтобы струйкой не промазать. А у Лейбы крантик хоть и сморщенный, да точно в

горлышко скляночки вошел».

Они засиделись поздно, не хотелось расставаться, нарушать атмосферу бездумного, довоенного благоденствия. Большие напольные шкафообразные часы пробили одиннадцать вечера, комендантский час давно наступил. Почему-то ранее боя этих часов не слышали. Хозяева всполошились, стали предлагать заночевать у них («есть пэрины пушинка к пушинке, вы будете-таки отдыхать как принцесса»), Нюраня разводила руками: муж волнуется, телефон ведь работает. Позвонила Емельяну, он действительно сильно нервничал. Объяснила, куда за ней можно приехать, но если сложно, то она тут переночует, а завтра сразу на работу. Емельян процедил как отхаркнул: «Сейчас буду!» – и возможность понежиться на царских перинах отпала, как и возможность позавтракать утром в кругу милых людей.

Еврейский дом ни одной черточкой, деталью обстановки, обликом обитателей не походил на ее родной сибирский дом, и все-таки Нюраня словно побывала дома, вернее – у своих.

Прощание было скомканным, на улице требовательно сигнализировал автомобиль. Хозяева, «оруженосец» Матвей Ильич, доктор Шендельс, опиравшийся на палочку, сгрудились в сенях... то есть в коридоре и смотрели на Нюраню с благодарностью и непонятной надеждой.

Неожиданно для себя она подняла руку и перекрестила их:

– Храни Господь! Тобою народ богоизбран.

Ее, неверующую в Бога материалистку, этот жест, это выступление, отдающее театральностью, смутило. Развернулась и побежала.

– Чего тебе у жидов понадобилось? Чего ты у пархатых делала? – зачастил Емельян, едва тронулись с места.

Когда муж нервничал, нижняя губа его, влажная и жирная, выворачивалась и, казалось, с нее начнет капать тягучая мутная слюна.

– Чем тебе евреи не угодили? – спросила Нюраня. – Тебе лично или твоим близким, друзьям? Родных у тебя нет, а друзья только по выгоде. И все-таки?

Он умел или научился на своих холопских должностях не отвечать по сути вопроса, а выдвигать собеседнику претензии. Завелся с полуоборота: Нюраня никудышная мать, плохая хозяйка, он-де жилы рвет, все в дом, все в дом, а она, транжира, не ценит его героических усилий.

Иногда помогало представить, что в ушах восковые затычки.

«Я его не слышу, мне в уши со свечек полили», – сказала себе Нюраня

и стала играть пальцами. Сцепляла их в замок, разжимала, гладила друг о друга ладони, круговыми движениями, точно с мылом под краном мыла перед операцией, вертела.

Доктор Гильман во время чудного застолья несколько раз касался ее рук: будто случайно, в ораторском угаре. И каждый раз она чувствовала нежное приятное покалывание. Когда уж совсем от смеха обессилила, когда критичность материалистическая куда-то пропала, сама взяла его ладони в обхват. Тайно, под столом. Они под скатертью, прилюдно и секретно одновременно, точно грех творили. Но это был грех праведный, честный. Если бы верила в ненаучные бредни, то сказала бы, что от старого еврейского врача ей перетекала волшебная сила.

– Чего ты все чешешься? – спросил муж. – Нахваталась еврейской заразы?

Нюраня повернула к нему голову: поросычья харя, оттопыренная губа... И это ее муж.

Роженица, которую вместе с чемоданом волокла Нюраня, заверещала:

– Ой! Из меня! Льется! Простите! Кажется я...

Нюраня бросила чемодан, присела,хватила в горсть жидкость, что текла по ногам женщины, понюхала:

– Воды родовые отходят. Хорошие воды, без гнили. Ребенок там не обоссался, не наглотался и, теоретически, у нас еще есть время. Только бы после отхода вод потуги сразу не начались.

Время было нужно, чтобы найти хоть какую-то помощь. Улица была мертва. Куряне несколько дней назад строили баррикады на окраинах. Баррикады могли бы сдержать пехоту, но против танков были бессильны. Сейчас жители попрятались в подвалах, поди достучись к ним.

– Э-э-э! Ры-ы-ы! – зверски, утробно, задрав голову к небу, зарычала роженица.

Она походила на животное. Медведицу, корову, лося или прочее млекопитающее, обезумевшее от боли и от неспособности справиться с мощью, которая рвется изнутри. Это и есть потуги.

Надеяться на постороннюю помощь не приходится. Первая потуга – еще не роды. Нюраня забежала за спину женщины и тычками погнала ее в подворотню.

Прекрасное место: каменная арка, устоявшая при обстрелах и бомбардировках. Привалить женщину к стене, задрать ей одежду, стащить белье и орать:

– Колени не сдвигай! Меня слушать! Колени сдвинешь, задавишь

ребенка! Шире, шире ноги!

А самой сгонять за чемоданом, вскрыть его в поисках каких угодно тряпок.

Тряпки были. Нечто шелковое с кружевами. Подстелить, держать растопыренными ладонями, потому что обязательно при потугах роженица испражнится, а ребенка хорошо бы не измазать в кале материнском. Когда потуги, из тебя исходит все – от гланд.

Орала Нюраня по привычке и для профилактики. Женщины, особенно первородящие, ошалев от боли, себя не помнят. На их крики: «Не могу больше! Убейте меня!» – никакие: «Потерпи, миленькая!» – не действуют. Они беснуются, мешают и ребенку, и акушерке. Действуют только крик и угрозы.

Еврейка рожала молодцом, в кровь искусала губы, но послушно выполняла команды Нюрани, которой более не пришлось насылать на ее голову проклятия.

Родился мальчик. Закричал сразу, то есть несколько секунд прочихался и давай ротик раскрывать в требовательном птенячем писке. Лучших родов не придумаешь.

Младенец был в серовой пене слизи, которая даруется для гладкого прохождения по материнским родовым путям, и в разводах материнской крови. Рвась на свет, младенец ранит тело матери, как полосует десятками мелких лезвий.

– Что с ней? – вытянув шею, испуганно спрашивала женщина. – Почему она в пене, в крови?

Обычные вопросы первородящих.

– По кочану, – ответила Нюраня, у которой не было сил на объяснения. – Не она, а он. Сын у тебя. По первым признакам вполне здоровенький.

Нюраня положила ребенка на грудь матери, и лицо той мгновенно преобразилось. Выражение это не описать. Художники, рисующие мадонну и дитя, и не пытались. Это видели только акушерки.

Пуповина была длинной, и как только младенец не намотал ее на шею?

Обвитие пуповиной – следствие непосильного труда беременных – проклятие акушеров. Он в матери жив, а, пока ты его вытаскиваешь, петля под головкой затянулась.

Нюраня смотрела на них: мать и новорожденное дитя – в грязной подворотне два невероятно счастливых существа. То есть одно счастливое, а второе не ведает, как ему повезло. Родилось под канонаду боя у

кирпичного завода.

Большинство людей на вопрос, ради чего они живут, бывают ли у них минуты абсолютного блаженства, пожмут плечами и с ответом быстро не найдутся. Нюраня совершенно точно знала, что существует ради таких вот мгновений. Видеть лицо матери – несколько минут назад это была корчащаяся от боли, проклинаящая всё и всех женщина, а теперь оглушенная счастьем мать. Слышать требовательный плач родившегося нового человека – сейчас он сморщенный чумазый пупс, а когда-нибудь превратится в красивую девушку или в статного парня. Коллега, педиатр, как-то призналась Нюране, что не смогла бы работать в родовом зале. Выдерживать эти представления – это же стальную психику надо иметь. Да, отчасти представление – героини разные, а ты, режиссер, та же самая. И орешь на бедных мучающихся женщин, и собственные нервы на пределе. После трудных родов мокрая с головы до пяток, хоть выжимай одежду. Зато потом ни с чем не сравнимая благодать.

– Ты не очень-то расслабляйся, – предупредила Нюраня роженицу. – Мне еще послед принимать. Устроишь кровотечение – я тебе голову сверну, чтоб сама не мучилась и меня не извела.

Эти предупреждения были напрасны и абсурдны, от воли женщины последний этап родов не зависел. И Нюраня никогда не бросила бы истекающую кровью роженицу.

– Я постараюсь, – бормотала женщина, не в силах оторвать взгляд от ребенка.

Его не было на свете еще несколько минут назад, а теперь она держит сына в руках, рассматривает... Нет войны, эвакуации, потери любимых родных, нет звуков приближающегося боя... Только она и сын...

Пуповина затихла, не пульсировала. Нюраня перевязала ее куском оторванных кружев у пупка младенца и в десяти сантиметрах выше.

– У тебя есть в чемодане нож, ножницы, что-нибудь острое? – спросила Нюраня.

– Что? Как? Простите? – Женщина на секунду оторвала взгляд от ребенка, которого прикрыла от холода полрой пальто. И тут же снова на него уставилась. – Я не знаю. Он прекрасен, правда?

– Не грызть же мне пуповину, – бормотала Нюраня, роясь в чемодане. – Подобного в моей практике еще не было. Хотя мужики, принимавшие роды у жен в поле, именно так поступали.

Ничего острого не нашлось, пришлось грызть.

Нюраня волокла их на своем пальто: роженицу, ребенка и чемодан. Скрючившись, тянула за рукава, еврейка помогала, отталкиваясь от земли пятками. Твердила слова благодарности, извинялась за доставленные хлопоты.

– Заткнись! – просипела ей Нюраня. – Хлопоты! Фото ей дороги! Я сейчас тут сдохну к едреной... Господи, даже ругательства все забылись. У меня прозвище Сибирячка. – Нюраня говорила по слогам, задыхаясь. – Не расслабляй меня своим нытьем интеллигентским. Я только на злости держусь. Нас, сибирячек, если разозлить, то мы ледоход на Иртыше остановим или начнем его.

– Мой дядя, старый большевик, жил в Сибири.

– Ты мне еще скажи, что его звали Вадим Моисеевич.

– Его именно так звали – Вадим Моисеевич Ригин.

– Это уж было бы совсем как в кино. Сучи пятками-то, сучи!

Вадим Моисеевич Ригин – ссыльный учитель, крестный от революции брата Степана. Внушил ему идеалы равенства, необходимости построения общества, основанного на справедливости и честном труде. Уже после революции, заняв какой-то важный пост в Омске, Вадим Моисеевич, по партийному имени Учитель, не забывал своего любимого ученика Степана, поддерживал. Парася рассказывала, что перед смертью (он умер от чахотки и истощения) Учитель прислал Степану письмо, в котором говорил, что из родных у него осталась только сестра, по слухам, родившая дочку. Степан мечтал найти родственников Вадима Моисеевича и рассказать им о жизненном пути верного большевика-ленинца. Не получилось, не успел.

И вот теперь выходит, что Нюраня из последних сил волочет племянницу Учителя и его внука? Жаль, нельзя Парасе написать, она бы обрадовалась. Увидела бы в том, что полупьяная Нюраня наткнулась на рожаящую... Как ее зовут? Нет сил даже спрашивать. Увидела бы какой-то особый промысел. Чего только в жизни не бывает! Даже то, чему в кино или в романе не поверишь.

Силы кончились давно, Нюраня тащила на бессилии и злости. Казалось: доволочет до своей калитки и упадет замертво.

Калитка была закрыта на щеколду. Нюраня наклонилась вперед, разогнулась и спиной вышибла калитку. Доволокла роженицу с дитем и чемоданом до крыльца. Там и рухнула.

Емельян услышал шум и выскочил. Почему Емельян дома, он ведь был обязан уехать вместе со своим НКВД? Потом. Ответы на все вопросы потом.

Но Емельян-то и сыпал вопросами:

– Что это? На кого ты похожа? Почему ты в таком виде? Где ты была? У нас домработница и нянька сбежали!

– Это роженица, занеси ее в дом, я сама доползу.

– Как это «занеси»?

– Нежно. Взял женщину на ручки и занес. На постель не клади, пока на пол.

– Ты уже работу на дом таскаешь?

– Скажи спасибо, что я не патологоанатом.

Нюраня, по стенке елозя спиной, на дрожащих коленях поднялась, по стенке и в дом вползла.

– Ма-ама! – заверещала Клара. – Почему ты такая страшная? Не хочу! Не хочу!

Дочь вопила и топала на месте. Она всегда вопила и топала, когда ей что-то не нравилось. Отбивала каблучками модельных туфелек. Клара обожала наряжаться, по дому разгуливала не в тапочках, а в туфельках, которые, разных расцветок, ей папа доставлял. А во многих семьях у детей были одни ботиночки или валенки на троих.

– Солнышко мое, успокойся! – пыталась нежно говорить Нюраня. – Сейчас я помоюсь и буду как прежняя. А там у нас! Вот так сюрприз! Хорошенький маленький ребеночек. Как куколка, только живой, настоящий.

– Не хочу! Не хочу! – верещала Клара. – Не хочу тебя! Не хочу ребеночка. Папа! Папа!

Емельян вошел с роженицей и ребенком на руках. Казалось: бросит их на пол и кинется к дочери. Нет, все-таки опустил осторожно.

Но Клару, метнувшуюся к нему, подхватил, прижал к груди, засюсюкал:

– Моя донечка! Мое золотце! Папа с тобой. Папа никому не позволит его донечку обижать и пугать.

«Никому» – это и Нюране, родной матери. Муж и дочь, вывернув головы, смотрели на нее с осуждением, с брезгливостью, обнимались и наслаждались своим единством.

Вот такая у нее семья.

Плевать! Сейчас не до анализа, не до сантиментов, не до раскаяния и попыток выправить ситуацию. Она продержится не более часа.

– Емельян! Нужно много горячей воды. Сначала помоем меня, потом ребенка и женщину. Достань из шкафа чистое белье. Клара! Слушай меня внимательно! Ты сейчас пойдешь в свою комнату и будешь там сидеть

тихо, как мышь. Поняла? Если ты высунешься или, того хуже, станешь блажить, то я тебя удавлю. Вам все ясно?

У нее были только глаза – яростные и бешеные. Все остальное: лицо со сбившимися повязками, шея с потоками застывшей (лошадиной, женской пуповинной) крови, всклокоченные волосы, одежда – грязное до отвращения. Но выражения глаз хватило – ее послушались. Испугались.

Клара сидела за закрытой дверью, Емельян помогал.

Нюраня, еще в бытность ассистенткой Ольги Ивановны, придумала для себя наказ – цифру, число. Тогда ведь тоже, по сорок человек на приеме, работали на износ, да и в последующем случались авралы. Когда ты валишься с ног, надо сказать себе и запомнить число – три, два, пять. Это врачебные дела, которые нужно сделать кровь из носа, остальные подождут. Больше пяти нереально. И ты помнишь, долбишь свой мозг: всего три, одно уже сделано, осталось два... Когда сделала, имеешь право свалиться на кровать, провалиться как в темную яму в долгожданный сон-отдых.

– Чего ты все считаешь? – спрашивал Емельян.

– Сбилась. Не помню. Впервые в жизни сбилась. Но ведь мы все сделали? Роженицу и ребенка обработали... запеленали... Какое число, цифра?

– Нюра, ты точно безумная!

Она рухнула на кровать, Емельян тут же быстро скинул брюки и взгромоздился, сопя от вожделения. С таким же успехом он мог бы насиловать теплый труп. Емельяну нравилось брать ее любой, а усталой и безучастной – особо, было у него такое предпочтение.

И при этом он всегда еще и говорил, пыхтел про сквалыжных коллег, про хорошее вещевое почтение, которое окажет начальникам и те его зауважают, про фикусы-шкафы-зеркала, ящички с тушенкой, сгущенным молоком, сливочным маслом и ситро. От шипучих напитков у Емельяна пучило живот, но все равно тащил бутылки ситро в подпол, где было как на продовольственном военном складе.

Бормотание возбужденного Емельяна постепенно переходило в порсячье хрюканье, кончал он с утробным рыком натешившегося борова. Нюране иногда казалось, что ее плата за возможность стать врачом, за любимую профессию непомерна.

– Нянька, домработница, стервы, ушли, сбежали!

Слова Емельяна доносились как сквозь вату, а тело вообще ничего не чувствовало – мышцы превратились в кисель и в толстые напряженные веревочные канаты одновременно.

– Дрянь, сука! – елозил по ней муж, хотя уже разрядился. Ему нравилось пластать жену. – Ребенка бросила, курва, Кларочка одна несколько часов пребывала. О-о-о! Как хорошо! Щас я снова, снова... Никак... Убить этих нянек...

Нюраня говорила ему много раз: нельзя обращаться с няньками и домработницами как с холопками. Это женщины, на которых мы оставляем своего ребенка, надолго оставляем. Их труд надо ценить.

Как же! Ценить. Емельян – воистину из грязи в князи – шпынял несчастных женщин, придирался по поводу и без повода, упивался барской властью, заставлял сапоги с него стягивать. Дочь ему вторила, копировала отца, издевалась над работницами, капризничала. Чтобы это прекратить, Нюране нужно было бросить работу и наводить порядок в семье. Она не могла бросить то, что было смыслом ее существования.

Она неслась вниз по шурфу черной шахты. Тело вздрагивало под ритмичные толчки в ее лоно жирного пуза Емельяна. Тело с удовлетворением отмечало отсутствие напряжения в его детородном органе. Значит, продолжения не будет, муж скоро с нее слезет, успокоится, главное – замолкнет. А сознание уже спало. Или полубодрилось, наслаждаясь скольжением.

Вдруг остановка. Отец, Еремей Николаевич, папа:

– Это не конец, доченька, это начало испытаний.

Не успела ответить, насладиться его обликом, как понесло дальше вниз по шурфу – в спасительную темноту.

Почему ей мать не привиделась? Анфиса Ивановна легко, щелчком пальцев, навела бы порядок. Нюраню отхлестала бы по щекам: «Ты жена и мать, так соответствуй! Работает она! Твоя работа – семья!» Емельяна она бы с утра до вечера строила, учила тащить в дом полезные продукты, а не ситро. Кларе и вовсе бы пришлось забыть про модельные туфельки. Бабушка посылала бы ее гусей пасти и учиться веретено в руках держать. Ножками бы внучка затопала строптиво – получила бы подзатыльник, опущенный тяжелой рукой.

Почему не привиделся Максимка Майданцев? Единственная любовь.

Наверное, недостойна.

Блокада

В августе, когда еще о холодах не думали, да и беспечно рассчитывали на центральное отопление, Марфа притащила домой печь-буржуйку, вывела трубу от нее в форточку. Через несколько дней пришел пожарный инспектор, пригрозил оштрафовать и велел немедленно убрать пожароопасное сооружение. Так Марфа его и послушалась! В ноябре, когда буржуйки массово изготавливали из железных бочек, из любого металла, из противней для пирогов (а у Марфы была чугунная! С плитой!), тот же самый инспектор попросил ее научить соседей, как правильно устанавливать и топить буржуйку.

Урожай с Марфиного огорода пропал, то есть пока она окопы рыла, урожай сняли и умыкнули. Кто своровал, она знала – хозяйка, в подполе дома которой Марфа хранила на зиму овощи.

– Не отдашь, – заявила ей Марфа, – спалю! У тебя же корова! А у меня пять ртов и еще один на подходе. По карточкам мизер получаем.

Тетка была не из пугливых, но жадная до крайности, бездетная, проживала вдвоем с мужем, якобы инвалидом, на войну не призванным. К ее дому тянулись люди с Крестовского покупать продукты за невероятные деньги, за драгоценности.

По лицу злой Марфы тетка поняла – спалит, и выволокла два мешка: один с картошкой, второй с капустой и брюквой. Хотя что-то, то есть немалое подспорье.

Марфа отличалась от большинства ленинградцев: старых петербуржцев и тех, кто из селян быстро превратился в горожан, привыкших к тому, что тепло и вода сами приходят в дом, что в магазинах на витринах и прилавках продукты лежат. Сибирская закваска Марфы, давно покинувшей село, никуда не делась: рассчитывать нужно только на себя. Ни на правительство, власти, на участкового или пожарного инспекторов, на доброго дядю или царя небесного. Только на себя! И ты обязана жилы рвать, чтобы семейство не погибло зимой.

Камышиным Марфина беличья суетливость и запасливость поначалу казалась нелепой, они даже подозревали Марфу в некоем повреждении ума.

Однако в середине сентября, когда кольцо Блокады уже сомкнулось, Александр Павлович, теперь редко бывавший дома, приехал, вытащил из кармана пальто узелок – носовой платок с тремя горстями пшенной крупы:

– Все, чем могу вас порадовать. Марфа, у тебя ведь припасены

продукты?

– Дык кое-что.

Она насупилась, испугалась, что Камышин попросит отстегнуть для кого-то.

– Умница! – Он обнял ее, но без чувственности, а только с человеческой благодарностью. – Ты у меня большая умница! Корми их минимально. Тебе понятно, что такое «минимально»? Экономно, чуть-чуть, только чтобы ноги не протянули. Идет страшный голод. Никому про это не говори, только сама знай: мы в осаде, в городе нет хлеба, и возможности его доставить тоже нет. Поняла?

– Дык уяснила.

Камышин был из узкого круга лиц, которые представляли, какое страшное испытание надвигается на ленинградцев. В этот круг он попал, благодаря знакомству с наркомом торговли РСФСР Дмитрием Васильевичем Павловым – другом его, Камышина, старшего брата, репрессированного в затухающем на репрессии тридцать девятом году.

Павлов, направленный в Ленинград Государственным комитетом обороны, разыскал Камышина, вызвал в Смольный, сказал, что надеется на него как на верного партийца. Они должны заняться вопросами продовольствия.

Камышин вспыхнул:

– Я инженер! Мое дело сейчас танки и снаряды на фронт поставлять. А за станками стоят сопливые подростки-школьники, девчонки болванку поднять не могут. Видели бы вы, как они стараются! По двенадцать часов в цеху...

– Ты на меня не ори, Саша! Ты мне не тычь героизмом! – Дмитрий Васильевич покраснел, сдерживая собственное желание заорать. – У нас вся страна сейчас – один сплошной героизм. Этот великий город, – развел руками и потыкал в пол, – погибнет, уже погибает от голода!

– Потому что сгорели Бадаевские продовольственные склады?

– Нет. Там хранилось всего три тысячи тонн муки и две с половиной тысячи тонн сахара. Это на полтора дня муки и на три дня сахара. Ленинград всегда жил с колес – привезли, съели. Тут нет запасов. Понимаешь, ослиная голова? Нет запасов продовольствия! И миллионы людей! А ты мне про танки и снаряды. Слушай меня внимательно. Я создаю специальные отряды, которые пропадут весь Питер от чердаков до подвалов, от заброшенных складов до вагонов на запасных путях в поисках того, что можно принимать в пищу. Для руководства этими отрядами мне

нужны верные командиры-ленинцы. Я на тебя рассчитывал.

– Что нужно делать? – поднялся и спросил Камышин.

Их команды разыскали восемь тысяч тонн солода на пивоваренных заводах, пять тысяч тонн овса для лошадей в интендантстве и четыре тысячи тонн хлопкового жмыха в порту. Жмых считался непригодным для еды, им печи корабельные топили. Хлопковый жмых содержал ядовитое вещество – госсипол. Дмитрий Васильевич Павлов усадил питерских ученых за исследования: ищите, как хлопковый жмых можно обеззаразить. Ученые обнадружили: при высокой температуре госсипол разрушается.

Камышин подбросил идею: за долгие годы на стенах мукомолен, на потолках осела и припечаталась мучная пыль. Это ведь тоже съедобное. Соскребли стены и потолки, вытрясли каждый завалявшийся мешок – хоть горстки, да выбили.

Мужики, водолазы и просто добровольцы, что поднимали из ледяной воды с затонувших на Ладоге барж мешки с зерном, навеки потеряли здоровье. Подыхали, но поднимали.

Камышин никогда подобного не видел и не предполагал в людях подобной жертвенности. Он, натуралист, технарь, отчасти циник, всегда считал, что неразумное большинство аморфно, что его нужно привести к благоденствию (приведут избранные, вроде него самого) по мере промышленного развития. Прогресс техники был для Камышина религией.

А теперь ему, очумелому от голода, усталости и бессонницы, подносят к губам оловянную кружку:

– Примите, Александр Павлович! Наболтали из того, что по земле на складе наскребали. Грязь осела, но еще тепленькое, пейте! Только вот какая загвоздка. Кони-то наши пали, их пилят-режут сейчас жители. Страх смотреть, а отогнать бессовестно. Кони-то неспособные уже были обоз вести. Грузовиков, случай, не предвидится?

– Нет. Впряжемся сами. Помните куда?

– Известно, в пекарни.

Все, что они находили, свозилось в хлебопекарни. Домешивалось к настоящей муке. Ее становилось все меньше и меньше, а люди, отоваривавшие карточки, стояли в очереди по многу часов. Люди умирали от голода.

Первыми – дети и старики. Из детей первыми – мальчики, из пожилых – мужчины. Девочки и старухи почему-то дольше тянули.

Камышин, истощившийся до скелетности, уставший до обмороков, был свидетелем, как Павлов расцеловал в губы Николая Смирнова –

технолога, придумавшего заменитель масла, которым смазывали формы для выпечки хлеба. Благодаря этому изобретению ежедневный расход жиров уменьшился на две тонны.

Самому Камышину не достало порыва так же горячо поблагодарить командира отряда, обнаружившего в ленинградском порту две тысячи тонн бараньих кишок. Из них стали варить отвратительного вида и запаха студень, который выдавали по карточкам вместо мяса.

В ноябре, перед возвращением на завод, Александр Павлович договорился, и Настю, хотя схватки еще не начались, взяли в роддом. Это была большая удача, потому что в роддоме нормы кормления были чуть выше, чем по карточкам для иждивенцев. Кроме Камышина, в эту категорию попадали все: Марфа, Петр, Елена Григорьевна, Настя, Степка. Настя пролежала в роддоме две недели – одну до родов и вторую после. Мальчика, не иначе как на старых материнских запасах набравшего в утробе три с лишним килограмма, назвали Ильей, зарегистрировали прямо в роддоме.

– А Митяй хотел Иваном сына назвать, – вдруг вспомнил Степка, когда мать, навещавшая Настю, вернулась домой.

– Что ж ты молчал, ирод! – всплеснула руками Марфа.

– Да какая разница? – Степка предусмотрительно присел и закрыл голову руками – мать сейчас начнет оплеухи отвешивать.

– Тебе нет разницы! – кружила вокруг него Марфа. Не ногами же пинать ребенка? – Тебе, каторжнику, переселенцу, наплевать на завет брата, который на войну ушел? Как теперь переписывать, варнак?

– Чего переписывать? – из-под локтя проговорил Степка. – Илья даже лучше. Илья Муромец. А Иван – дурак!

– Тут только один дурак, ты! – Марфа села на кровать, придавив больную ногу мужа. Его гыгыканье из веселого перешло в обиженное. – Два дурака, – бросив злой взгляд на Петра, поправилась Марфа. – Отца твоего забыла.

На ноябрьский праздник дополнительно к карточкам детям выдали по двести граммов сметаны и по сто граммов картофельной муки. Взрослым – по пять соленых помидоров. Марфа с ложечки, как маленькому, дала Степке попробовать сметаны. Остальное – Насте, она теперь кормящая.

Марфа шла по сугробам в роддом и плакала, варежкой вытирала щеки. Не от мороза плакала. Градусов десять-пятнадцать – это не мороз. Каково видеть своего ребенка, обсасывающего пустую ложку, неотрывно глядящего на баночку со сметаной как на вожделенное чудо! И все-таки ее

сынка молодец! Хороший мужик будет. Сглатывал нервно, на баночку таращился, но когда мать сказала: «Насте отнесу, она теперь кормящая», – Степка хоть и не закивал согласно, сопротивляться не стал, не заплакал, только подбородок у него мелко-мелко трясся, зубы о ложку дробь отбивали. Сын не то, что отец. Петр ему, конечно, отец не настоящий, а по общему мнению.

Петр – это проблема. Так они, городские, выражаются: «проблема». По-простому – напасть. Совсем сдурел на голодухе полуумок. Рука у него зажила, а нога криво сломанная не дает иначе передвигаться, как ползком или на костылях. Если рассуждать логически (опять-таки умное слово), то Петр счастливо жил: работал ненапряжно, питался от пуза, рыбачил, играл в шахматы и с цифирками. Лег – свернулся, встал – стряхнулся. Он никогда ни за кого и ни за что не отвечал, не тревожился, только гыгыкал. Мать его оберегала, женила на Марфе, которую выстрожила с Петром обходиться деликатно. И Марфа, грешная перед Богом и мужем, наказ свекрови выполняла. Но теперь другие обстоятельства: у Петра травмы конечностей, а Ленинграде голодуха.

Когда Петр орал от боли так, что сбегались соседи, не давал спать по ночам ни ей, ни сыну, Марфа ему пригрозила:

– Не заткнешься, кормить не буду! Корочки сухой не поднесу!

Впервые в жизни жена ему кулак к носу поднесла, и, как ни страшно было Петру, который тот же неразумный младенец, что кричит от боли или проголодавшись, Петр заткнулся, не вопил, а только жалобно гыгыкал.

А потом, с Блокадой, наступил настоящий голод. Петр его выносить не мог. Марфа переселила Елену Григорьевну и Настю в свою квартиру, отапливаемую буржуйкой.

Камышин редко появлялся, раз в неделю-две. Исхудавший, резко постаревший, небритый, обязательно с гостинцем: кирпичом настоящего хлеба, узелком крупы или с бесценными – банкой тушенки, сгущенного молока. Марфа от хлеба отрезала всем по маленькому кусочку – полакомиться, а крупу, банки уносила в закрома.

Спрашивала Камышина:

– Помыться? Побрить вас?

– Это было бы великолепно. И смену белья?

– Приготовлено.

Пока она ходила с добычей в закрома – будуар Елены Григорьевны, запертый на висячий амбарный замок (ключ точно крест Марфа на груди носила), Камышин падал на кровать и спал беспробудно. Утром кое-как с Марфиной помощью обтирался мокрой тряпкой да исподнее менял. Пил

жидкий чай и уезжал на работу. Марфа ему даже сухарика не предлагала. Коль сгущенное молоко принес, значит, где-то подкармливается, а у нее пять ртов раззявленных.

Марфе каждый день приходилось отлучаться: отоваривать карточки, искать дрова и тащить их домой, толкаться на рынке, за последние деньги, за бирюльки Елены Григорьевны покупать землю, пропитанную сахаром с Бабаевских складов, вонючую лошадиную кость, жмых подсолнечника – что угодно съедобное. В отсутствие жены Петр совершал набеги на закрома. Костыли Марфа прятала, так он по-пластунски по коридору полз в квартиру Камышиных, ножовкой перепиливал дужки замка будуара. Первый раз она его застала, когда блаженный и гыгыкающий Петр сидел в обнимку с мешком сухарей и грыз их как счастливый безумный хомяк, а рядом были порванные на листья кочаны капусты, немытые, в комочках земли, корнеплоды – репа, свекла, все им погрызенное. Второй раз успела, когда Петр еще только дужку замка пилил. Силы-то у дурака! А использовать его нельзя, даже буржуйку, кочегар называется, топить экономно не умеет, Степка лучше справляется. Петр сейчас понимал только боль или страх лишения еды.

Марфа ему по раненой ноге мыском ботинка заехала:

– Я тебя покалечу, сволочь! Что ж ты родных объедаешь, поганец? Переломаю все твои кости, больно будет! Не исправишься поведением – на улицу выкину, подыхай! Петруша, родной, ты понял?

– Гы-гы!

Лицо обиженное, по-детски плачущее, искривленное. Блаженный недоумок.

Юродивых и блаженных в сытые времена душевно сладостно кормить и миловать. Марфа это помнила по сибирской жизни. Сколько этапов по их селу тянулось. Кандальникам (те же юродивые, потому как против царя или душегубы) выносили еду и теплую одежду. Чувствовали себя Богом одобряемыми праведниками.

А когда ты сама и твоё семейство исхудало? Когда голод? Сынку лишнюю ложку варева положить или мужу отвесить? Один в рост идет, а другой никчемный, божий. Дык, ежили Бог на созданной им земле эксперименты ставит, то пусть за своими блаженными сам и приглядывает!

К ноябрю запасы Марфы скукожились. Она перенесла их в свою квартиру, уложила в сундук, на котором спала, опять-таки закрытый на громадный замок. Уходя, просила Елену Григорьевну возлечь на сундук, оберегать от Петра.

– Не беспокойся, Марфа, – говорила Елена Григорьевна, укутанная во

все теплые одежды. – Он, твой муж Петр, вскроет сокровища только после моей смерти.

– Дык к чему «после смерти»? Я тут вам дубину положила. Станет подползать – бейте по правой калеченной ноге.

– Самое сложное, ты не поверишь, запомнить правое и левое.

– Тогда по башке бейте, но изо всех сил. Мне надо идти. Очень надо! Если карточки не отovarить! Очередь-то я с зари сбегала забить, там все мои приятельницы, который месяц подмениваемся, но, бывает, ушла та, что перед тобой в очереди, и не вернулась. Знамо: или не дошла, или в квартире обнаружила мертвых детей.

Дневник Насти

15 ноября 1941 года

Я решила писать. Моя учительница русского и литературы предполагала во мне некие сочинительские таланты. А если честно, то мне более всего хотелось бы словами описать то, что мой муж рисует. Отчасти уесть его. Глупая голова!

Митя. Муж. Отец моего ребенка. Мое Солнце и моя Вселенная. Не надо скатываться до плакатного пафоса! Митя говорил, что излишняя эмоциональность убивает идею, что великие мастера могли штрихом, мазком кисти передать чувства, которые вмещают тома словесных изъяснений. Мне хотелось бы доказать ему обратное, но я не умею или не научилась этого делать.

Наш ребенок родился седьмого ноября – в пролетарский праздник. Мама рассказывала, что в их семье было принято на рождение ребенка дарить драгоценности – кольцо, броши, перстни. Когда я родилась, папа подарил маме браслет, подвеску и серьги с изумрудами. Мама их редко надевала – не подходят к ее глазам, камень ее – сапфир, что папе-де трудно было запомнить.

На рождение сына я получила подарок, который не сравнится ни с какими драгоценностями – почти полный стакан почти настоящей сметаны. И еще в роддоме по шоколадной конфете «Мишка на Севере» нам выдали. Фантик я берегу.

Сегодня умерла Люда Панина из пятой квартиры. Ей было 12 лет, она играла на аккордеоне. Сама маленькая, инструмент большой, закрывает ее, только глаза видны, ручки едва до клавиш достают, но старалась.

17 ноября 1941 года

Я не отпускаю с рук Илюшеньку, но почти не вижу его. Закутанного, прижимаю к себе, укрываю полрой пальто, которое не снимаю, в котором сплю. Мне видна только его макушка и пипочка носа. Пеленаем его раз в сутки: быстро обтираем тряпкой, смоченной в теплой воде, потом сухой тряпкой, смазываем складочки маминым косметическим кремом, заворачиваем в пеленки. Опрелости обработать более нечем, безумный Петр съел и выпил все из аптечки: глицерин, детскую присыпку, настойки, лекарства от кашля, таблетки и порошки. Как только не отравился.

По радио читает стихи Ольга Берггольц. Мама всегда считала ее

посредственной поэтессой, но сейчас слушает с таким же замиранием, как и мы. Радио – это наша связь с миром, счастливым и сытым. Да, знаю, что идет война, на фронте гибнут люди. Но все-таки мир за кольцом блокады счастлив уже потому, что сыт. Когда нет передач, по радио стучит метроном, и кажется, что это люди передают нам биение своих сердец и внушают надежду.

За два последних дня умерли Клавдия Петровна из восьмой квартиры, дядя Иван и тетя Маша из пятнадцатой. Клавдия Петровна замечательно пела, во время общих застолий ее голос перекрывал весь хор. Про нее говорили: «Куда там Руслановой!» Дядя Иван, когда сильно выпивал, гонялся за тетей Машей по коридору и кричал, что вжисть не простит ей какого-то Федьку. Они умерли в одной постели, лежали обнявшись.

20 ноября 1941 года

Сегодня в пятый раз с начала войны снижены нормы выдачи продуктов по карточкам. Рабочие получают 150 граммов хлеба в день, остальные категории – 125 граммов. Марфа приносит пять брусочков, напоминающих глину. Есть их сразу невозможно, вязнут на зубах, не глотаются, рвота подступает. Марфа сушит хлеб на печке, смотреть, как он скукоживается, горько, словно беспомощно подчиняться злему грабителю.

Марфа – наша спасительница. Если бы не Марфа, мы бы давно умерли. Она не разрешает нам подглядывать, когда копается в своем сундуке. Говорит, запасы на исходе, а зима долгая, до первой зелени и огородины еще пять месяцев. Но в какие-то моменты я понимаю Петра, который периодически покушается на сундук. Кажется, что готова на все ради лишнего сухарика.

Не обходится без юмора. Вообразите картину: моя мама в роскошной каракулевой шубе, а голова повязана старым шерстяным платком, сидит на сундуке, Петр изготавился к очередной атаке.

– Напомните мне, какая нога у вас больная? – спрашивает мама. – Я должна по ней ударить палкой.

Мы со Степкой расхохотались, Петр оторопел, втроем мы с ним кое-как справились. Марфа говорит о муже: «Лицом детина, а разумом скотина».

Степка уже не дежурит на крыше, не сбрасывает зажигательные бомбы, не рыщет на улице в поисках дров и не помогает матери носить воду – ослаб. Но Степка придумал, как отвлечь отца. Сказал ему, что можно отдирать обои и есть старый клейстер, его ведь на муке замешивали. Петр теперь ходит в нашу квартиру, отрывает обои и грызет их вместе с

кусочками клейстера, прилипшей известкой и бумагой. Заодно, по велению Марфы, крушит мебель – колит ее на полешки. Мы слышим, как он орудует топором, потом замолкает – питается.

Умер Юра, приятель Степки из десятой квартиры. Он сильно заикался, был молчалив и носил прозвище Болтун. Умер Яков Сергеевич из одиннадцатой квартиры. Я его недолюбливала, поэтому не могу найти добрых слов. Хотя любой умерший человек заслуживает того, чтобы о нем сказали что-то хорошее.

22 ноября 1941 года

Вчера было воскресенье, и у нас радость: приезжал папа! Мы всегда ждали его прихода и в мирное время, а теперь уж и вовсе его визиты – праздник. Папа исхудал, но держится (или старается держаться) бодро и весело.

– Как тут Илья Дмитриевич? – спросил с порога. – Нос мокрый и холодный?

– Кто это? – не поняла Марфа. Потом сообразила, заулыбалась, и на ее почерневшем обветренном лице разгладились морщины. – Дык внучик-то человек, а не собака, чтоб нос мокрый да холодный.

Степка попытался попрыгать на месте, но выдохся после двух подскоков. Папа его крепко обнял, мальчик даже пискнул. К Степке папа всегда относился особо. Наверное, ему хотелось сына, но единственным ребенком была я.

Мама протянула руки, обняла папу и поцеловала в губы. Небывалое проявление чувств. Подставить щечку для поцелуя в день рождения – единственная нежность, которую я помню у родителей. Впрочем, возможно, мамин порыв объясняется благодарностью: папа принес ей пачку махорки. Без папирос мама страдает больше, чем без еды.

Еще из подарков – килограмм дрожжей. Марфа удивилась: зачем они, если муки нет? Папа объяснил, что в дрожжах содержится много витаминов, надо их высушить и добавлять в пищу.

– А то я тебя знаю! – подмигнул он Марфе. – Ты тараканов наловишь, высушишь, истолчешь и в суп насыплешь.

– Да какие нонче тараканы? – снова улыбнулась Марфа, подхватывая шутку, как бы не отрицая подобной возможности.

– Надо крыс ловить! – с энтузиазмом воскликнул Степка. – Их все боятся, потому что покойников обгрызают. А я не боюсь! Я ловушек наделаю.

– Нет! – резко посерьезнел папа. – Никаких крыс! Они переносят

инфекцию. Мы в блокаде, а история учит, что в осажденных городах люди умирали не только от голода, но и от эпидемий. Сейчас принимаются специальные меры, крыс заражают крысиным тифом, чтобы уменьшить их поголовье.

– Крысы, гы-гы! – подал голос Петр.

Похоже, что он понял только то, что крысы – это еда.

Мы не рассказывали папе, сколько беспокойства доставляет Петр. Чтобы не расстраивать, все равно папа не может помочь.

Последний папин презент – царский! Банка НАСТОЯЩЕГО СГУЩЕННОГО МОЛОКА! Мы устали на нее, сглатывая слюну – во рту стало сладко только при виде банки.

Марфа поглаживала ее и приговаривала ласково:

– По ложечке Насте буду разводить в кипятке каждый день.

Мне ужасно стыдно и неловко, что я питаюсь лучше других. «Ты кормящая, – постоянно твердит Марфа, – тебе за двоих требуется». Мама прячет кусочки и подсовывает их мне, когда Марфы нет дома. Они боятся, что у меня пропадет молоко. Я тоже боюсь, то есть нисколько не боюсь, не разрешаю себе. Степка, мальчишка, ребенок, когда я пытаюсь разделить с ним то, что припрятала мама, мотает головой: «Ты кормящая». Идет на компромисс, только если я предлагаю разделить «по-честному»: две трети мне, за себя и за Илюшу, треть ему.

По случаю папиного прихода у нас был королевский обед из трех блюд. На первое суп – варево на основе горсточки крупы, мелко-мелко порезанного кусочка сала размером с вишню и щепотки квашеной капусты. На второе – студень из столярного клея. На третье – компот в виде воды, в которой кипятили четыре дольки сухих яблок. Мы даже захмелели от подобного изобилия. Папа компота не дождался, задремал за столом.

– Мама, – попросил Степка Марфу, – сделай ему утром хлеб с яйцами.

– Яйца? – встрепенулся вдруг папа и обвел нас чумным взглядом, не узнавая. – Где нашли? В порту? Какое количество?

– Иде нашли, там уж нет, – ответила Марфа, подхватила папу и поволокла на кровать. – Почивайте, Александр Павлович.

Только в этот момент я поняла, как безумно устал папа.

Яйца – это так называемая четверговая соль. Марфа завязывает ее в мешочек, кладет в золу, держит, пока не почернеет. Считается, что она приобретает запах сваренного вкрутую яйца. Если этой солью посыпать кусочек хлеба, то кажется, будто ешь яйцо с хлебом. Настоящий вкус яиц мы давно забыли.

Умерли дети тети Оли из двадцатой квартиры, сначала трехлетний

мальчик, потом пятилетняя девочка, я не помню их имен. Тетя Оля сошла с ума, ее увезли в больницу.

25 ноября 1941 года

Казалось бы, моя изнеженная мама будет не в состоянии перенести испытаний, обрушившихся на нас. Однако из ее уст с тех пор, как мы перебрались в квартиру Медведевых, не вырвалось ни одной жалобы, ни одного каприза. Когда утром Марфа уходит из дома, мама «заступает на пост» – перебирается на сундук и охраняет его от Петра.

Марфа похожа на волчицу, которая где-то рыскает, притаскивает в логово добычу, передохнет немного и снова на охоту. Мы живы благодаря железной воле Марфы, ее неукротимости, десятижильности.

Из меня плохая помощница. Я панически боюсь расстаться с Илюшенькой, отлепить его от себя, постоянно проверяю, жив ли он, дышит ли. В моей голове две пульсирующие точки: страх за сына и за мужа. Волны от этих точек наплывают друг на друга, и я боюсь сойти с ума. Поэтому и дневник стала вести, описывать деревянным языком, далеким от изящной словесности, события внешние, отвлекаться на рассказы о них.

Завтра будет два месяца, как я получила последнее письмо от Мити. Это не страшно, что нет писем, ведь я совершенно точно знаю, что он жив.

Марфа говорит, нельзя залеживать голод, надо что-то делать. Мы так слабы, не способны к физической работе. Нет, надо смотреть правде в глаза: уж я могла бы постельное белье на пеленки разрезать. Испачканные не стираем, воды для стирки не наносить. Однако в паническом эгоизме я не делаю даже малого, не могу отлепить от себя сына. Марфа меня не укоряет.

Она пыталась научить нас вязать на спицах, но мы с мамой оказались совершенно не способны к рукоделию. Тогда мама предложила читать.

Ах, как прекрасны ленинградские белые ночи! Мало прекрасны черные зимние дни, но вполне переносимы при электричестве. Черные дни, когда слабый мутный свет только несколько часов пробивается сквозь лед на окнах, когда единственный источник света – коптилка, изнуряют. Из них хочется вырваться, будто из затхлого помещения на волю, из толщи воды – на поверхность, глотнуть спасительного чистого воздуха.

Мы читаем сразу три книги, по очереди, вслух. Мама – стихи, она много знает наизусть и почти не заглядывает в книгу. Я – рассказы Чехова. Степка – «Таинственный остров» Жюль Верна.

У нас даже уютно. Похрапывает и постанывает Петр, Марфа вяжет на спицах, они тихо дзынькают, бедный Евгений из «Медного всадника»

Пушкина маминым голосом прокликает грозного царя...

Когда кончатся дрова из мебели, придется топить книгами.

Умерла семилетняя девочка Света из одиннадцатой квартиры, я ее не знала. Наверное, она в этом году пошла в первый класс, ей купили форменное платье и сшили два фартука – белый и черный. Наверное, она успела их недолго поносить.

1 января 1942 года

Мы встретили Новый год. Марфа принесла еловые ветки, поставила их в вазу. Ветки мы украсили пушинками ваты – «снежок» и подвесили на ниточках завернутые в бумагу кусочки хлеба и сахара. В полночь зажгли свечи, выпили «шампанское» – кипяток, чуть покрашенный Марфиной клюквенной настойкой, и съели «подарки».

Марфа не рассказывает более, кто умер из нашего дома, не хочет нас пугать. Хотя к смерти вокруг мы уже привыкли, люди ко всему могут привыкнуть, но не к голоду. Ленинградцы страшатся умереть в конце месяца, ведь карточки выдают в начале месяца – самое правильное время для смерти, ведь твои карточки родным останутся.

3 января 1942 года

Рассказ Марфы, которая получала карточки в столовой.

«Одна женщина как закричит страшно! Она карточки на минутку на стол положила, сумку расстегивала. Голову поднимает – исчезли карточки, украли. Это верная смерть. Потому как было специальное постановление, что утерянные карточки не восстанавливаются, дабы не было мухляжа. Хорошо нашлась активная баба: дверь столовки затворила и стала на страже: «Никого не выпустим! Обыск начинайте!» Нас там человек двадцать или тридцать было. Первым стал дедок раздеваться: «Вот мое пальто, карманы, как вы видите, пусты. Далее кофта, женская, увы, приходится утепляться чем ни попадя...» Мы как-то сами собой в кучки сгруппировались и стали друг перед другом по очереди раздеваться. А холодрыга-то! И тишина, только тихое бормотание и люди одежду скидывают. Жуть! А с другой стороны, благородство какое всеобщее! Нашлись карточки, их соседка-приятельница той женщины умыкнула. Воровка на колени упала, умоляла простить за то, что хотела своих личных деток спасти ценою жизни чужих детей. Ей никто слова попрека не сказал, не пристыдил. Не потому что извинительным ее поступок считали. Напротив! Такое это злодейство, что и говорить тошно. Люди молча оделись и на выход пошли. За нами следующая партия вошла».

10 января 1942 года

Новости, которые приносит Марфа из очередей, с толкучки, не услышишь по радио. В детские сады и детдомы пришло постановление: отвлекать детей от разговоров о пище, пропускать при чтении упоминания о еде. Воспитатели и нянечки не справляются: дети плачут, просят кушать, а старшие ребяташки все время вспоминают, чем вкусненьким кормила их раньше мама.

Это трудно даже взрослым – избавиться от полугаллюцинаций, связанных с едой. Мне видится то блюдо с пирамидой пирожков, то тарелка горячих щей, то жареная корюшка, и как будто даже слышу их запах. Гастрономические беседы у нас под запретом, но если у Степки отрешенно счастливое лицо, значит, он представляет батарею тарелок с кашами: пшеничной, гречневой, перловой, рисовой, пшенной – и волен есть их хоть по очереди, хоть черпая по ложке из каждой. Если он задумался и хмурится, как бы ругая себя, то вспомнил торт, который я подарила ему на день рождения. Он тогда только треть осилил и убежал на улицу хвастаться подарками. «Дурак я был, – бормочет Степка. – Набитый дурак!»

– Война кончится, я тебе куплю большую коробку пирожных, – неудачно пытаюсь отвлечь его.

– Расскажи каких, – мгновенно подхватывает Степка. – Заварных, бисквитных? И трубочек, и корзиночек?

Он глотает слюну и скрючивается от боли в животе. Голод – это когда у тебя внутри поселяется тигренок и острыми когтями рвет стенки желудка.

– Попей кипяточку, – говорю я. – И давай сыграем в «морской бой». Я придумала новую стратегию, тебе не удастся потопить мои корабли одной левой.

У Степки до войны была присказка: «Да, я это одной левой!»

Марфа дает мне прикорм – стакан теплой воды с разведенным сгущенным молоком – рано утром или поздно вечером, когда Степка спит, чтобы не дразнить его, не доставлять лишние страдания. Но Марфа не знает наш секрет. После кормления Илюши я зову Степку, и мы тихо конспирируем. Степка подставляет ложку, и я по каплям сцеживаю, терзая свою грудь, молоко. Иногда бывает почти полная ложка, но чаще – только доньшко закрыто. Степка аккуратненько, как драгоценную амброзию, подносит ложку ко рту, выпивает и жмурится от удовольствия. Несколько минут сидит, не открывая глаз, не вынимая ложку изо рта – смакует.

24 января 1942 года

Объявили уже о второй прибавке хлебного пайка. Иждивенцы и дети будут получать по 250 граммов. Продовольствие везут на грузовиках по замерзшему Ладожскому озеру. Когда-нибудь этот путь назовут Дорогой жизни. Я не помню, какого числа была первая прибавка, Марфа пришла домой непривычно счастливая и с красными зареванными глазами. Оказывается, когда людям в очереди у магазина объявили, что сегодня повышенная выдача, поднялся такой бабий плач, что стены задрожали. «И сама-то я выла, – рассказывала Марфа, – пока в горле не засадило. Вот дуры-то! На морозе глотку драть!»

К Марфе часто приходят соседки – за помощью. Помощь нужна, чтобы вынести покойника на улицу, положить у парадного, санитарные команды завтра заберут. Соседки никогда не просят еды, вообще никто ни у кого ничего не просит, даже воды, ведь за ней надо ходить на Неву. Но люди помогают друг другу.

У тети Веры из тридцать восьмой квартиры умерла дочь Катя четырнадцати лет. Тетя Вера принесла ее карточки мне, хотя саму шатает от голода.

– Выкорми сыночка, Настя, пусть в нем будет частичка моей ненаглядной Катеньки.

Я знаю, что Марфа иногда не выдерживает и носит сухарики или кусочки сахара, или мерзлую картошку детям. Марфа ведь очень добрая, ей мучительно сознавать, что за соседской дверью страдает от голода ребенок.

В туалет мы ходим на ведро, как и все остальные жители дома. Выплескивают из ведер в коридор, сил выносить на улицу уже нет. Однако не воняет дурно – очень сильные морозы. Морозы – это хорошо, это природа за нас. Пусть лютый холод убьет, покалечит, выведет из строя как можно больше немцев. Путь фашисты испытают то же, что и французы в 1812 году. Кто к нам с мечом придет, тот не только от меча погибнет.

30 января 1942 года

Я боюсь Петра.

Марфа спрятала ножовки, чтобы он не перепилил замок на сундуке.

В отсутствие жены Петр с топором, которым крушил мебель, пошел на маму.

Она распласталась на сундуке, обхватив его руками:

– Не встану! Рубите, безумный вы человек! Я погибну как Мария Антуанетта.

Степка повис на руках у отца:

– Папа, не надо! Папа, остановись, что ты делаешь!

Я положила Илюшу на кровать и схватила с печки кастрюлю с горячей водой. Плеснуть не могла – боялась задеть мальчика. В первые секунды даже не почувствовала, что раскаленные дужки обжигают мне ладони, а потом вдруг резкая нестерпимая боль, руки сами собой разжались, кастрюля упала, кипяток разлился. Оглянувшись по сторонам, я схватила единственное подвернувшееся оружие – спицы Марфы.

Выставив их перед собой, закричала:

– Только посмейте! Зенки выколю!

Прежде я могла употребить синоним слову «глаза» – «очи». Я не подозревала, что помню вульгарное «зенки».

Петр одумался, бросил топор, забился в угол своей кровати. То ли плакал, то ли рычал, гыгыкал. Раскаяния или сознания сотворенного кошмара в его гыгыкании не было. Топор я зашвырнула под мамино кресло.

Жить с безумным человеком в маленьком помещении, в тесноте эмоционально и психически очень тяжело. Мы ведь как узники, обреченные постоянно находиться в камере.

Но раньше хотя бы не было безумно страшно.

Сначала я не поняла, что значат взгляды, которые Петр бросает на Илюшу. А потом он стал твердить в голос:

– Все равно умрет, гы-гы, а пока еще можно сварить на студень или на котлеты, гы-гы...

Хорошо, что Марфа в этот момент была дома. Она затряслась от гнева и обрушила на мужа поток угроз и проклятий. Но до его ненормального сознания не докричаться.

Глаза закрыл и мечтательно тянет:

– Котлеты, гы-гы...

Напугалась даже моя мама, обладающая большой палитрой чувств и настроений изысканной леди, животный страх в которой не числится.

Я потом слышала, как мама тихо спрашивает Марфу:

– Неужели дошло до каннибализма?

– До кого?

– Людоедства.

– Наверяд, – с неохотой ответила Марфа. – Хотя на толкучке бабы говорили, будто ходила какая-то тетка, предлагала пирожки с мясом. От нее все шарахались. Откуда сейчас мясо? Известно. Тетку вроде милиция забрала.

Молоко может пропасть, если я буду сильно нервничать и переживать.

Но я ничего не могу с собой поделать. Мне страшно. Все время, особенно бессонными ночами, кажется, что он подскочит и выхватит у меня сына. В голове туман, почему-то он пестрый, большей частью красный, наверное, поднялась температура.

Пишу, чтобы отвлечься, бросила взгляд на первые строчки сегодняшней записи – ничего не разобрать, нагромождение каракулей.

2 февраля 1942 года

Сегодня ночью Марфа убила мужа. Чтобы нас спасти.

Я притворялась, что сплю, но все видела. Спящего Степку, мы с ним на одной кровати, укрыла с головой – вдруг внезапно проснется.

Марфа подошла к храпящему Петру, посмотрела на него, дернула рукой, точно перекреститься хотела, но не осмелилась. Взяла подушку, положила на лицо мужу и навалилась сверху. Он брыкался. Мама выползла из своего кресла, приблизилась к ним и рухнула Петру на ноги. Он был еще очень сильный, подбрасывал маму как пушинку. Потом затих. Мама, пошатываясь, вернулась в кресло. Все происходило в тишине, они не обменялись ни словом.

Марфа оделась и за ноги поволокла мужа из квартиры. В дурмане мне почему-то виделось кино, только пленка была не черно-белой, а кроваво-красной. Вот Марфа тащит Петра по коридору, поскальзывается на оледенелых помоях и замерзших экскрементах. Вот она спускается по лестнице, и голова Петра бьется по деревянным ступенькам с глухим звуком. Марфа вытащила мертвеца на улицу...

Видение обрывается, я не знаю, плакала ли она, просила ли прощения. Я проваливаюсь в глубокий беспробудный сон.

Утром я проснулась мокрая от пота – температура спала, я выздоровела, молоко не пропало.

11 февраля 1942 года

Вчера умерла мама.

Отказалась от ужина:

– У меня нет аппетита.

Слово «аппетит» для нас звучит так же нелепо, как, например, «пеньюар». Марфа пыталась заставить ее покушать, но мама изящно, даже кокетливо помахала рукой и показала на нас со Степкой – отдай им. Говорить ей было трудно, хотя, очевидно, хотелось.

– Вероятно, пришел мой час, – сказала мама. – Забавно, что я умираю в тот же день, что и родилась. Не спрашивайте, сколько мне лет, это

негалантно.

Мама выглядела на восемьдесят или девяносто – сморщенное старушечье личико. Она говорила с закрытыми глазами, задыхаясь, с остановками. Мы с Марфой сидели рядом, я держала маму за руку.

– Мне всегда казалось, что мое предназначение – быть музой. Но вдохновительницей большого таланта я не стала. Хотя чем я хуже Лили Брик?

– Куда ей до вас! – горячо заверила Марфа. – Лилька Дрик вам в подметки не годится!

Мама открыла глаза, посмотрела на меня и слабо улыбнулась: Марфа понятия не имела, кто такая Лиля Брик.

– Наверное, – продолжала мама, – я скорее чеховская Попрыгунья.

Марфа, снова не поняв, спросила меня взглядом: хвалит мама себя или ругает? Я не могла ответить, душили слезы, только головой мотнула.

– Дык попрыгаем ишшо, – сказала Марфа, – вот весна придет и попрыгаем. Не след себя раньше времени хоронить.

– Придет весна, – повторила мама. – Это замечательно, я люблю весну. Марфа! Спасибо тебе за все. Сбереги детей. Прощайте! Я посплю сейчас.

– Может, на кровать мою? – предложила Марфа. – Который месяц в кресле скрючившись.

– Пожалуй, на кровать, – согласилась мама.

Это были ее последние слова.

Когда мы ложились спать, мама была еще жива, Марфа проверяла ее дыхание, поднося зеркальце ко рту. Среди ночи я проснулась от бормотания: горела свечка, Марфа сидела на табуретке около мамы и тихо наизусть читала какие-то религиозные тексты.

– Мама? – спросила я.

– Преставилась, – ответила Марфа и продолжила бормотание.

Я не вскочила, не заплакала, я через минуту снова заснула. Во сне я ругала себя за бездушие, просыпалась, Марфа все читала и читала, кажется, даже не повторялась. Я снова засыпала, снова ругала себя и в то же время удивлялась, откуда Марфа знает столько молитв.

Утром Марфа разбудила меня и Степку:

– Попрощайтесь.

Мама лежала в белом мешке, вроде савана, зашитым по горло, только лицо видно, остаток ткани складками обрамляет ее голову.

– Поцелуйте ее, можно просто ко лбу губами прикоснуться. И пожелайте ей прощения за все грехи, винные и невинные, вечной памяти и земли пухом.

– Я не запомнил все, – испуганно сказал Степка.
– Говори, что запомнил или от себя.
– Елена Григорьевна, спасибо, что подарили мне самолетик... И еще, это я сломал замочек в вашей шкатулке...

Степка разрыдался, поцеловать покойницу он боялся, да никто и не заставлял.

Я передала Илюшу Марфе, встала на колени, обняла маму.
– Прости, прости, прости! Мамочка, прости! – твердила я.
– Ну все, будет! – прервала мои стенания Марфа. – Чайник на плиту поставьте.

Марфа взяла иголку с ниткой, накинула ткань маме на лицо, зашила саван до верха.

Полдня Марфа на улице сторожила санитарную машину. Приходила греться на несколько минут и снова возвращалась на мороз. Мужа Марфа выволокла на улицу за ноги, а за мамой привела санитаров с носилками. Они сказали, что отвозят умерших на пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Туда не долетают снаряды, там нет заводов, поэтому немцы Пискаревку не бомбят.

– Могилки, конечно, не будет, – вздохнула Марфа, – но хоть место знаем, куда прийти поклониться. Если доживем и в силах будем.

12 февраля 1942 года

В детстве я обожала маму, она была моим кумиром. С годами растущее количество обид на маму испарило обожание. Это как испаряется кипящая вода в кастрюле. Я со своей любовью была маме не нужна. Ей никто не был нужен, но ведь я не «никто». Моей «правильной» мамой была Марфа – заботливая и чуткая, добрая и ласковая. И рядом всегда находился Митя. Я переняла папино отношение к маме – почтительное, с легким налетом иронии. Рядом с мамой, в сравнении с ней я чувствовала себя недостаточно изящной, утонченной, воздушной – неотесанной.

Когда принималась ревниво и самоуничижительно сравнивать нас или жаловаться на мамины капризы, ее избалованность, эгоизм, Митя пожимал плечами:

– Она такая, какая есть. Ты другая. В миллион раз лучше.

Мы никогда не жили в усадьбах, поместьях, в замках или во дворцах. Но мы всегда жили с королевой. Благодаря ее присутствию быт наш приобретал черты и оттенки светскости, благородства, достоинства, изысканности.

Королева умерла. И, оглядываясь по сторонам, мы теперь будем видеть

лачугу. Я не имею в виду нынешнее убогое пристанище, я не про стены, а про дух.

Мамочка, прости меня!

Блокада (продолжение)

Хлопотами Камышина Марфу с детьми внесли в списки на эвакуацию по Дороге жизни.

Марфа не любила переезды. Она была деревенской закваски, а у крестьян не бывает возможности в отпуске ездить – хозяйство не отпускает. Необходимость сорваться с земли, бросить хозяйство и домовладение всегда связана с лихолетьем или несчастьем. Однако сундук уже давно пуст, а конца Блокады не видать. Марфа поставила Камышину условие: ехать они должны в Сибирь, в Погорелово.

– Я не всемогущ! – возмутился Александр Павлович. – Я не имею доступа к эвакуационным потокам и даже понятия не имею, кто этим занимается. Беженцев принимает вся страна.

– Вся страна нам без надобности. Нам – в Омскую область.

– Повторяю еще раз, бестолковая ты голова...

– Ежили со мной что случится, – перебила Марфа, – то в Погорелове Парася, она присмотрит за детками.

– Как с тобой случится? – растерялся Камышин. – Ты это брось! С тобой ничего не может случиться! – рывком крепко прижал ее к себе.

В его объятиях не было ничего амурного, похотливого, лишь острый страх за нее. Марфа в ответ легонько, с благодарностью погладила его по спине. Она тоже ведь не железная, ей тоже сочувствия, пусть граммuleчки, хочется.

Про то, что она железная, Александр Павлович и заговорил. Он был на полголовы ниже Марфы, твердил, уткнувшись ей в шею, замотанную платком.

– Ты у меня стойкая! Когда другие ломаются, ты только гнешься. Настоящая русская женщина!

– Сибирячка, – поправила его Марфа, освобождаясь из объятий.

Камышин хмыкнул ласково-насмешливо.

Марфе был чужд шовинизм, все национальности для нее были равны. Кроме сибиряков. Они – особняком. Все народности по одну сторону, сибиряки – по другую. Поэтому Марфе не нравилось, когда ее причисляли к русским бабам.

– Ты русская женщина в квадрате, – улыбнулся Камышин.

– Где-где?

– В квадрате – значит, во много раз более... ух! – Он потряс в воздухе

кулаками.

– Хоть круглая, хоть квадратная, а ехать нам надо домой, к Парасеньке, ей одной доверюсь.

– Но я не господь бог!

– Бог бумажек не пишет и печати на них не шлепает. А вы, помнится, золовке моей Нюране таких хороших бумажек наделали, что она до Курска доехала, в институт поступила и теперь доктор практикующий.

– Было другое время, а бумажки те – филькина грамота.

– Время другое, а к документам с печатями и подписями почтение не померкло.

– В этом я с тобой соглашусь.

Перед отъездом Настя сожгла в печке свой дневник. Не только потому, что там описывалось, как Марфа убила мужа. Есть испытания, о которых нужно забыть, чтобы двигаться дальше. Не рассказывать о них, гнать из памяти, как выйти из тьмы к свету, из ада – на волю. Пережившие ад стараются не ворошить прошлое.

Камышин выправил «Предписание следования» с настоящими подписями и печатями. Ставившие подписи руководители честно предупреждали, что сей документ приказного характера не имеет. До Урала и за Уралом будет много начальников, в чьей законной воле не брать «Предписание» в расчет. Железная дорога работает с колоссальными перегрузками.

От Финляндского вокзала их везли на поезде до станции Борисова Грива. Там, как обещали, эвакуированных блокадников пересаживают на автобусы и грузовики, отправят по замерзшей Ладоге до Волховстроя.

Неожиданно в противоположном конце вагона истошно закричала женщина. У нее на руках умер ребенок, и второй был очень слаб. Женщина все уговаривала живого ребенка потерпеть, скоро им дадут много хлебушка. Ее причитания в тишине вагона рвали сердце.

У Марфы за пазухой хранился последний сухарь. Берегла, потому что незнамо, сколько добираться будут. Случится задержка, надвое разломит – Настя и Степка пососут.

Марфа достала сухарь и протянула сидевшему рядом мужчине:

– Передайте той женщине.

Он уставился на сухарь, точно ему в руки попал самородок, потом поднял руку кверху и склонил вправо:

– Я передаю хлеб той женщине.

И дальше каждый человек, принимая сухарь, произносил:

– Я передаю хлеб.

Марфа так и не увидела женщины, с которой поделилась последним. В Борисовой Гриве, только выгрузились, Марфа поспешила договариваться, чтобы Настю с младенцем определили в автобус или в кабину грузовика.

Им повезло: их автобус не попал под обстрел немцев и не провалился в полыню.

На Большой земле им сразу же выдали по тарелке горячей каши, ломтю настоящего хлеба, кусочку колбасы и небольшой шоколадке. Марфа тут же отобрала паек у Насти и Степки, который ревел и ругался на мать, ошавев от запаха и вида пищи. В Ленинграде ни разу на нее голоса не повысил, не скулил, не жаловался, а тут обозвал сволочью проклятой.

Настя, которой, как и Степке, досталась треть миски каши (остальное Марфа слила в котелок) тоже кланчила:

– Хоть понюхать колбасу и шоколад дай!

– Нет! – отрезала Марфа. – Терпите. С голоду не подошли, дык не хватало от жратвы преставиться.

Блокадников многократно предупреждали, что начинать есть надо по чуть-чуть, что если поглотить сразу весь паек, то можно умереть.

И умирали, потому что теряли разум при виде еды, которую заглатывали не жуя.

Перед посадкой на поезд, идущий на восток, Марфа отловила врача – схватила за фалды белого халата:

– Доктор, стойте! Василий Кузьмич!

Вдруг выскочило имя доктора, который жил у них в Погорелове и был для Марфы иконой врача.

– Вы ко мне? Вы обознались.

– Нет же! По очкам видно, что доктор, а не санитар. Из тех ленинградцев, что с нами по Ладоге ехали, – быстро заговорила Марфа. – Уже умерла бабка, двое ребятишек и женщина. Наелись и померли. Вы мне скажите, сколько еще детей мучить? Это ж никакого сердца не хватит.

– Да-да, – закивал доктор и принялся почему-то оправдываться. – Мы не можем наладить частое дробное питание, ведь прибывают тысячи людей, мы вынуждены сразу выдавать паек. Дистрофия – опасное состояние, есть стадии, из которых практически нельзя вывести, человек умрет через неделю, месяц или год.

– Ты меня не пугай, – перешла Марфа на «ты». – Ты мне как по рецепту скажи, как их кормить, когда до полной нормы довести?

– Лечение дистрофии не описано...

– Доктор! У меня поезд уходит. Василий Кузьмич нашел бы, что прописать! – упрекнула Марфа.

– Пища должна быть жидкой и теплой, – пристыжено заговорил врач. – Принимать каждые три часа. Объем не более полстакана. Прибавлять каждый день в порцию по столовой ложке. Отпустите мой халат.

«Жидкая, – думала Марфа по дороге к вагону. – Как я колбасу жидкой сделаю? Господи, как же хочется впитаться в нее зубами! Рот раззявить и кидать в него, кидать...»

Вечером она не выдержала, дала Степке и Насте по кружочку колбасы, себе тоже отрезала. Велела жевать долго, до жидкого состояния. Они сидели и жевали, хмелели от вкуса ароматного копченого мяса. Они были счастливы.

До Омска добирались пять дней, и бездушный бюрократ, отказавшийся выполнять «Предписание следования», им не встретился. Зато встретилось много людей, попутчиков, которые, сами на скудном военном пайке, делились с ними едой.

– Ленинградцы? С детками едешь? – спрашивали бабы, торгующие на станции.

И протягивали соленый огурец или горсть квашеной капусты в газетном кулечке, яйцо, пирожок или кусочек патоки.

– У меня ж деньги есть, – говорила Марфа, вернувшись в вагон. – Но неудобно рублями сверкать, когда тебя милостыней одаривают, хотя ты и не просила. Свекровь моя, Анфиса Ивановна, со слов своей бабки рассказывала, что когда ее предки, томбаши-погорельцы, шли в Сибирь, три года шли, то детей в селах и в деревнях отправляли побираться, а сами за любую работу хватались ради куска хлеба. Мы, получается, тем же путем едем, не христорадничаем, а люди нас по благородству души одаривают. Вот как века-то изменили к лучшему народ.

– Не века, а советская власть, – поправила Настя.

Марфа посмотрела на нее с сомнением, но возражать не стала. Она вспомнила, как про революцию говорил Еремей Николаевич: «Грянул гром не из тучи, а из навозной кучи».

Когда пересели на последний поезд до Омска, Марфа отбила Парасе телеграмму.

Встречал их на вокзале Максимка Майданцев. При виде Марфы только крикнул и отвел глаза, пригласил в сани. Степка и Настя впервые ехали в санях. Они и лошадь-то близко никогда не видели. Дорога была красивой,

день солнечным, под меховой полостью тепло.

– Кажется, что мы едем в сказку, – улыбалась Настя.

– Раньше и была сказка, – отозвалась Марфа, – до советской власти.

У нее ныло за ребрами и в животе. Точно долгое время нутро было втиснуто в железную авоську, а теперь авоська сгинула, и все внутри расквасилось до боли. Она не чаяла оказаться на родине, ведь ее унесло за тридевять земель. У нее не было сил даже для радости.

Парася не узнала Марфу. Пять лет назад это была крепкая цветущая женщина, а из саней вылезла старуха: морщинистое костлявое лицо: скулы торчат, челюсти выпирают, кожа съехала с лица как спущенный чулок.

– Сестричка! – улыбнулась старуха.

Когда-то за спиной свекрови они так сдружились, что называли друг друга сестричками.

– Марфа? Ты? – ахнула Парася и бросилась к ней со слезами. – Ой, горе! Ой, радость! Приехала, моя ненаглядная! Что же с тобой сделалось, голубка моя!

– Жива, жива, – повторяла Марфа, – главное, что жива. – Она разучилась плакать и от горя, и от радости. – Будет тебе причитать, милая. Вот глянь, Степка да невестка моя Настенька, а там в одеяле внучек Илюша. Помыться бы нам.

– Конечно, – засуетилась Парася, – с утра топим у свекрухи сестры моей Кати, наша-то баня развалилась, да и дров недостаток. Милости просим, дорогие, проходите в дом!

Баня была просторной, топили ее, сбрасываясь дровами с соседями. Первыми пошли женщины: кроме Параси, Марфы и Насти, Кати и ее свекрови, мылись еще две соседки. Деревенские женщины старались не глазеть на ленинградок, но то и дело горестно вздыхали. Настя худа, очень худа, но у нее хотя бы сиськи имелись. А Марфа – живые мощи, вместо когда-то знатной груди два пустых сморщенных мешочка болтаются. Марфа очень любила баню и раньше подолгу парилась, а теперь через две минуты потеряла сознание в парилке, на руках вынесли, холодной водой отливали.

Степку отправили мыться с мужиками. Когда мальчонка разделся, разговор оборвался на полуслове. Это был не ребенок, а скелет: кости-палочки воткнуты в узловатые суставы, ребра легко пересчитать, задницы нет, на ее месте кость в виде большой бабочки. По военному времени никто не жирует, но чтоб так изголодать! Чтоб у пацана кожа на пальцах висела! Его муха крылом перешибет.

На следующий день к дому Параси Медведевой потянулись односельчане. Несли понемногу, сколько могли отщипнуть от своих небогатых запасов: замороженные круги молока, пельмени, рыбу и дичь, муку, зерно, масло, картофель и репу, кедровые орехи, сушеные ягоды и грибы. Всем было отлично известно, что Парася, жившая со старенькой матерью и малолетней дочкой, перебивается с хлеба на воду, у них даже коровы нет, волки по осени загрызли. В селе, помимо приехавших Медведевых, были и другие эвакуированные. Нуждающиеся, они все-таки не выглядели такими страдальцами, как ленинградцы.

Самую большую помощь оказал Максим Майданцев: привел корову, привез сена, зерна, два мешка картошки, дрова.

Так же, как накануне, с вечера на утро все село узнало, что Марфа – страшнее скелета, а сынок ее – доходяга несчастный, так и на следующий день колхозники живо обсуждали шумный скандал в семье Майданцевых. Акулина, крикливая председательница, конечно, вредная баба, но корову со двора уводить, пусть их даже и две у Майданцевых, – невиданная щедрость, граничащая с наплевательским отношением к хозяйскому добру, что само по себе для сибиряков грех. Хотя с другой стороны рассудить, без коровы-кормилицы да с детьми малыми – погибель. Общим мнением сошлись на том, что корова дана не навечно, а в пользование, пока телочка не появится и в возраст не войдет.

Парася принимала помощь, кланялась людям, плакала, благодарила. Марфа ничего не видела и не слышала. Она спала. Мертво, беспробудно спала на печи. Говорят: провалилась в сон как в яму. А она вознеслась на облака, где ни забот, ни тревог, ни вечного страха, ни голода, ни очередей, ни трупов – благодостный отдых.

Проснувшись, не поняла, где находится. И пронзил страх – карточки не получила, очередь пропустила, печку топить книжки кончились... Однако было тепло и работало радио, передавали спектакль, голос у артистки был странный, шепеляво дребезжащий.

«Я дома, в Погорелове», – вспомнила Марфа и высунула голову из-за занавески. Парася хлопотала в кути. Ребенок качался в зыбке, подвешенной к потолку. За столом сидели мать Параси, тетя Туся, Настя, Степка и Аннушка.

– Тут и шкашки канеш, – прошамкала беззубым ртом тетя Туся. – Ышшо рашкашать?

Это и было «радио».

– Да, пожалуйста! – попросила Настя.

– Ага, здорово! – подхватил Степка. – Прямо народный детектив.

Четырехлетняя Аннушка покосилась на него, услышав незнакомое слово, и повернулась к бабушке, закартавила:

– Ласкажи пло Бову-кололевиця, они не знают.

– Мошно и про Бову-королевича. А потом и кушать вам времешко подойдет.

Перед тем, как рухнуть в сон, Марфа строго-настрого наказала Парасе кормить Настю и Степку помалу и не чаще, чем через три часа. Судя по тому, как выглядели дети, Парася наказ выполнила. Вырвавшись из блокады, набив желудки, люди корчились от страшных резей, мучились от неудержимого поноса – и умирали. На лицах Насти и Степки никаких страданий не наблюдалось, а только живой интерес.

– Марфинька, проснулась? – подошла к печи Парася.

– Долго я дрыхла?

– Считай двое суток. Водичку я тебе подносила, ты с закрытыми глазами по чуть-чуть пила, а до ветру-то, – зашептала Парася, – не ходила. Чай не надо?

– Ой, как надо! Добежать бы, а то оскандалюсь, – слезала Марфа с печи.

– Доху накинь, не выскакивай на двор раздевши.

Марфа повернула к ней голову и растерянно взмахнула руками:

– Парасенька!

О Марфе никто никогда не печалился и не заботился, как заботятся безрассудно и без выгоды о милом сердцу человеке или о родном дитя. Ни мать, ни отец, ни муж, ни свекор со свекровью, ни Камышины, ни сыновья – только Парася, названная сестричка. И Марфа давно забыла это чувство принятия ее тихой нежности и любви.

Парася Марфиной растерянности не заметила, наклонившись, поставила перед ней валенки:

– Суй ноги, катанки тепленькие, я специально у печи держала.

За корову Марфа отдала Акулине деньги – больше половины тех, что привезла. Акулина сначала отказывалась, но потом взяла. За корову, если у тебя семья с детками, последнюю рубаху надо отдать.

Братья

Осенью 1942 года Василий Фролов лежал в тыловом госпитале. Ему ампутировали левую ногу ниже колена. По ночам отрезанная нога болела нестерпимо. Так называемые фантомные боли, которые не глушили лекарства, и никакими уговорами не удавалось внушить собственному сознанию, что оно бесится понапрасну. Днем терзала боль в культе. Казалось, что в ней завелись ядовитые черви, пожирающие плоть, грызущие кость.

Василий не участвовал в жизни офицерской палаты: не балагурил, не рассказывал анекдоты и фронтовые истории. Он читал учебники, которые таскал с начала войны и делал выписки в тетрадь. У него ныла челюсть – превозмогая боль, заставляя себя вдумываться в суть прочитанного, он сильно сжимал зубы.

Молчаливый старший лейтенант Фролов вызывал интерес у медицинского персонала и сопалатников: ходил слух, что Фролова представили к званию Героя Советского Союза. Награды были редкостью, а уж звезда Героя – и вовсе исключение. Какие награды, если армия отступает, с трудом удерживает фронт, контратаки захлебываются.

– Слышь, Вася, – присел к нему на койку госпитальный балагур Лёха Зайцев, – чего темнишь-то? Сглазить боишься? Дадут тебе Героя? А правда, что ты провода зубами зажал и обеспечил связь командования?

Василий опустил раскрытую книгу на живот, взял с тумбочки очки, водрузил на нос, с досадой посмотрел на Лёху и спросил:

– Ты в каком звании?

– Лейтенант.

– Значит, семиклассное образование имеешь, физику в школе проходил. Напряжение тока в телефонном проводе около десяти вольт при разговоре. Если сунуть провода в рот, колоться будет ощутимо. В момент посылки сигнала, когда вертят ручку полевого телефонного аппарата, напряжение может доходить до ста двадцати вольт. И как ты думаешь, я бы выглядел, если бы несколько часов обеспечивал связь с помощью ротовой полости? Это – во-первых. Во-вторых. Представить к награде еще не значит ее получить. Еще вопросы есть?

– Ладно тебе, – по-свойски ткнул его кулаком здоровой руки в плечо Лёха. Вторая, раненая, рука у него крепилась к туловищу на реечной конструкции и была задрана в пионерском салюте. – Больно гордый! Я ж с

наилучшими намерениями. Вася! Присмотрись к сестричке Гале. Очень правильная девочка и вокруг тебя порхает. Люся тоже нечего, но на Люсю очередь. Отсутствие части ноги ведь не мешает, – подмигнул Лёха. – Что нога? Протез нацепил и отправился на танцы. А вот в соседней палате лежит младший сержант, дядька, у которого точное попадание, – Лёха встал и, захватив пятерней мошонку, наглядно показал лежащим на койках офицерам место ранения ефрейтора. – Да, братцы, подчистую ему все отрезали. Дядька этот все твердит: «Хорошо, что у меня детки уже есть», и еще просит врачей пришить ему на причинное место какое-нибудь подобие. А то, говорит, что ж я теперь по-бабьи мочиться буду? И до того он достал хирурга Ивана Егоровича, что тот сказал: «Могу пришить палец, выбирай, какой отрезать будем». Вообразите: палец вместо хера!

Когда раненые отсмеялись, Лёха продолжил:

– Считаю наше боевое обмундирование не до конца продуманным. Голову каска защищает. А, извините, мужское достоинство? У меня, может, в нем больше желаний, чем в мозгах. Надо на пах тоже придумать броню, а то вернемся с войны... с пальцами... ногти на них будем подстригать. Так, я вам доложу, судьба этого дядьки меня напугала, что теперь в атаку буду ходить с котелком привязанным...

Василий искренне считал, что никакого подвига он не совершал, выполнял обычную фронтовую работу. Готовилось контрнаступление. Связь батальонов с командным и наблюдательным пунктами, с огневыми позициями и артиллеристскими батареями прокладывали под огнем немцев, провода рвались в лапшу. С батальоном главного удара прервалась связь, Василий туда отправился. Из связистов не осталось никого, последним отправился чинить провода командир отделения. Судя по отсутствию связи, он погиб, не выполнив задания. И тогда Василий пошел сам. То есть не пошел, а на карачках пополз и по-пластунски. Впервые за всю войну отправился на передовую, раньше он при штабе только командовал батальонными связистами. Василий считал себя трусом. Он, конечно, знал выражение: трус не тот, кто не боится, а тот, кто не может преодолеть страха. Однако само по себе наличие страха говорило об ущербности его натуры. Он плохо видел и носил очки, наличие очков не отменяло близорукость. Он полз, искал обрывы и убеждал себя, что это как решение уравнения со многими неизвестными. Обрыв – неизвестный член уравнения. Василий сделал три соединения, когда увидел группу из нескольких десятков фашистов, которые, крадучись, прячась за кустами, пытались зайти в наш тыл. Теперь это была система уравнений. Василий

огляделся на местности и выбрал хорошую позицию. Подпустил немцев, двигавшихся цепочкой, поближе и открыл огонь из автомата. Оставшиеся в живых немцы залегли, их Василий забросал гранатами. Он не знал, скольких убил, более ему сражаться было нечем. Автоматная очередь прошла Василию ногу от колена до щиколотки с веселым чмоканьем. Сапог стал быстро наполняться кровью. Наши бойцы уже бежали на подмогу, вступили в бой. Василий перетянул ногу выше колена куском провода и пополз искать следующий обрыв. Хорошо, что этот обрыв был последним. Да, действительно, проверял напряжение, взяв провода в рот, аппарат для проверки он забыл в прямке, из которого обстреливал фашистов. И это было позорно для связиста – вернуться без аппарата, почти как без оружия. За Васей тянулся кровавый след, он понимал, что сделать крюк ему не по силам. Он поддался слабости, не вернулся за аппаратом, струсил. Математика закончилась, остались только боль и страстное желание спастись.

В результате контратаки наши войска ликвидировали опасность окружения дивизии и продвинулись вперед на несколько километров.

Василий не помнил, как дополз до своих, как не помнил полковника, который разыскал его среди раненых. Когда Василий очнулся от болевого шока, ему рассказали, что полковник троекратно расцеловал его, сказал, что благодаря этому лейтенанту диверсанты не захватили штаб, операция завершилась успешно, что Василий достоин звания Героя, и он, полковник, лично проследит, чтобы представление было сделано.

В палату вошла медсестра Галя:

– Дмитрий Медведев! На осмотр. Консилиум. Кто здесь Медведев?

– Это сибиряк контуженный, – отозвался Лёха. – На последней койке, в углу, вчера поступил. Растолкайте его, ребята, он слышит плохо.

Василий сел на кровати, опустив здоровую ногу на пол. Наблюдал, как по длинному проходу между кроватями в застиранном, не по росту коротком халате нетвердой походкой шаркает высокий парень, руки у него подергиваются, лицо непроизвольно кривится. На голове повязка, напоминающая резиновую шапочку с перемычкой под подбородком для плавания в бассейне. Но более всего парень походил на волка, который переоделся в Бабушку, чтобы съесть Красную Шапочку.

– Вася, вам ничего не нужно? – подошла Галя.

– Халат и костыли, пожалуйста!

– Вам еще нельзя вставать!

– Я вас очень прошу! Будьте добры! Пожалуйста!

– Но доктор...

– Доктору очень не понравится, если я в исподнем поскачу на одной ноге по коридору. А я поскачу!

– Хорошо, спрошу Ивана Егоровича, если разрешит, принесу.

Через несколько минут она вернулась с халатом и костылями:

– Доктор на консилиуме, я на свой страх и риск. Давайте помогу одеться. Вы ведь еще не умеете на костылях ходить? Сейчас я вас научу, буду поддерживать. Голова не кружится?

Голова кружилась – от слабости и от девичьих прикосновений. Василий был девственником. Робость, замешанная на благоговении перед женщинами, мешала ему расстаться с позорной невинностью. Эта робость была из того же, что и трусость, арсенала его недостатков, из-за которых он страдал и себя корил. Все девушки и молодые женщины казались ему недоступными красавицами, включая тех, кто, по слухам, был вполне доступен. Василий прятал свою ущербность за маской хмурого задаваки.

– Где проходит консилиум? – спросил он Галя.

– В учительской.

Госпиталь располагался в школе. На дверях остались таблички «1 А класс», «1 Б класс»... Офицерская палата занимала «Пионерскую комнату», операционная – «Кабинет химии». Медики и раненые называли палаты по школьным табличкам – «7 А», «9 В». Самое страшное – попасть в «Кабинет биологии», туда переводили умирающих.

Здание школы было типовым: широкие коридоры, по одну сторону которых находились классы и кабинеты, по другую – большие окна с уютными подоконниками. Выбитые стекла во многих окнах были забиты фанерой, уцелевшие – крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги. Василий хорошо представлял себе, как после звонка вываливали здесь на перемену ребяташки, носились по коридору, притормаживая, переходя на чинный шаг около учительской в торце коридора. Десять минут стены сотрясались от криков птичьего базара, чтобы умолкнуть по звонку, когда ученики, нарочно пихаясь и толкаясь в дверях, снова возвращались в классы. Только тогда удушливо не пахло карболкой.

– Костыли вперед, опора на здоровую ногу, – командовала Галя, – опора на костыли, переносим здоровую ногу. У вас хорошо получается.

– Спасибо! Дальше я сам?

– Нет-нет, – запротестовала Галя. – Не форсируйте, до третьего «А» вместе со мной, а обратно попробуете самостоятельно. Устали? Я ведь вижу, испарина на лбу выступила. Может, только до второго «Б»?

– До учительской.

– Когда смотрим, как инвалиды шустро на костылях бегают, – болтала и поддерживала его за талию Галя, – кажется, что это просто, а на самом деле непросто. По лестнице без меня – ни в коем случае! Договорились?

– Хорошо.

– Вверх по лестнице надо идти как по прямой, а вниз совсем иначе. Вы без меня упадете!

– Точнее сказать, без вас я рухну с небес на землю, – осмелился на заигрывание Василий.

– В каком смысле? – не поняла Галя.

– Простите! Это была неудачная попытка сказать комплимент.

Галя была тонкой и кругленькой, как цветочек: хрупкий стебель, пышная головка. Круглое личико, из-под белой косынки выбиваются русые кудряшки, глазки-пуговички, нос-пипочка, губки-бантик. Василию она казалась необыкновенно хорошенькой, и даже курносый носик с торчащими вперед дырочками ноздрей не портил впечатления. Как будто давно, в детстве, Галю щелкнули по носику, и он так и застыл – в трогательной детской обиде.

Василий подрулил к последнему окну перед учительской, прислонился к подоконнику.

– Надо отдохнуть? – спросила Галя.

– Надо кое-кого здесь подождать. Вы торопитесь?

Галя пожала плечами, как бы давая понять, что она человек занятой, но ради него готова отложить работу.

– Я никогда не учился в нормальной школе, – сказал Василий, – большую часть образования я получил в приватной обстановке. Но мне почему-то кажется, что я все здесь знаю. Вот раздастся звонок, и из классов высыплются дети...

– В ординаторской, в восьмом «А», врачи за партами истории болезней заполняют, как школьники.

«Что же мне ей сказать? – паниковал Василий. – Лёха утверждал, что девушкам надо безостановочно сыпать про то, что они красивые. Прямо так, ни с того ни с сего? А! Погибать, так с музыкой!»

– Галя, вы очень красивая, обаятельная, симпатичная и обворожительная!

– Да-а-а? – кокетливо протянула Галя. – Я вам нравлюсь?

– Очень! – горячо заверил Василий.

Далее ему следовало ковать железо, пока горячо, распушить перья. Но Василий не обладал навыками кузнеца и вместо павлиньего хвоста имел бычий обрубок. Он мысленно поразился тому, что неприкрытая лесть

вызвала такой доброжелательный отклик, боялся, что удивление написано на его лице.

– А скоро вам Героя вручат? – спросила Галя.

Она все испортила. Как врезала под дых. Она такая любезная потому, что ей с Героем Советского Союза роман завертеть хочется. И вообще, в ее носу видны козявки!

– Ой, что? – растерялась Галя.

Раненые солдаты и офицеры, как только перестают корчиться от боли, начинают с ней, Галей, заигрывать и любят расписывать свои боевые подвиги. Галя думала, что милому очкастому застенчивому Васе Фролову будет приятно вспомнить о высокой награде. Но лейтенант смотрел на нее с откровенным презрением. Вернее не смотрел, отвернулся к окну.

– Не смею вас задерживать, – попрощался Василий.

– Что я такого сказала?

– Дальнейших оснований для вас манкировать своими служебными обязанностями я не вижу.

– Вы это со мной *так* разговариваете? У вас очень тяжелый характер, Вася!

Галя, обескураженная и обиженная, едва сдерживающая слезы, быстро пошла, а потом побежала по коридору.

«Диагноз точный, – думал Василий. – С моим характером только в монахи, в схиму, подальше от девушек и женщин. Или, напротив, в яму, как у Куприна. Поселиться в публичном доме на полгода, избавиться от томлений плоти и волнений ума. Напрасно публичные дома ликвидировали».

Краем глаза он увидел, как открылась дверь учительской и из нее вышел контуженый лейтенант.

Василий развернулся, поднял костыль и перегородил дорогу.

– В чем дело? – остановился контуженый.

Это точно был Митяй, двоюродный брат, Василий не ошибся.

– Привет, братка! – Он снял очки. – Не узнаешь?

– Васятка?

– Он самый. Почти в целости и сохранности, за исключением части одной нижней конечности...

Василий радовался встрече, но еще не развеялась досада на грубость, с которой он отшил медсестричку, да и бурно выражать эмоции он не умел. В отличие от Митяя, который захватил его в объятия, оторвал от пола и попытался закружить, но потерял равновесие, и они чудом не свалились на пол, на который с грохотом упали костыли.

– Пусти, чертяка! – смеясь, просил Вася. – Поставь меня! Нет, держи! У, медведь!

– Братка! Ты! Живой! Встретились! – твердил Митяй.

– Костыли дай.

– Чего? Говори громче!

– Костыли дай, а то я так и буду висеть на тебе, как кальсоны на заборе. Пошли под лестницу. В каждой школе должен быть укромный угол под лестницей.

Под лестницей лежали приготовленные для отправки в прачечную холщовые мешки с грязным госпитальным бельем, источавшие слабую смесь запахов крови, гноя, солдатского пота и медикаментов. Тут же стояли ящики от снарядов с каким-то больничным скарбом. На них и уселись братья, прижавшись плечами: Василию, чтобы не повышать голос, приходилось говорить Митяю прямо в ухо и просить его: «Не ори, а то погонят нас отсюда». Как все слабослышащие люди, Митяй не контролировал силу голоса. Первым делом они обменялись насущной информацией: как давно воюют, в каких войсках, на какой должности, на каком фронте. Неожиданно для себя Василий признался, что его якобы представили к званию Героя Советского Союза.

– Братка! – завопил Митяй. – Молодчина!

– Тише ты! – ткнул его в бок Василий. – Ты не понимаешь! Никакого особого подвига я не совершал, я чуть не обделался от страха. Просто к месту пришелся, у англичан есть выражение: оказаться в нужное время в нужном месте. Это была даже не моя работа, рутинная, военная, а работа младшего сержанта. Но она, следует признать, повлияла на исход боя. Ты же наверняка видел настоящие подвиги ребят, которые погибли, о которых никто не вспомнит. По сравнению с ними я самозванец, фанфарон, обезьяна на ярмарке.

– Уж загнул! Кичиться, конечно, не следует, но и мартышкой себя считать глупо. Ты ногу потерял.

– Так ведь не голову!

– Если голову, лучше? И потом, Героям полагаются всякие льготы и пособия. Матери твоей они очень пригодятся. Пишет тебе тетя Парася?

Василий отстранился, закаменел. Митяй с детства помнил эту его способность мгновенно меняться: вот он растерянный, слабый или возбужденно радостный, а потом щелчок, точно кнопку выключателя нажали и перед тобой холодный истукан.

– Тебе должно быть прекрасно известно, – процедил Васятка, и Митяй

не столько услышал, сколько понял по губам, – что мои отец и мать, брат и сестра... погибли в тридцать седьмом году.

– Здравьте! – возмутился Митяй. – Мне как раз известно, что тетя Парася прекрасно живет в Погорелове. То есть не прекрасно, а трудно, болеет она. Ведь мои мать, и брат, и жена, и сын сейчас у них в Сибири.

– Какой сын? – растерялся Василий и снова обмяк.

– Сын у меня, Илюша, родился в день Октябрьской революции.

Василий не слушал. Он встал, забыв про отсутствие ноги, хотел шагнуть и упал, взвыл от боли в культе.

Митяй помог ему подняться и сесть:

– Куда ты, чертяка?

– Давай еще раз, – попросил Вася, тяжело дыша. – Ты утверждаешь, что моя мама жива?

– Утверждаю!

– Значит, она все это время, пять лет, думала, что если я не даю о себе знать, то я ее... бросил, забыл?

Митяй пожал плечами: откуда ему знать, что думала тетя Парася?

– С братом твоим Егоркой какая-то чехарда. Вроде на фронт сбежал и пропал. Мать писала: попробуй разыскать его. Да разве это мыслимо? Васятка?

– Что?

– Не каменей, не впадай в ступор! Говори со мной нормально.

– Хорошо, – пообещал Василий, невидяще глядя в одну точку, на завязки мешка с грязным бельем. – Значит, ты родил сына. В шестнадцать лет?

– В семнадцать.

– Разница существенная. А я в пятнадцать поступил в Московский университет.

– Ты у нас всегда был мозговитый. Какой факультет?

– Физический. И кто твоя жена?

– Настя Камышина, теперь Медведева. Помнишь Камышиных? Мать у них домработницей.

– Соблазнил барскую дочь? – Василий старался поддерживать беседу, хотя мысли его были далеко.

– Мы друг друга соблазнили еще в пять лет.

– Как? – вытаращился Василий, окончательно вернувшись на землю.

– Да не этом смысле, – ударил его кулаком в грудь Митяй. – В этом смысле гораздо позже.

– Я ни разу не спал с женщиной, – признался Василий.

Он давно ни с кем не был откровенен. Он не подозревал, что существует человек, которому он признался бы в своих терзаниях. С братом Митяем расстался мальчишкой. Они, родившиеся с разницей в несколько дней, пацанами были очень дружны, хотя Митяй всегда покровительствовал и выставлял себя старшим, Васятка почти не возражал. И теперь он, точно в детстве, открылся старшему брату, точно зная, что его признания никуда дальше не уйдут. Митяй не даст ему совет, Митяй вообще может не понимать, о чем рассуждает начитанный Васятка, а то и высмеять его проблемы. Но редкая возможность выговориться для Васятки значила больше, чем дюжина советов.

– Хочешь пройти под моим руководством курс молодого бойца? – снова ткнул его кулаком Митяй. – Начнем с расстегивания штанов...

– Иди ты! – в ответ ударил его Василий.

У них и в детстве так бывало: душевная беседа на сеновале или на рыбалке, когда не клевало, заканчивалась потасовкой. Будто волнение, вызванное обсуждением секретной или заумной темы, не находило иного выхода, кроме как в драке.

– Вот вы где! – Под лестницу заглянула медсестра Галя. – Что здесь происходит? Раненые Фролов и Медведев! Немедленно прекратите!

Контуженный и безногий дубасили один другого, катаясь среди мешков с грязным бельем.

– Галя! – радостно воскликнул Василий. – Отстань, пошел вон, – отшвырнул он Митяя. – Найди мои очки! Галя, как хорошо, что вы пришли! Я страшно виноват перед вами, – он поднял руку с просьбой помочь ему встать.

Последний час Галя проплакала, лицо у нее было опухшим, носик покраснел, но держалась она строго – хотя и с трудом, но заставила себя вернуться к служебным обязанностям. Которыми манкировала. Он так сказал. Слово было не ругательным, как объяснила старшая медсестра, означало – «пренебрегать», но все-таки обидным. Галя более не собиралась выказывать лейтенанту Фролову симпатию. Напротив – презрение. Однако помочь инвалиду встать и подать костыли – ее прямой долг. Кроме того... Василий выглядел таким пристыженным, раскаявшимся, лохматым и очень милым.

– Простите меня, Галя! Я дурак, осел, ханжа и лицемер. А вы чудная и прекрасная!

– Громче! – попросил Митяй.

– Заткнись! – бросил ему Василий. – Кстати, это мой брат. Прошу

любить и жаловать. То есть меня любить, а его жаловать. Он отличный парень, и я безумно рад его встретить. Он сказал, что моя мама жива, а я думал, что погибла. Галя, за такое известие я готов отдать вторую ногу. И за ваше прощение тоже. Только как без двух ног на костылях?

– Можно на протезах, – растерянно ответила Галя.

Митяй не расслышал их диалог, но по лицам догадался, что состоялось важное объяснение и что Васятке не долго оставаться девственником.

Митяй расхохотался. Василий погрозил ему костылем. Галя попыталась вернуть строгое выражение лица.

– Как вы спустились с лестницы? – спросила она.

– На брате. Подняться поможете, в смысле – научите? Вверх по лестнице как по прямой? – напомнил Василий.

– Кажется, я тут лишний, – стал выбираться из закутка Митяй.

Колченогий Василий, медсестричка как гвоздями к полу прибитая, разбросанные мешки и очень мало места.

Братья, оба высокие, только Вася худее и стройнее, чем широкий в кости Дмитрий, пригибали головы, а низенькая Галя стояла, вытянув шею, похожая на куколку, наряженную под доктора – в белом халатике и косынке.

– Вас все обыскались, – Галя все еще пыталась сохранить лицо.

– Что? – переспросил Митяй.

– Вы пропустили обед и процедуры! – громко попеняла Галя.

– Ага, – Митяй, наконец, протиснулся. – Обед – это святое.

Он оглянулся: брат и медсестричка стояли в полуметре друг от друга, губы их шевелились, слов он не слышал.

Взял Галю за талию, она ойкнуть не успела, и приставил к Василию. Одну Галину руку положил брату на грудь, а вторую завел за спину.

– Вот так композиция будет лучше, – сказал Митяй.

За спиной девушки вытаращил глаза, беззвучно потряс кулаками в воздухе: не теряйся, братка! И для пущей наглядности вытянул губы трубочкой и почмокал: целуй ее!

Василию его подсказки не требовались.

Сарафанное радио в госпитале работало не хуже, чем в глухой деревне. И вскоре всем стало известно, что у лейтенанта Фролова с сестричкой Галей роман. Подтверждением тому была их подчеркнута официальная манера общения на людях. А еще брат Фролова, контуженный Медведев, частенько охранял по ночам место свиданий под лестницей. Сидел на последнем лестничном пролете, курил или похрапывал,

привалившись к лестничной ограде.

Балагур Лёха, недолголюбивающий гордеца Василия и называвший его «Полторы ноги в очках», говорил, что удобнее шуры-муры крутить в десятом «А», где хранятся запасные матрасы. Но в десятый «А» еще успеть надо: шустрые выздоравливающие, в ожидании своих пассий, забивали там место с вечера. Кроме того, сибиряки, видно, не привыкли в одиночку как на медведя, так и на бабу ходить. Хотя храпящий на лестнице брательник – это полнейшая демаскировка.

Митяй и Васятка вместе находились в госпитале неделю, роман с Галей у Васи длится чуть дольше – десять дней. В облюбованное место под лестницей братья уходили днем, после врачебного обхода, процедур и обеда, когда госпитальные насельники погружались в мертвый час. Если Галя дежурила, то Василий и Митя спускались под лестницу и после ужина. Они не могли наговориться, а общаться прилюдно им не позволяло воспитание: сибиряки не ведут доверительных бесед при чужих ушах, даже если эти беседы не касаются личных обстоятельств. Василий больше не вспоминал о своих терзаниях по поводу присвоения Героя Советского Союза и половой неискушенности. Митяй не делился тем, как тоскует без жены, как мечтает увидеть сына.

Их разговоры были мужскими, не такими, как у женщин, которые поют на один мотив и счастливо сливаются в общем хоре. Братья рассуждали о предметах, далеких от интересов каждого из них. Василий совершенно не разбирался в живописи, но выслушивал Митяя, который рассказывал о художниках, полотнах и новаторской технике письма. Митяй говорил о картинах, теснившихся в его воображении.

– Любопытно будет увидеть то, что ты сейчас описываешь, – подбадривал его Василий. – Для меня все это в новинку. Признаться, я Репина, Серова и прочих реалистов считал вершиной искусства, дальше только отрабатывается шаг на месте, главное, чтобы похоже на натуру было. А ты говоришь – импрессионисты, кубисты? Забавно.

Василий не высказывал сомнений, что Митяй с его трясущимися руками, нервным тиком мышц лица, вызывающих заикание и часто невнятную сумбурную речь, не производит впечатление художника, способного держать кисть и перенести на полотно внутренние образы.

Митя, в свою очередь, относился с тайным недоверием к рассуждениям Васятки о новейшем оружии. Мол, современная война должна вестись по другим законам.

– Урановая бомба, говоришь? – переспрашивал Митяй. –

Шандарахнули и полгорода снесло? Окружили армию противника, самолетик прилетел, бомбочку скинул, и прощайте, мама, армии нет? Похоже на сказки, мечты. Знаешь, как мы под Сталинградом упирались? С завода танки выходили, без боекомплекта, в них даже не танкисты, в них рабочие запрыгивали и перли на фашистов. Главное – боевой дух.

– Никто не отменял боевого духа, – жарко твердил ему в ухо Вася. – Но еще Суворов говорил: «Где меньше войска, там больше храбрых». Времена Суворова канули в Лету, а задачи остались прежними: уничтожить противника при минимальных потерях собственной силы. Ты что, не видел, как солдат в начале войны бросали в бой, точно скот на закланье? Между тем наука – это всегда прогресс, от стиральных машин до вооружения.

– Есть машины, которые вместо баб стирают?

– Есть, не перебивай меня. В войне победит тот, чья наука, фундаментальная и, как следствие, прикладная окажется передовой. Сейчас это американцы, англичане и, возможно, немцы. Если немцы, то по-настоящему страшно.

– Англичане и американцы наши союзники.

– Однако еще перед войной засекретили все исследования по ядерной физике. В конце тридцатых годов была лавина публикаций, а потом как отрезало. Ган и Штрассман в тридцать девятом году обнаружили факт деления урана под действием нейтронов – это частица, не имеющая заряда. У нас в то же время Флёров из ленинградского физтеха открыл спонтанный тип деления урана. Мне повезло встретиться с Георгием Николаевичем Флёровым. Он служит младшим техником-лейтенантом по обслуживанию самолетов. Шлет письма, бьет в набат, в том числе и Сталину написал. Он трезво рассуждает: государство, которое первым сделает урановую бомбу, будет диктовать всему миру условия. Представляешь, если первыми станут немцы? Георгий Николаевич вспомнил меня, вернее, мой доклад на студенческой научной конференции. Доклад был так себе, но я ж всегда вроде мартышки. Самый молодой студент и прочия, прочия. Мы с Флёровым всю ночь на аэродроме проговорили. У него гениальная идея – необходимо, чтобы урановая бомба была быстро вдвинута в ствол, и при первом же шальном нейтроне пойдет цепная реакция, будет нарастать лавина, и бомба взорвется. Надо было взять блокнот, я бы тебе нарисовал.

Митяй вряд ли бы что-то понял даже по рисунку. Его вопрос подтвердил, насколько он далек от ядерной физики:

– Выходит, дело за малым, начинить ураном бомбу?

– Нет, все далеко не просто. Потребуются исследования, испытания – колоссальная работа для нетривиально мыслящих ученых. И они не

должны использоваться на обслуживании самолетов! Эх, не нужно было мне на фронт рваться! Доучился бы, жилы на кулак накрутил, экстерном сдал бы зачеты и экзамены, имел бы диплом. Флёров взял бы меня в команду. У него обязательно получится! У нас есть ученые – глыбы! А в политбюро сидят невежды, кавалеристы с тремя классами церковно-приходской школы. Но ведь Сталин не полный идиот?

Митяй отшатнулся, испуганно округлив глаза. Он, как начинающий художник, испытывал большие сомнения в методе социалистического, классического и прочего реализма. Но для него Ленин и Сталин были абсолютными кумирами, вождями и непререкаемыми авторитетами. По отношению к ним бранные слова были таким же святотатством, как для истовых религиозных сектантов осквернение имени Бога. Митяй твердо знал, что Бога нет, насмехаться над верящими в него не зазорно. Но сомневаться в марксизме-ленинизме?!

Василий, переживший гибель отца (он считал – всех родных), рано повзрослевший, воспитывавшийся в беспартийной некоммунистической семье Фроловых и получавший образование у ссыльных ученых, никакого пиетета к Сталину не испытывал. Фроловы и опальные профессора никогда прямо не выражали презрения вождю, но умному мальчику хватало и намеков.

– Васятка, ты что? – Митяй искренне встревожился, точно брат сообщил о дурной болезни. – В Сталина не веришь?

– Разве можно в него не верить? – Василий говорил с тем выражением лица, которое бывает у взрослых, успокаивающих ребенка, случайно, раньше срока узнавшего, откуда берутся дети. Разве можно сомневаться, что младенцев находят в капусте?

– Ва-а-а-а-а! – заикался Митяй.

– Успокойся! Я верю, что ему достанет ума не угробить окончательно нашу науку.

– И привести нас к Победе!

– И привести к Победе, – безо всякого ерничанья согласился Василий.

Оба подлежали комиссованию: Василий как безногий инвалид, Митяя консилиум признал негодным к воинской службе. Для Васи это был благоприятный исход. Он планировал вернуться к учебе в Московском университете и окончить ее в кратчайшие сроки. Митяя перспектива отбыть в тыл решительно не устраивала. Он нервничал и последствия контузий становились еще заметней. Врачи, вынесшие ему приговор на консилиуме, превратились для Митяя в злыдней и врагов.

– Вот ты сам, сам, – призывал он брата. – Глаза закрой, руки вперед вытяни. Так, правильно. А теперь дотронься указательным пальцем правой руки до кончика носа. Получилось. Теперь левым указательным. Опять попал...

Сам Митяй во время этого упражнения на консилиуме правым пальцем заехал выше лба, а левым за ухо торкнул. Когда его попросили с закрытыми глазами, мелкими шажками пройти несколько метров, он свалился, потеряв равновесие. Еще стучали молоточками под коленками и по прочим суставам, тупым концом скальпеля проводили по ступням, рукам, спине.

Все это была ерунда! Он должен сражаться, он приобрел опыт, до которого зеленым новоиспеченным лейтенантикам еще хлебать и хлебать. Если живы останутся и не угробят команды артиллерийских батарей в первом же бою.

Митяй кипел ненавистью. У него были личные счеты с фашистами.

– Я ведь ничего не знал, – стараясь шептать, рассказывал он брату. – Я ведь их бросил, смотался на фронт. Как пацан, которому в казаков-разбойников поиграть хочется. Жена, ребенок должен появиться... Какой, на хрен, ребенок, когда я еще сам не нагулялся? Мать, отец придурочный, брат... Нет, конечно, патриотизм, защита Родины, плакат «А ты записался добровольцем?» – все это было. У призывных пунктов в Ленинграде толпы клубились, не все же от беременных жен сбегали. Потом курсы ускоренные, фронт... пропустим. Васька, нам не говорили! Нам даже ввали! Я как сейчас помню. Письма уже не приходили из Ленинграда. 23 декабря прошлого, сорок первого года, я это число намертво запомнил, свежая газета «Правда» попадает в руки. Рубрика «Со всех концов СССР». Текст: «В Ленинграде открываются 23 новых пункта по ремонту обуви и 33 пункта по индивидуальному пошиву одежды и белья». Представляешь? Как я мог рассуждать? Если у них открываются пункты по ремонту обуви и пошиву одежды, значит, в Питере все в ажуре. Письма не приходят? Что письма, когда нас швыряет по передовой? И потом моя мать...

– Тетя Марфа?

– Именно. Она ведь кремень! Железо! Я на нее надеялся. Потом, когда увидел... Было переформирование, нас в ближайший тыл направили. Рядом станция, прибыл поезд, как сказали – с блокадниками из Ленинграда. Вася! Погибать буду, а эта картина перед глазами. Зима, мороз градусов под двадцать. Им прямо за насыпью, в поле, крыши брезентовые натянули, котлы водогрейные поставили. Они раздевались, кто-то сам, кому-то помогали – под одним навесом, переводили под другой, где душевые

рожки... Они стояли под струями теплой воды и не двигались... Дико, небывало счастливые лица. Это были не женщины – груди отсутствовали, или мужчины – между ног пусто. Это были скелеты, по пояс в засохшем говне. И детишки... как старички. В цирке лилипутов видел? Потешные. Вроде взрослые, а сами крохотные. А тут... не до смеха. Маленькие человечки с конечностями будто из корявых веток. Моих бойцов икота злостная проняла, и матерились они так, как в бою не случалось. Себя не помню. Один ужас: есть ли у меня ребенок? Жива ли Настя, мать, брат? Пункты по ремонту обуви и пошиву одежды? И с тех пор, Васятка, есть у меня только одна цель – дойти до Берлина и лично перегрызть шею Гитлеру. Живопись – это прекрасно, но это для себя, а за своих ленинградцев я обязан отомстить.

У Митяя по щекам катились слезы, и тремор усилился. Вася заграбастал его, согнул в спине, прижал к своей груди:

– Успокойся, братка! Все хорошо, все живы.

– Кроме отца, – пробубнил Митяй, – и Елены Григорьевны. Мне всегда хотелось нарисовать ее как птичку экзотическую, поющую в клетке. Ее лицо, Настя на мать похожа, а тело птичье, и клювик разверзнутый... поет, хотя никто не понимает ее трелей.

– Еще напишешь. Не раскисай! Обращаю внимание, что ты стал уж больно патетичен, прям как собирательный образ brave воина из пропагандистских газетных статей.

– Как кто? – высвободился из объятий Митяй.

Васе хотелось и следовало бы, казалось, найти слова утешения брату. Но Вася был на фронте почти с начала войны и знал, что для солдата важнее не братский поцелуй, а осязаемый тычок в подреберье.

– Как дед Пихто, – ответил Вася, – или отрок, забывший, что верное целеполагание является залогом успешного исхода боя. Кто здесь артиллерист?

– Я. А про целеполагание некоторые связисты только слышали.

– Критика принимается. Если цель намечена, следует искать пути ее достижения. Твой контуженный мозг способен эти пути вычислить?

– Способен. Надо, чтобы твоя Галя выкрала мои документы.

– То есть?

– Если без документов удеру, меня СМЕРШ при первой же проверке в дезертиры определит. И надо в свою роту, ты понимаешь!

Василий прекрасно понимал: солдаты и офицеры, не долечившись, стремились попасть в свои части. Отчасти поэтому, а не только из-за самоотверженного труда медиков, процент раненых, вернувшихся в строй,

был внушителен.

Война – это мужская работа. В слаженном коллективе, где тебя знают и ты знаешь цену каждому, работать легче. Но если в мирное время наградой за стахановские рекорды в родной бригаде будет денежная премия, то в военную годину – твоя жизнь.

– Хорошо, – легко согласился Василий, – я поговорю с Галей. Это же легче простого – подтолкнуть ее на должностное преступление. Всего лишь десять лет лагерей без права переписки. Не дергайся, я пошутил. Мы еще вернемся к этому разговору. А сейчас, извини, Галя уже дважды заглядывала в наш ароматный будуар. Не пойти ли тебе ужинать? И мою порцайку схорони. А потом...

– Приду, – пообещал Митяй, выбираясь из-под лестницы. – Такие трепетные, без стражи не могут, хотя весь госпиталь знает...

Через два дня Митяй нетерпеливо спросил брата:

– Ты с Галей поговорил? Она согласна?

Василий точно не услышал вопросов:

– Я тут в школьной библиотеке открыл книгу о Суворове и уже тебе его цитировал. Когда голова пухнет от физики, требуется переключение. Лучший отдых от интеллектуального труда в одной сфере – переключение на интеллектуальное развлечение в другой области. Суворов – это глыба, гений безо всяких оговорок. Хочешь, дам почитать?

Митяй замялся:

– Плывут у меня строчки перед глазами. Пока плывут! Что Галя?

– Восхитительна. Но вернемся к Суворову. Всем известно его: легко в учении... воевать не числом, а умением... Но представь, задолго до Достоевского с его слезой ребенка, Суворов изрек: «Вся Земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Каково? И это вещает полководец!

– Я с творчеством Достоевского не знаком, а Суворова, конечно, уважаю, – сквозь зубы проговорил Митяй. – Завтра мои документы с подписями и печатями зашлют, и пиши пропало. Я тебя про Галю спрашиваю. Ты с ней говорил?

– Галя в данном контексте не алгоритм. По поводу тебя я разговаривал с невропатологом Яковом Моисеевичем. Отличный дядька. Митяй, ты знаешь, что в доме нашей бабки Анфисы, во времена их благоденствия, жил доктор Василий Кузьмич, фамилию не помню? Мне мама рассказывала. Она говорила «наш дохтор». Так вот этот дохтор совершенно верно утверждал, что человеческий мозг – главный управляющий наших

сознания и тела. Движение кисти, полет художественной мысли, биение сердца и вдохновение, способность опорожнить кишечник и любить – все это мозг. Если бы меня чертовски не увлекала ядерная физика, я бы занялся физиологией человеческого мозга или даже мозга примитивных организмов, потому что на примере элементарного мы познаем сложное.

– Ты зачем меня в сторону уводишь? Скажи прямо! Ты как с Галей... ну, понимаешь, сошелся. Так изменился!

– Не отрицаю. Опять-таки реакции высшей нервной деятельности, высвобождение загишек и ступоров, прочищение каналов. Но мы сейчас не обо мне говорим.

– И не о Достоевском и Суворове!

– О! Мне нравится твоя реакция. Думаю, Яков Моисеевич не до конца прав в своих пессимистических прогнозах.

– Он меня в полные придурки записал?

– Данный вопрос оставляю без ответа. Митяй! Брат мой! Представь, что сейчас с тобой говорит отец.

– Мой отец? – усмехнулся Митяй. – Гы-гы?

– Нет, – поморщился Вася, ошибившийся с примером, – отец в широком смысле. Даже больше чем отец – известный вождь народов, совершенно великий отец...

– Васятка, ближе к делу!

– Я хочу, чтобы ты мне поверил, – признался Василий, – но не могу придумать персонажа, которому ты бы доверял безоговорочно.

– Говори от себя.

– И ты мне поверишь?

– Я тебя послушаю.

Как уже бывало в минуты волнения, Василий забыл о своей инвалидности, встал, желая сделать несколько шагов. Митяй схватил его за халат и вернул на ящик:

– Куда, Полторы ноги в очках?

– Никак не могу привыкнуть. Она ведь живет, болит, я ее чувствую. Митяй?

– Что?

– У тебя есть мозг.

– Надеюсь.

– Дурак! – вспыхнул Василий и изо всех сил ударил брату кулаком в лоб. Митяй завалился на бок. – Твой мозг трижды контужен! Ты плохо видишь, ни хрена не слышишь, у тебя вся сигнальная система в раздолбай, рефлекс в клочья! А он хочет на передовую! В свою батарею! Там давно

новый командир! Припрещься! Герой! Ты будешь только мешать! Ты погибнешь в первом же бою! Твоя кровь уйдет в землю! По капле! А ты нарисуй, напиши этих блокадников под душем, на морозе! Гитлеру глотку перегрызть нас миллионы.

Митяй отбивался. Обычно он брал верх в потасовке, но тут Васятка, разозлившийся на свою неспособность убедить брата, явно побеждал.

Под лестницу заглянула санитарка и быстро скрылась. Через несколько минут прибежал дежурный врач хирург Иван Егорович.

– Прекратить! – закричал он. – Мало нам десятого «А» с ночными оргиями, так они под лестницей дерутся! Кто здесь? Фролов? А еще Герой Советского Союза! Медведев? Сибиряк? Немедленно встать и поднять своего брата. Повторяю: Медведев поднимает Полторы ноги в очках... простите. И немедленно ко мне в кабинет завуча!

Это точь-в-точь походило на выволочку, которую завуч устраивает нашкодившим хулиганам. Иван Егорович сидел за столом, Фролов и Медведев застыли по стойке «смирно». У братьев даже промелькнула, из школьного детства вынырнула общая мысль: «Только бы родителей в школу не вызвал!»

– Рассказывайте! – потребовал Иван Егорович, обладавший солидным басом. – Кто первым начал и из-за чего драка?

Братья насупленно молчали. Медведев мыском тапка ковырял пол, а Фролов закатил глаза в потолок. Казалось, поднажми еще на мальчишек и они примутся сваливать друг на друга: это он первым начал, нет, он...

Почти так и случилось после грозного оклика: «Я жду!» – Фролов ткнул локтем Медведева в бок:

– Пусть он говорит.

– Лейтенант Медведев!

– Мне нужно на фронт! – выпалил Митяй. – Консилиум ваш неправильно постановил!

– Дальше, – призвал Иван Егорович замолчавшего Митяя.

– Дальше меня брат отговаривал.

– К любопытным аргументам прибегнул, – усмехнулся доктор. – Можете сесть.

Он заговорил о том, что Митяй уже слышал от брата. На фронт из госпиталя отправляют даже толком недолеченных, о полной реабилитации мечтать не приходится. И если уж консилиум выносит решение о комиссовании, то дело серьезное. Еще одна контузия, а у артиллеристов они нередки, даже легкая контузия или сотрясение мозга, и Медведев

превратится в глубокого инвалида – припадочного, которому место только в специнтернате для умственно ущербных.

– Вам ясна перспектива? – спросил доктор.

– Ясна, – ответил Митяй, расслышавший каждое слово, потому что доктор говорил громко и четко. Но упрямого выражения лица не сменил. – Я не согласен! Вы дайте мне документы по-хорошему!

– Тьфу ты! – не сдержал досаду Василий.

– А что будет по-плохому?! – гаркнул Иван Егорович. – Я вам скажу, сопляки! Я вас под трибунал за драку! А, Медведев? И не видать твоему брату звезды Героя! А тебя в штрафбат легко запишут, и жить тебе останется до первого боя. Вот такая альтернатива.

– Альтернатива – это необходимость выбора одной из двух и более взаимоисключающих возможностей, – подал голос Василий.

– Есть вторая, – согласился Иван Егорович, – и уж точно взаимоисключающая. С Фроловым все ясно. А Медведева не комиссуем, направляем в санаторий. Подчеркиваю: не комиссуем, оставляем на усмотрение санаторских врачей. Вдруг они чудо сотворят с твоими ушибленными мозгами.

Митяй растерялся:

– Разве сейчас, когда война, есть санатории?

– Представь себе, есть. Всё! Встать, кругом и марш на выход! А то двойки в четверти за поведение получите.

На доктора, оказывается, тоже действовали школьные декорации.

– Если бы я те-бе, – в такт перестуку костылей, когда они шли по коридору, говорил Василий, – не набил мор-ду, то ты бы хрен в санаторий попал.

– Он набил! – огрызнулся Митяй, все еще переваривающий неожиданное изменение планов. – Я калеке поддался.

Омская область. Село Погорелово

К лету 1942 года ленинградцы выправились, откормились. Марфа впряглась в домашнюю и колхозную работу, Настя научилась готовить в русской печи, доить корову и почти не боялась петухов, гусей и коз. Марфа и тетя Парася посмеивались над ее городской неуклюжестью и часто вспоминали свою свекровь Анфису Ивановну.

В представлении Насти это была оголтелая салтычиха и невыносимая тиранка. Оставалось непонятным, почему в рассказах невесток о ней слышалось любовное почтение. Сами Марфа и тетя Парася были душевны и ласковы с Настей, никак не воплощая науку Анфисы Ивановны, перед памятью которой преклонялись.

Степка сдружился с сельскими пацанами, атаманил, хотя обидное прозвище Доходяга приклеилось к нему навечно.

Бабушка Туся тихо умерла, когда шла посевная. В поле выходили от мала до велика: старики, что еще двигались, и детишки, только научившиеся ходить. Мужиков призывали на войну, бабы надрывались: сибирское лето коротко и воздаст только тем, кто трудится истово. А им приходилось трудиться не только для собственного прокорма, но и для фронта, для Победы.

Почтальон Верка стала заметной фигурой в селе, ее ждали – завернет ли она к твоему дому – с надеждой и страхом, письмо или похоронку доставит. Почтальонше было за пятьдесят, но все равно звалась непочтительно – Верка. Лишь за то, что не унаследовала талантов своей матери, когда-то славившейся портняжным мастерством и носившей почетное прозвище Модистка. У коренных сибиряков, к удивлению Насти, существовал суровый геральдический надзор, словно у столбовых дворян. Они знали, кто из какого рода, и достоинства предков, почему-либо не унаследованные потомками, служили основанием для пренебрежения. Настиному мужу и сыну в этом смысле повезло – они восходили к Туркам, первым, в прошлом веке, еще до отмены крепостного права, переселенцам на берег Иртыша из Тамбовской губернии. Турки славились домовитостью, честно нажитым богатством, «достоинством поведения», и никто из них не посрамился, не был уличен в неблаговидном поступке. Особенную память хранили о дяде Степане – муже тети Параси.

Почтальон Верка не обходила их дом: приходили, в конвертах, письма от отца Насти, фронтовые треугольники от Митяя. Конвертов боялись,

потому что в них доставлялись похоронки. И только Настин папа, очевидно имея запас конвертов, вкладывал в них свои редкие натужно, оптимистические письма.

В мае случилось радостное: нашелся Егорка. Из его короткого сумбурного, без знаков препинания и с ошибками письма ничего не поняли: «Мама не бойсь за миня. Миня ранило лехко в партезанах где я сын полка. Привет всем! Ваш сын Егор Медведев».

Письмо перечитали десятки раз, и главным было, конечно, что мальчишка жив, но обратный адрес отсутствовал. Настя упорно строчила запросы в столичные инстанции – от Приемной Калинина, Государственного комитета обороны, до выдуманных ею – в Штаб партизанской борьбы, в Комитет по сынам полков, в Бюро по поиску беспризорников и прочие инстанции, которых не существовало в природе. Но тетя Парася, очень слабая здоровьем, казалось, жила только надеждой отыскать сына. И каждое послание «на деревню дедушке» слегка подпитывало ее силы.

Веркины повадки знало все село. Свернет к дому, слезет с велосипеда... Если двигается медленно, копается в большой черной сумке, привязанной к багажнику, значит, беда – похоронка. Если с велосипеда резво соскочит, матюгнется на собак, поднявших лай, то хорошее письмо.

– Парася! – завопила Верка, еще не перестав крутить педали. – Парася, тебе письмо! В конверте, но не скорбное! Из самой Москвы!

Было раннее утро, отзавтракав, собирались в поле все, кроме Параси, которая оставалась дома, смотрела за младенцем Илюшей, готовила еду.

Парася, с вытянутыми руками, точно слепая, пошла к калитке, взяла конверт и все продолжала смотреть на Верку, будто та знала содержание послания.

– Палец в уголок просунь, поддень и вскрывай, – командовала Верка, которой самой не терпелось узнать, что в письме. – Да не большим тыркай, а указательным! Осторожно, не порви!

Подошли Марфа с внуком на руках, Степка и Настя – все настороженные и хмурые. Парасю очень любили, она была как свет, пусть слабый: солнечный, эклектический, от керосиновой лампы или от лучины – свет это всегда благодать, тепло, растворение темных страхов и грустных мыслей. Марфа передала ребенка Насте и стала за спиной у Параси.

Конверт, наконец, поддался, Парася вытащила из него листок, прочитала первую строчку и вдруг заголосила пронзительно и тонко:

– А-а-а! Сынка!

Она повалилась навзничь, и не стой за ней Марфа, грохнулась бы на

землю.

Лицо у Параси, обмякшей на руках Марфы, было однако не испуганным, а бездумно счастливым, хоть и перекореженным страданием. У Параси случались невыносимые боли за грудиной – сердечная жаба квакала. Парася обмякала, валилась, где стояла, сквозь зубы неся свист подавленного стоны, а в глазах плескалась просьба простить ее за доставленное беспокойство.

И теперь она, прижав к груди письмо, мелко дышала, умиряя боль, глядя в небо – чистое, голубое, с барашками игривых облаков, с алым отсветом восходящего солнца на горизонте.

Сметливый Степка бросился в дом – за бутылочкой с настоем, изготовленным бабкой Агафьей, еще живой сестрой умершей бабы Туси и крестной тети Параси. Баба Агафья слыла травницей, но была сильно чокнутой, называла всех именами давно сгинувших людей. Хотя ее настои вызывали сильный понос, за ними все равно приходили – врачей не имелось. Степка как-то с пацанами на спор хлебнул настоя для тети Параси. Дрянь страшная! Выплюнул, сделал вид, что блюет неудержимо, а потом притворился, будто стал медведем, и пошел на ребят, растопырив руки, разведя пальцы: «Заломаю!» Едва окрепнув, Степка превратился в главного режиссера проказ сельской ребятни.

Когда тете Парасе становилось плохо, они были готовы на любые действия, любой настой ей в рот влить, только бы не наблюдать безвольно, как мучается прекрасный человек. Против всякой логики, в силу настоя, наваренного умалишенной бабкой Агафьей, верили даже Настя и мать.

– Прими, милая, прими! – приставляла бутылочку к ее губам Марфа. – Не глотай, под язык, а потом выплюни.

Наблюдая общение Марфы и тети Параси, Настя остро им завидовала и сокрушалась – у нее никогда не было сестры. И еще она твердо решила, что у Илюши обязательно должна быть сестра или брат. Она писала об этом Митяю: «Ты обязан выжить! В отсутствии брата или сестры наш сын вырастет избалованным эгоистом, таким как я». Получалось, что они, в Сибири, живут сыто-вольготно, имеют возможность баловать детей, а вовсе не вкалывают от рассвета до заката. Митяй, в свою очередь, описывал фронтовые будни приключениями в духе Фенимора Купера.

– Уйду с этой работы! Нет моей мочи, нервы – в огрызки! – блажила почтальон Верка. – На лесосплав устроюсь!

– Вера Афанасьевна, успокойтесь! – говорила Настя. – Ваша роль в буднях Погорелова наиглавнейшая. Ее замена повлечет у обитателей ситуативный конфуз.

Верка ничего не поняла, но громко икнула от удовольствия – ленинградская барышня помнила, как ее по отчеству. Не зря про Настю бабы судачили: цыплячьего тела, а норова крепкого, говорит смешно, однако ж с достоинством.

Боль за грудиной отпустила, и Парася, еще задыхаясь, плача и радуясь, зашептала:

– Марфинька, сестричка! Васятка мой нашелся!

Каждый день письмо читали и перечитывали, снова и снова, будто на тетрадном листке в клеточку могли появиться новые слова, будто не знали текст наизусть.

Марфа и тетя Парася сидели, положив, как ученицы, локти на стол. Напротив, под окном в закатных сибирских зорях, повернув листок к стеклу, притулилась читающая Настя. На пятом или десятом прочтении осмелели – стали вставлять комментарии.

– «Здравствуйте, мама», – читала Настя.

– На «вы» обращается, – говорила Марфа. – Настоящий, воспитанный сибиряк.

– Дык и потом почтительно, – подхватывала польщенная тетя Парася. – Настя, как там следует?

– «Пишет Вам сын Василий».

– Кровиночка! – всхлипывала тетя Парася.

– Вот он от роду, ты тут Парася не спорь, – хлопала по столу ладонью Марфа, – уступчивый и глазом сочувствующий, в деда Еремея Николаевича.

– Дык я разе спорю? – дергала плечами тетя Парася. – Но уж не только в одного деда.

Настя поднимала глаза: споры между Марфой и тетей Парасей носили забавный характер борьбы хорошего с лучшим.

– У меня тоже батюшка был, – поджимала губы тетя Парася. – Порфирий Евграфович! Первый ударник на кулачных боях. У него зубов не было! Выбили!

– Сама видела? – допытывалась Марфа.

– Мама рассказывала, – признавалась тетя Парася. – Дык что мы про давнее? Настенька, как там дальше?

– «Я безумно виноват перед Вами, потому что не давал о себе знать все эти годы...»

– «Безумно» меня тревожит, – сокрушалась тетя Парася.

– В данном контексте, – поясняла Настя, – «безумно» означает «очень

сильно». Очень сильно виноват.

– А про контекст ты раньше не читала, – насторожилась Марфа.

– Ой! – прихлопнула рот ладошкой тетя Парася.

– Вот письмо, – положила листок на стол Настя, – сами читайте. Грамотные. А я пойду свинье дам.

– Степка даст, – жестом вернула ее на место Марфа. – Ему велено. А забудет – шкуру спущу, здесь не Ленинград город, не Крестовский остров. Как там после «все эти годы»?

– С новой строчки: «Я был уверен, что Вас нет в живых...»

Тетя Парася перекрестилась. На памяти Насти, Марфа, знавшая прорву религиозных текстов, никогда не осеняла себя крестным знамением.

– Отточие.

– Переполнение чувств, – кивнула Марфа, вспомнив объяснение Насти, что многоточие ставят, не находя слов от волнения.

– «Но тем радостнее мне было узнать от Митяя, с которым встретился в тыловом госпитале, – продолжала Настя, – что Вы живы и здоровы. О нашем здоровье не беспокойтесь – у меня небольшое ранение, а у Митяя легкая контузия, его отправляют в санаторий на долечивание». Меня терзают сомнения, – опустила листок Настя. – Разве с легкими ранениями лежат в тыловых госпиталях? Направляют в санаторий? От Мити уже три недели нет писем.

– Не забивай голову тревогами! – решительно сказала ей и Марфе, которая сцепила пальцы так, что побелели, Парася. – Митяй Васятке донес правду ситуации? Донес! Значит в сознании и разговаривающий. Парням, может, еще отпуск дадут.

– Это было бы фантастически великолепно, – размечталась Настя.

– На каждое хотенье имей терпенье. Читай, Настенька, дальше, – попросила тетя Парася.

– «Вероятно, Вам будет интересно узнать, как складывалась моя жизнь все эти годы разлуки»

– Очень интересно! – подтвердила тетя Парася. Она разговаривала с письмом, словно с присутствующим сыном.

– Знамо, – кивнула Марфа.

– «Вместе с Фроловыми я находился в Казахстане. Много учился, занимался со ссыльными преподавателями. В пятнадцать лет окончил школу экстерном...

– Скоропостижно, – прокомментировала Марфа.

– Досрочно, – поправила Настя, – «...и поступил на физический факультет МГУ».

При первом прочтении аббревиатура МГУ вызвала у тети Параси и Марфы недоумение: кака-така мгу? Теперь же они не отказывали себе в удовольствии гордо уточнить:

– Наиглавнейше лучший расейский университет. Настя, скажи!

– Самый престижный вуз, – подтверждала Настя. – Василий безусловно очень способный и талантливый человек. Но, тетя Парася, как вы могли отдать Фроловым сына?

Для Насти добровольное расставание с Илюшей было немыслимо. Она бы голову, сердце, душу дьяволу продала, но не отпустила от себя сына.

– Не отдавала я! Увозом скрали! Ирина Владимировна и Андрей Константинович бездетные, из себя такие благородные и образованные. К Васятке прикипели, все учили его, занимались с ним. А тут мужа Степана арестовали, у меня маленькая Аннушка на руках. Марфа, ты помнишь, я тогда в Омск рванула правду искать?

– Помню. Грудница у тебя случилась страшная, в больницу забрали и всю грудь исполосовали.

– Как вышла из больницы, в коммуну вернулась, она тогда уже колхоз была, но по старой памяти коммуной звали. Фроловых и след простыл, а с ними и моего Васятки. Мужа убили, большака умыкнули – хоть в петлю, да ведь на руках двое деток. И наказ мужнин: дать детям образование. Вот и рассудить: остался бы Васятка в Погорелове, какое МГУ? А Фроловы его в люди вывели. Не знаю я, свечки ли ставить за этих людей, проклинать ли их. Многоточие. Читай, Настенька, дальше.

– «Теперь в моих планах продолжить образование и как можно скорее завершить его...»

– Опять досрочно-скоропостижно, все торопится, – сказала Марфа, – все спешит. А куды?

– Васятке лучше знать, – слегка обиделась тетя Парася.

Настя ее поддержала:

– Тем более, что на его решения мы повлиять не в силах. Читаю дальше: «Хотел бы переслать Вам свой лейтенантский аттестат, но тут возникают проблемы, так как я, признаться, ношу фамилию Фролов».

– Не надо денег, сынок! – замахала руками тетя Парася. – Тебе самому пригодятся! А фамилия? Что анкету портить, коли замарали невинно твоего родного отца.

– «Я хотел бы, – добралась Настя до строчек, которые всегда вызывали у тети Параси слезы, – выразить свою любовь и радость, которые пережил, когда узнал, что Вы живы, и сейчас испытываю. Но, к сожалению, не нахожу слов...»

– Не говори, сыночек, я без слов понимаю, – плакала тетя Парася. – Сохрани тебя Господь! Миленький мой! Кровиночка!

– «Передайте, пожалуйста, мои искренние приветы родным и близким!»

– Передала, – заверила тетя Парася, потрясая ладошкой в воздухе. – Всем передала, порадовались люди добрые моему счастью нежданному и тебе поклоны шлют. – «Крепко обнимаю и целую Вас, мама!» – проговорила тетя Парася последние строчки. – И я тебя, сокол мой ненаглядный, к груди своей многострадальной прижимаю, сердцем своим израненным благословляю...

– Парася! – осадила ее Марфа. – Опять расчувствуешься до припадка!

– Грех, – согласилась тетя Парася, – себяжаление да потешание.

Она взяла протянутое Настей письмо, аккуратно сложила и отнесла за икону, где хранились ее сокровища: из тюрьмы прощальное письмо мужа (на груди в мешочке носила, да истлелось от пота), Егорки-беглеца сумбурное послание и вот теперь письмо Васятки.

Ответ сыну Парася постановила сама писать, хотя Настя предлагала под диктовку. Быстро не ответила – работы было столько, что вечерами падали замертво, только и успевали вырвать минутку снова Васяткино письмо перечитать. А тут дожди зарядили. Ко времени – уже отсеялись колхозники, а для зерна, опущенного в землю, и для трав нарождающихся влага в большую пользу.

Настя, для которой прежде смена времен года означала только смену гардероба, поражалась тому, насколько крестьяне, их труд, зависят от капризов природы. Если собрать воедино чаяния, надежды и молитвы крестьян, то это были бы еженедельные прошения в небесную канцелярию: пошлите ведро (сухую погоду), не нашлите заморозков – мы уже огородину (овощи) высадили, подбавьте влаги, и тепла, тепла, солнышка! Когда Настя, свято верившая в силу науки, заговорила о том, что когда-нибудь люди научатся управлять климатом, на нее посмотрели как на умалишенную. Они верили, что поп с кадилом выйдет в поле и намолит правильную погоду, а в науку не верили!

– Такие люди, как талантливейший Василий, покорят природу! – исчерпав аргументы, воскликнула Настя.

И тут на лицах Марфы и тети Параси появилась некое подобие надежды на несбыточное.

Лил дождь – славный. Небо не облажное, не опустилось на землю грязно-серым, приплюснутым снизу дымом, облачка плывут, нет-нет

солнышко проглянет. Настроение было хорошим – сидели по домам, не отдыхали – спешно выполняли накопившуюся по хозяйству работу.

Чтобы тетя Парася написала письмо, у колхозного бухгалтера одолжились очками.

Она сидела за столом перед листом бумаги из тетрадки в полосочку – большая ценность, подаренная учительницей. Чернильница-непроливайка, ручка с пером, которое тетя Парася долго и придирчиво рассматривала на свет – не прицепились ли волосики.

– Да ты уж, Парася, – не выдержала Марфа, – истомила нас всех! Пусть уж лучше Настя химическим карандашом настрочит.

– Нет, сама! Ну, с Божьей помощью.

Окунула перо в чернильницу, странной гримасой исказила лицо – чтобы дужку очков на носу удерживать. И начала выводить слова.

Через полчаса Настя подошла к тете Парасе, заглянула через плечо, прочитала.

«Здравствуй нинаглядный мой сыночек Васенька! В первых строках шлет тебе привет твоя двоюродная бабка Агафья атакже йё внуки...»

Далее, почти до конца страницы, шло перечисление родственников и свойственников, соседей и односельчан.

– Тетя Парася! – возмутилась Настя. – Вы всю деревню хотите упомянуть? Ведь всего один лист!

– Так положено, девонька, – Парася устало опустила руки. – Марфа, иди посмотри, не забыла ли я кого, не обидела?

Марфа с деловым видом взяла очки, но они ей только мешали, зрение у нее было отличным. Сняла очки, перечитала, подсказала несколько персонажей, которые тетя Парася с удовольствием через запятую внесла в список приветствующих.

– Я не знаю! – мотала головой Настя. – Осталось упомянуть только скотника Юрку. Занятный дядька, юморист. Он нам тоже какая-нибудь родня или свойство?

– Нет, – серьезно, не уловив издевки, ответила Марфа, – Юрка из переселенцев.

Непривычное и напряженное занятие утомило Парасю. Она отложила письмо, дописала его на следующий день. Как могла выразила свою радость и слезно попросила Васеньку разыскать Егорку, скопировав единственную весточку от сбежавшего сына.

Через пять дней пришло письмо от Митяя из санатория – короткое и написанное чужой рукой.

«Здравствуйте, мои дорогие мама, Настенька, Степка и тетя Парася, Аннушка и Илюшенька! За меня вам пишет медсестра, так как в результате контузии пальцы мои пока еще дрожат и выводят неразборчивые каракули. В целом у меня все отлично – живу, оздоравливаюсь на курорте. Думаю, вам Васятка уже написал, как мы встретились в госпитале. Он пока передвигается на костылях, но ему обещали сделать протез ноги. Целую вас крепко, мои родные! Сыночка, персонально, в носик! Ваш Дмитрий Медведев».

Настя в письмах мужу не рассказывала правды. О блокадном голоде написала: «Мы разучились привередничать в еде». Смешно описывала, как привыкает к сельскому быту и как Илюшенька с каждым днем становится крепче, умнее и восхитительнее. Ей казалось естественным не расстраивать воюющего мужа, но почему-то она не допускала, что фронтовики точно так же будут лукавить. И когда ей открылась эта простая истина, накатила ужас.

Всегда подбадривающая других, находившая забавное и смешное в обыденном монотонном тяжелом труде, в поступках и повадках людей, отличавшаяся самоиронией, Настя вдруг проговорила заторможенно:

– У Василия нет ноги. А у Мити... у него оторвало руки.

И завывала, и лихорадочно бросилась собираться в дорогу. Сообразила, что уехать из сибирского села в прифронтовые области нереально. Упала на лавку и разрыдалась в голос.

Словно сделанное открытие пробило заглушку, и хлынули накопленные страдания, подавляемые страхи – ужас блокады, терзания голода, смерть мамы и убийство Петра, оупляющая бесконечная сельская работа и непривычная материнская, не оставлявшие ни минуты для чтения или раздумий, превратившие ее существование в прозябание человекоподобного механизма. То, что свалилось на нее за последние годы, слишком отличалось от беззаботного детства и юности. А теперь еще Митя лишился рук!

Она напугала Илюшу, которого Марфе пришлось взять на руки и мелко трясти, успокаивая, и Аннушку, которая, скуля, залезла под стол, закрыла уши руками. Она очень любила Настю. Парася пыталась утихомирить Настю.

Степка носился по горнице и призывал к действиям:

– Отливать надо! Где ведра? Или из миски? Тетка Катя похоронку получила, отливали!

– Цыть ты! – прикрикнула на него мать. – Настенька, да что ж это с тобой? Да усмирись ты, несчастная.

В дом вошла бабка Агафья. Сняла верхний плат, уселась на табуретку.

Как ни в чем не бывало. Будто вся эта кутерьма – обычное дело. Хотя Марфа и Настя не были замечены в любви к истерикам, плакала изредка только Парася, да и то схоронившись.

– Кто помер? – деловито спросила Агафья Степку.

– Никто не помер! Настя думает, что у Митяя руки оторвало, но это не точно, хотя медсестра писала его словами...

Из Степкиных торопливых и сумбурных объяснений ничего не понял бы и разумный человек, а старая беззубая бабка Агафья была умом чокнутая.

– Скажите им! – требовал Степка. – Отливать надо! Как тетю Катю.

– Не, не надо, – спокойно ответила Агафья. – Она ж по полу не катается. Самовар давно ставили? Я травок духняных принесла, на улице промозгло.

– Он ведь художник! Художник! – можно было разобрать сквозь Настины рыдания.

– Кто художник? – спросила бабка Агафья.

– Муж ее, – от досады топнул Степка, – брат мой, из-за которого убивается.

– Тады надо телехраму отбить.

– Чего? – не понял Степка.

– Щас Сенька Босой в Омск едет, он бы и отбил.

Чокнутая-то, чокнутая бабка Агафья, а неожиданно выдвинула идею.

– Настя! – отдирала ей руки от лица тетя Парася. – Ты слышала, что бабушка Агафья предложила? Мы телеграммы пошлем, во все места, мы выясним. Не убивайся!

Взлохмаченная, с красным опухшим лицом Настя обвела их безумным взглядом, в котором постепенно забрезжило сознание.

– Телеграмму? Начальнику санатория?

– Дык хоть в Кремль, – сказала Марфа.

Степка по-козлиному прыгнул к этажерке, выхватил огрызок бумаги, карандаш, запрыгнул на лавку перед столом:

– Диктуй, Настя!

– погоди, я умоюсь. Ой, как неловко! Простите меня! Илюшенька?

– Затих, в люльку положу, – ответила Марфа.

– Аннушка, – наклонилась Настя и протянула девочке руку, – не бойся, иди сюда, я больше не буду плакать. Здравствуйте, бабушка Агафья!

– И тебе не хворать. Самовар-то поставьте. Я травок духняных принесла, а на улице промозгло, – она забыла, что минуту назад говорила то же самое.

От того, что Настя еще не совсем пришла в себя, и, равно как нетерпеливому Степке, ей хотелось действовать, текст телеграммы начальнику санатория вышел нелепым.

«Срочно сообщите, есть ли у лейтенанта Медведева руки».

Потом Настя вспомнила, что в телеграммах отсутствуют знаки препинания, частицы, союзы и союзные слова. Вычеркнула их.

Получилось: «Срочно сообщите есть лейтенанта Медведева руки».

А время терять было нельзя – Сенька Босой, возможно, уже выехал, придется догонять. А если передавать через почтальоншу Верку, то это три дня задержки.

Марфа, достав деньги, заворачивая купюру в «телеграмму», повела речь о том, что пусть Степка сам сбегает. Не хотела Настю с глаз отпускать после истерики.

Но Настя получила поддержку от бабы Агафьи, которая, наконец, пила чай, шумно прихлебывая, тянула его из блюдца:

– Хай девка проветрится, ей пользительно.

– Я не девка! – натягивала пальто Настя. – Уже вполне молодая баба, сиречь молодуха.

– Калоши не забудь! – ворчала Марфа. – Молодуха!

Бессонной ночью до Насти дошел анекдотический смысл ее «телеграммы». Но страхи не уменьшились. Дневные страхи имеют особенность множиться и разрастаться ночью. Как корпус затонувшего корабля покрывается ракушками, так тревога обрастает убедительными доводами и доказательствами. И еще мучило воспоминание об устроенной истерике. Это было стыдно, недопустимо, безобразно – мама никогда не позволяла себе прилюдных корчей. Мама капризами могла довести Марфу и папу до белого каления, но не опускалась до рыданий и беснования. И в то же время никуда не деться от ощущения какой-то душевной промытости, возникшей сразу после истерики. Словно эмоции – это грязные замасленные волосы. И вдруг у тебя появилась возможность вымыть голову. Чистая голова дарит большее, чем чистое тело, ощущение легкости и свежести. Настя ходила в баню, что в Ленинграде, что в Сибири, раз в неделю, а голову старалась мыть через день.

У Сеньки Босого, как и следовало ожидать, идиотскую телеграмму не приняли. Сенька вернулся в Погорелово через три дня. Настя с почтальоншей на адрес: «Москва. Главпочтамт. До востребования» – уже отправила письмо Василию.

Письмо получилось канцелярским, не сердечным. С длинными

официальными предложениями, которые никак не хотели сокращаться и содержали множество вводных слов, которые, как Насте было прекрасно известно, не вступают в синтаксическую связь с членами предложения.

«Здравствуйте, Василий! Вам пишет Анастасия Медведева, супруга вашего двоюродного брата Дмитрия, с которым вы, счастливым образом, повстречались в госпитале. Полагаю необходимым сообщить вам, что здоровье вашей мамы оставляет желать лучшего, она страдает стенокардией, в просторечье именуемой грудной жабой. Однако ваше письмо возымело благоприятный терапевтический эффект, который, по моим непрофессиональным разумениям, усилился бы, найдись ваш брат Егор. Цель моего письма, возможно, покажется вам нелепой, однако я не могу не спросить вас о том, что меня волнует и тревожит, сколь бы ни были мои опасения, надеюсь, беспочвенны, а также надеюсь, что вы мне ответите прямо и честно. Сохранены ли у Дмитрия руки? Поскольку я знаю, что вы лишились ноги, то нельзя исключать, что и Митя потерял руки, для художника, как вы понимаете, бесценные. Мне нужно быть готовой к увечьям, нанесенным войной мужу, и я настоятельно прошу вас ответить. С уважением, Анастасия Медведева».

Она перечитала написанное и спросила себя: «Это я говорю?» Василий решит, что у Митя дубоумная жена. Пусть! Главное, чтобы ответил.

Ответ пришел не скоро, когда шел первый укос, и травы стремились заготовить, не надеясь на второй укос, так как могли зарядить дожди. Илюша и еще несколько деток под приглядом тети Параси, которая задыхалась, сделав два-три шага, лежал в тенечке, гнус и комарье жалили по-фашистски. Настя и Аннушка граблями ворошили сено – два часа назад скошенную, хорошо под палящим солнцем сохнущую траву. С косой Настя так и не научилась справляться. В отличие от Степки. Марфа была в передовиках, но стреножила Степку, который хотел угнаться за матерью.

– Не части, ирод, не части! – покрикивала Марфа.

Во время перерыва на обед она тихо признавалась тете Парасе:

– Кабы не надорвать парня.

– Ой, Марфинька! – сокрушалась слезливо тетя Парася.

У нее Настя выяснила: для сибирячек, которые с детства тренируют детей в постепенном наращивании трудовых нагрузок, для которых отношение к труду служит основным показателем могущества (читай – достоинства) человека, «надорвать мальчишку», особенно мальчишку, на девочек почему-то страх не распространялся, хотя девочек за безрукость

шпыняли будь здоров, – так вот «надорвать парня», превзойти нагрузку, было величайшим неискупаемым грехом. Он потом всю жизнь инвалидом проколупается.

Настя нечто подобное видела, когда сидела на лавке в углу спортивного зала и наблюдала, как тренеры Митю гоняют. Они в нем видели звезду спорта. Настя скучала: книжка давно прочитана, а тренер все дует и дует в свисток, а Митя все бегают, прыгает, на брусках летает. У него наступает злое исступление, словно он хочет здесь погибнуть назло своему телу, которое отказывается точно выполнить упражнение, назло тренеру и всему миру. И тогда тренер командует отбой, конец тренировки: «Хватит, свободен, не надорвись!»

Ответ Василия был лаконичен. Телеграфный стиль наводил на мысль, что он все-таки принял Настю за вздорную паникершу.

«Здравствуйте, Анастасия! Отвечаю на Ваш вопрос: руки у Митя на месте, не пострадали. Передайте маме, что Егора я пытаюсь разыскать. Высылаю Вам вырезку из «Красной звезды». В статье наши так называемые подвиги сильно преувеличены, однако фото, думаю, Вам будет не безынтересно. С уважением, Василий!»

Газетная заметка называлась «Герои братья-сибиряки» и произвела в селе фурор, а в Омске вызвала волнение. Отдел пропаганды обкома прошляпил заметку, так как в ней не уточнялось, откуда именно братья родом, а Сибирь большая. «Красная звезда» месячной давности тут же стала библиографической редкостью, пока областная газета «Омская правда» не перепечатала статью. На комсомольских и партийных собраниях промышленных и сельхозпредприятий обсуждение статьи шло отдельным пунктом повестки дня, в честь ратных подвигов земляков брались повышенные обязательства. Ради Победы люди работали на износ, подгонять не приходилось, но им все-таки требовались не только общие лозунги и призывы, но и примеры того, что за тысячи километров от Сибири земляки совершают ратные подвиги.

Настя и тетя Парася с вырезкой из «Красной звезды» расставаться не хотели. В правлении колхоза, в школе рядом с «Доской почета лучших учеников» повесили в рамке перепечатку из «Омской правды».

На Медведевых обрушилась слава – к ним приехала корреспондентка, чтобы описать детские и юношеские годы земляков-героев. Марфа и Парася, подхватив детей, тут же скрылись со двора. Отдаться пришлось Насе.

Корреспондентка, Нина Михайловна, была пожилой женщиной, грузной, отдышливой, пучеглазой, похожей на Крупскую. В Сибири таких называли – вытараска.

Настя ей честно призналась:

– В биографии Василия и Дмитрия есть сложности. Оба – внуки раскулаченных. Василий носит другую фамилию, но он сын знаменитого в этих краях репрессированного и расстрелянного врага народа Степана Еремеевича Медведева.

– Ничего, – успокоила Нина Михайловна, – у любого достойного человека, едва копни, обнаружатся либо дворянские корни, либо кулацкие, либо вообще для монументальности образа лучше бы он сиротой оказался. Я привыкла, скользкие моменты сумею обойти.

Скользкие моменты в ее статье были заретушированы с помощью расплывчатого выражения «волею судеб». Волею судеб Василий оказался в Казахстане, а Дмитрий в Ленинграде. Но дальше в большой статье с явным перегрузом эпитетов и метафор все было правдой. Василий безумно одаренный, владеет несколькими языками, в пятнадцать лет поступил в МГУ. Дмитрий – атлет, спортсмен и талантливый художник. Оба ушли на фронт добровольцами, как только враг напал на родную землю.

Страна четверть века жила, дышала, восхищалась героями. Народолюбцы, подпольщики, борцы с самодержавием, революционеры, командармы Гражданской войны, стахановцы, папанинцы, челюскинцы, тимуровцы, герои кинематографических художественных лент. Им поклонялись, с них брали пример, они внушали веру в светлое будущее и надежду в собственное приближение к совершенству. Война требовала новых героев. И уже были прославлены подвиги Зои Космодемьянской, Гастелло, панфиловцев. Но для сибиряков, отличавшихся особой гордостью, всегда было важно выделиться в сравнении с «расейскими», тем более в ратном деле. Поэтому ничего не подозревавшие Васятка и Митяй превратились в сибирских богатырей. Нонешных.

Василий-то, когда корреспондент «Красной звезды» по его душу прибыл в госпиталь, решительно отказался от всяких интервью.

Потребовалось вмешательство начальника госпиталя, его волевое:

– Лейтенант, отсутствие части ноги не позволяет вам не исполнять приказы полковника... хоть и медицинской службы! Я вам велю, в смысле приказываю, провести беседу с корреспондентом! Мальчик, – сбавил он тон и отечески зашептал: – Сегодня про вас заметку напишут, а завтра

протез вне очереди сделают.

Василий смирился, но потребовал, чтобы его допрашивали, в смысле – интервьюировали на фоне, в смысле – заодно с братом, который в десять раз больший герой.

– Братья! Сибиряки! Интересный поворот темы, – воодушевился корреспондент.

Для постановочного снимка он потребовал переодеть братьев в военную форму и дать им автоматы, коих в госпитале не имелось, взяли муляжи из кабинета военной подготовки.

Не привыкшие позировать, в одежде с чужого плеча, с детскими пугалками в руках, Василий и Митяй чувствовали себя ряжеными крестинами, злились. Но на фото их негодование почему-то смотрелось как бравое мужество.

Настя верно предчувствовала, что ни Василию, ни Мите шумиха вокруг их имен не понравится, что статья в областной газете, в которой они «волею судеб» выковали из себя «талантов науки и живописного творчества» в лучшем случае рассмешит их.

– Но, с другой стороны, – говорила Настя, – когда бы еще нам по распоряжению из Омска: «оказать возможное содействие семье героических героев» – починили бы протекающую крышу?

– Пять кило муки, отрез мануфактуры и две пары кирзовых сапог, – напомнила Марфа.

– Гулливерские сапоги. Невероятного размера, наверное, пятидесятого, – смешно округляла глаза Настя.

– Сибирского, – не улавливала юмора Марфа и рассуждала: – Мне в мысок газет набить да три толстых шерстяных носка, Митяю сгодятся с двумя носками, а лучше-ка я, – мечтала, – найду минутку и сваляю ему из овечьей шерсти чюню – вкладыш в сапог.

Митяя ждали. Он прислал письмо – каракули на пляшущих строчках – лично написанное, краткое. Лечение в санатории ему не помогло. После контузий случаются приступы эпилепсии, комиссуют подчистую. «Ждите, скоро приеду».

Настя, вне себя от радости, кружилась на месте, восклицала:

– Приедет, приедет! Эпилепсия – ерунда! У Достоевского тоже была эпилепсия. А он гений! Митя – тоже гений!

– Глянь, точно Нюраня, – сказала Парася Марфе. – Нюраня, помнишь, по горнице скакала, только дай повод пятками посверкать.

– Молодость, – кивнула Марфа, которой не позволял пуститься в пляс

возраст.

– Достоевский – это кто? – спросила Парася.

– Дык я знаю? Но, видать, не последний человек, коль с моим сынкой
равности удосуужился.

Курск. Оккупация

Нюрания знала свой характер: горячий и взрывной. Однако считала, что годы притворства, когда скрывала свое происхождение, жизнь с постылым мужем изменили ее натуру, ведь столько раз приходилось брать волю в кулак, молчать, притворяться, идти на поводу, давить в себе бунт, совершать сделки с совестью.

Она перевоспиталась.

Ее не шокируют виселицы на улицах с качающимися трупами – повешенные немцами в центре города не успевшие отойти курские ополченцы и заложники, мирные жители. Всех поголовно мужчин согнали в район Дальних парков, в трамвайное депо, в кинотеатр имени Щепкина, в пустующие дома. Они там содержатся в дикой тесноте, стоя. Чтобы не вываливались, двери снаружи подпираются досками. Вроде бы их начали фильтровать: тех, кто имеет специальность или физически крепок – на восстановление железнодорожного узла, коммунистов и евреев – на расстрел. Говорят, можно выкупить мужика под расписку, поручительство: доказать, что он твой родственник, внести плату, одна марка равняется десяти советским рублям. Более сотни молодых женщин и девушек приволокли на врачебную комиссию: отбирать в солдатский и офицерский бордели. Крик и плачь стоял такой, что нескольких расстреляли – для тишины.

В курском роддоме, где трудилась Нюрания, оттяпали большую часть здания, ей оставили две палаты и часть коридора. Ладно! Орут за стеной пьяные фрицы, делят награбленное в домах – ладно! Но когда два плохо стоящих на ногах, молоденьких немецких врача заявили к ней, чтобы попрактиковаться на операции кесарева сечения... Ведь убили женщину и младенца!

Терпение Нюрании лопнуло.

Она не бросилась на извергов, не выхватила у них скальпель и не исполосовала их поганые рожи. Она молча вышла из палаты, превращенной садистами в операционную. Сняла белый халат и надела пальто, переобулась в туфли. Вышла из роддома и двинулась решительным шагом, ничего не замечая, внутренне полыхая и внешне заморозившись – к тому, кто имел власть и был обязан по врачебной этике и по произнесенной клятве лечить, а не убивать.

В Курске был расквартирован 48-й танковый корпус немецкой армии.

Начальник медицинской службы – генерал-майор Пауль Керн, надзиравший за лечебными учреждениями оккупированной территории.

В его приемную и вошла Нюраня. Которой страстно хотелось иметь в руках автомат, расстрелять к чертовой матери всех этих толпившихся в приемной немцев в форме жабьего цвета, а заодно и штатских пожухлого просительного вида. А потом разрыдаться – вволю, до икоты. Плакать или показывать слабость было никак нельзя.

– Доктор Пирогова, – представилась он немецкому офицеру, вычислив в нем адъютанта. – К герру Паулю Керну. Срочно. Тут есть переводчик?

От Нюрани, вероятно, исходили волны такой свирепой мощи, что вся мужская братия в приемной сначала онемела, а потом засуетилась. Адъютант подскочил, что-то проквакал, протянул руки – предложил снять пальто. Нюраня позволила.

Следом приблизился мужичонка в штатском:

– Вегеман. Глава местной гражданской комендатуры.

Нюраня о нем слышала: до войны Вегеман, гнида, преподавал немецкий язык в педагогическом институте.

– Переведете, что я скажу! – не попросила, а приказала она, направляясь к двери в кабинет Керна.

Никто не посмел ее остановить, а Вегеман подобострастно частил:

– Вы супруга Емельяна Афанасьевича? Мы с ним в постоянном контакте.

Пауль Керн сидел за столом, читал бумаги. Нюраня подошла вплотную к столу и уставилась на него. Горло перехватило, не могла говорить.

Несколько секунд неловкого молчания, которое Вегеман не выдержал и принялся, как поняла Нюраня, представлять ее:

– Фрау Пирогова, супруга господина Пирогова.

– Врач курского роддома! – подсказала Нюраня.

Вегеман перевел.

Пауль Керн встал из-за стола. С галантностью мужчины, перед которым появилась дама, и после паузы, намекавшей, что дама эта не его аристократического круга.

Холеный, чистенький, слово облитый той академической рафинированностью, которая бывает у лабораторных ученых и напрочь отсутствует у полевых врачей, день и ночь имеющих дело с грязными ранеными, с развороченными животами и раздробленными конечностями.

Нюраня заговорила. Четко излагала факты, не давала оценок и характеристик поведению пьяных немецких врачей. Вегеман спотыкался на медицинских терминах, когда Нюраня описывала каждое их вопиюще

непрофессиональное действие во время «операции».

Вегеман мог бы не стараться, а Нюраня не переживать, что он плохо переведет – генерал-майор не слушал, пропускал мимо ушей. Он рассматривал Нюраню и явно любовался ею. Так любят кобылами на лошадиной ярмарке.

– Коллега! – закончила Нюраня. – Вы должны принять меры!

– Коллега? – переспросил Керн. – О, натюрлих!

Это она поняла без перевода. А дальнейшая речь немецкого врача не имела никакого отношения к ее жалобе. Пауль Керн говорил, что она-де очень красива, почти настоящая арийка. Очень редко среди славян и прочих второсортных наций встречаются выдающиеся образцы физического совершенства.

– Зубы показать? – вырвалось у Нюрани.

Вегеман испуганно крикнул.

– Спросите у него, что насчет нашего роддома!

Вегеман перевел.

Керн равнодушно пожал плечами. Словно его спрашивали не о беспомощных роженицах, а о диких мышках, негодных для проведения опытов. Ученых интересуют только чистые линии лабораторных мышей.

Наверное, в других обстоятельствах этот мужчина мог бы покорить Нюраню. Рожденный и воспитанный в каком-нибудь германском замке, окруженный няньками в накрахмаленных чепцах, гувернантками, закованными в черное и с пенсне на носу, прекрасно знавший античную литературу и живопись Ренессанса. А она, деревенщина, как-то опростоволосилась, назвав Одиссея автором «Илиады». Она всегда испытывала слабость перед теми, кому выпало в детстве нежиться на перинах, музицировать, брать уроки живописи, танцев, хороших манер, заниматься с персональными учителями, легко поступать в гимназии и университеты.

Но теперь весь завидный багаж фашистского доктора только подчеркивал его мерзость, а сам он заслуживал одного слова: «Сволочь!» – хорошо, что Нюраня только подумала, вслух не произнесла.

– Ауфвидерзеен, герр доктор!

Если он и услышал клокочущее презрение в последнем слове, то виду не подал.

– Ауфвидерзеен, коллега!

Нюране очень повезло. Везение – это когда твой заранее обреченный на провал поступок не имеет последствий, прямо противоположных тем,

которых добивался.

Их всего лишь окончательно выгнали из здания роддома, а Нюраню всего лишь не постигла участь врачей из Краснопольской психиатрической больницы.

Там находилось полторы тысячи душевнобольных, триста пациентов уже умерли от голода. К «гуманисту» Керну пришли за помощью, за выделением продовольствия. Керн сказал, что психически больные люди не представляют ценности для общества и, как балласт, подлежат уничтожению.

– Мертвым продовольствие не требуется, – подытожил этот генерал от фашистской медицины.

И обязал самих врачей уничтожать пациентов, предварительно затребовав список больных и медперсонала. Пациентов травили опиумом и концентрированным хлоргидратом – обезболивающим, успокаивающим, снотворным средством, обладающим наркотическими свойствами, в больших количествах оно вызывает остановку дыхания и паралич сердца. Керн не поленился узнать, каких препаратов в достатке в больничной аптеке. Он приказал убить «гуманно»! Врачей и медсестер, отказавшихся выполнять приказ, ждала участь пациентов. Мертвых или еще живых, но одурманенных людей грузили на телеги и свозили к бомбоубежищу, сбрасывали, а когда уже не влезало, вываливали рядом. Их потом одичалые собаки грызли и растаскивали.

Все это рассказала Нюране медсестра Оля Соколова, сбежавшая из Краснопольской больницы.

Два года назад у Нюрани была пациентка: четверо детей, пятые роды, как по нотам легкие. Но у женщины случилась послеродовая депрессия, перешедшая в острый психоз. У той женщины мужа арестовали, и она в перспективе оставалась одна-одинешенька с пятью детьми мал мала меньше. Нюраня сама отвезла женщину в Краснопольскую больницу, передала с рук на руки Оле Соколовой. И лично убедилась в том, о чем раньше только слышала. В психиатрических лечебницах работают люди совершенно особого склада. Не все, но многие. Они как святые – испытывают жалость, сострадание и участие к ментально убогим. Нюраня бы так не смогла... то есть какое-то время... но изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом – тупые лица безумцев с вытекающей изо рта слюной.

Нюраня на своей кухне отпаивала чаем Олю Соколову и то ли девушку успокаивала, то ли себя убеждала:

– Это война! На нашу землю пришел враг. Не важно, какие у него лычки на погонах, танкист он или медик. Он – враг! Он хочет нас уничтожить. Мы можем поддаться, смириться, поднять руки или сражаться.

– Как сражаться-то, Анна Еремеевна?

– Не знаю пока. Но мы с тобой обязательно придумаем.

Фашисты в первую очередь расстреливали коммунистов и чекистов. Емельян Афанасьевич Пирогов, муж Нюрани, был членом партии и работал в НКВД, хотя и не оперативником, а завхозом. Немцы его не расстреляли, напротив, пригнали. Нюране оставалось только догадываться, каким образом Емельян сумел втереться оккупантам в доверие. Он всегда трепетал перед властью – любой, и служил ей с обожанием, граничащим с экстазом – как дурная собака, что лижет сапоги каждого человека, способного дать ей пинка или побаловать косточкой.

Немцы создали три органа городского управления: полицию, которая должна была следить за порядком, а по сути – находить и карать коммунистов, подпольщиков, евреев; комендатуру, занимавшуюся изъятием материальных ценностей и продовольствия для немецкой армии; городскую управу, призванную следить за коммуникациями – водопроводом, электричеством, организовывать уборку улиц (в местах дислокации немцев). Емельян формально служил в городской управе, но в основном занимался изъятием ценностей, руководя отрядом полицаев. То есть он шустрит между тремя конторами, отлично помня, кто главный хозяин, перед кем надо выказывать рвение – немцы.

Как и в довоенное время, Емельян все тащил в дом. По улицам ходили люди, опухшие от голода, а семья Емельяна Пирогова трескала пшеничные караваи, сочившиеся жиром колбасы и свиные окорока. Благо муж в его вечном стремлении переть и переть жратву в дом не мог скудным своим умишком раскинуть: продовольствие давно бы стухло, не исчезай оно загадочным образом. Нюраня отдавала продукты Оле Соколовой, числившейся в единственной оставшейся городской больнице на расплывчатой должности патронажной сестры.

Оля поклялась, что никому не расскажет, откуда масло, крупы, мука, тушенка и колбасы. Нюраня взяла с нее клятву вовсе не из благородного желания скрыть свою помощь. Если бы прошел слух, ниточки протянулись бы к Емельяну, и он первым бы отправил Олю в гестапо.

Емельян много пил – вечером, дома. Хмелел он быстро, превращался в разговорчивого бахвала. Нюране приходилось слушать. Она вязала на

спицах. Вспомнила свое сибирское детство, уроки мамы и Марфы.

На подворье Пироговых было три сарая под крышу забитых всяким барахлом, а Емельян все тащил. Как-то припер громадный мешок с крашеной пряжей и ровницей. Нюрания, выйдя на улицу, смотрела, как муж пытается запихнуть мешок в сарай.

– Оставь, – сказала она. – Занеси в дом. Я тебе носочки и кофту свяжу.

Емельян обрадовался: жена обычно смотрела с равнодушным презрением на его хозяйское рвение.

В тот день Оля достала подводу, чтобы отвезти продукты в детский дом. Нюрания подчистила кладовку так, что даже бестолковый Емельян увидел бы в ней оскудение. Мужа следовало ублажить. Он напьется, а потом ублажить. Чтобы не вздумал в кладовку заглядывать.

Вязание неожиданно увлекло, точнее – отвлекало. Емельян, развалившись в кресле, трындел, а Нюрания, позвякивая спицами, мысленно считала петли. Он водкой глушил страх – чувствовал ненадежность немецкой власти, а перед советской Емельян был предателем.

Он пьяной болтовней уговаривал свой страх:

– Немцы – это порядок! Это культура! Газета «Курские известия» выходит. Работают два кинотеатра. Концерты пианистские опять-таки...

«Курские известия» печатали статьи, утверждавшие, что советское правительство удрало за Урал, что СССР сдался великой Германии. Однако жителям Курска подходить к вокзалу было запрещено. На запад, в Германию, гнали поезда с реквизированным зерном, скотом, с металлоломом, с русскими девушками, призванными трудиться на неметчине. Противоположно, на восток отбивали дробь военные эшелоны с немецкой техникой и солдатами. Если победили, то чего ж день и ночь, туды и сюды мельтешите?

В кинотеатре «Новый мир» демонстрировали ролики о победах вермахта и по-настоящему страшные, многоликие и многочленистые марши гитлерюгенда (юношей), союза немецких девушек и марши точно оживших бездумных манекенов – солдат вермахта. После роликов показывали мелодраматические художественные фильмы, не дублированные, суфлер едва успевал за действием.

Во втором кинотеатре – «Виктория» – показывали то же самое, но только для высшей расы, для немцев. Вход даже прикормленной местной верхушке был заказан. Истинные арийцы не смотрят кино в одном зале с вонючими славянами.

Фортепианные концерты были. «Пианистские», как их обозвал

Емельян. Играл замечательный виртуоз Михаил Брандорф. Он чудом спасся – выбрался после расстрела евреев из-под трупов в овраге. Приполз к Николаю Ивановичу Андриевскому, директору музыкального училища. Андриевского Нюраня знала, принимала роды у жены Николая Ивановича.

Ей было неизвестно, как ведут себя мужики на поле боя, но по тому, как они держатся при тяжелых родах любимой жены, вполне можно составить представление. Трусят, расплываются и утекают под плинтус. Очень трусят, но напрягаются, кажется – коснись и током ударят. При этом умудряются всем внушить: я здесь, я сильный, под моим присмотром с вами не произойдет ничего страшного, каждый делает свое дело (жена рожает, доктор Пирогова принимает ребенка), а я с вами. Именно так вел себя Андриевский. Когда же Нюраня вышла в коридор и сказала Николаю Ивановичу, что у него родился сын рекордного веса под четыре килограмма, что роженица в норме, хотя подштопать придется. Он расслабился и сделал попытку уплыть под плинтус. Однако спросил: «Могу ли я быть полезен?» Нюраня отпустила его домой отдыхать. Николай Иванович настолько измучился от волнения и необходимости сохранять присутствие духа, что даже не нашел сил бурно радоваться.

Нюраня не верила, что Андриевский, зарегистрировавший в фашистской управе музыкальное училище, стелется перед немцами, ублажает их слух произведениями Вагнера и Моцарта из-за трусливого лизоблюдства.

Вездесущая Оля подтвердила: Андриевский выписывает справки молодым ребятам направо и налево, будто они студенты музучилища, чтоб в Германию не угнали. А про Брандорфа уже поползли слухи, что еврей. Гадские немцы как «фотрфьяно» слушать, так в восторге, а как еврей, так в расход. Оля уже тропку наладила, с брянскими партизанами есть связь, надо музыканта умыкать. Кабы Анна Еремеевна помогла документами...

Она помогла. Стырила из кармана мужа аусвайсы – немецкие свидетельства личности с печатями, только вписывай на второй сверху строчке фамилию и имя. В кармане шинели мужа аусвайсов была целая стопка, Емельян одаривал ими тех, кто показывал богатые дома и еврейские схроны.

– Меня ценят! – в пьяном угаре раздувался Емельян. – Сам генерал фон Дитфурт объявил мне благодарность!

Емельян показал фашистам подвал, где были замурованы полотна из картинной галереи, которые не успели эвакуировать в Уфу.

Картины выносили на улицу, фон Дитфурт тонкой тростью указывал

на те, что забирает. Остальные сваливали на землю у забора. Их потом, сколько уместилось на телегу, Емельян привез домой и затащил на чердак, авось пригодятся.

Вряд ли немецкий генерал выразил благодарность Емельяну словами или пожал руку. Самое большее – похлопал тросточкой по плечу. Емельян – холоп на иерархической лестнице. В представлении фон Дитфурта, Емельян стоит ниже породистых лошади или собаки. Высшее счастье холопа – угодить хозяину.

Нюрания слышала в юности рассказы о зверствах колчаковцев и красноармейцев, о кровавом подавлении Сибирского и Тамбовского восстаний, она видела коллективизацию в Курской области, однажды в их больничку привезли умирающего красноармейского командира. Сбежавшие с этапа кулаки вспороли ему живот, насыпали зерна и оставили записку: «Жри! Вот тебе колхоз и расверска».

Как бы страшно ни звучало, но война предполагает убийство, крайнюю жестокость, ослепление ненавистью и попрание человечности. И в этом смысле зверства фашистов не оправданы, но вписываются в сценарий войны с ее четким разделением: свой – чужой, враг – союзник. Пусть куряне для фашистов враги. Захваченные, подавленные, униженные, но враги, которых следует ненавидеть. Только немцы их не ненавидели, даже не презирали. Они относились к завоеванному народу как к недочеловекам, двуногим животным, как к скоту. Пасутся стада одомашненных животных – факт реальности, и скот в определенных количествах полезен. То, что неарийцы тоже люди, с их страстями, любовью к детям, заботой о стариках, с их литературой, музыкой, архитектурой, промышленностью, освоением новых земель, научными открытиями, с их правом жить на этой планете, – немцам не приходило в голову. Среди скота есть брак: гнилые породы, например, цыгане; быстро размножающиеся и несущие вредные болезни – евреи. Те и другие должны скрупулезно уничтожаться, чтобы стадо сохраняло аккуратность.

Если бы не собственный Нюранин опыт общения с немецкими офицерами и не рассказы верных людей, она бы не поверила, что такое может случиться, что великая нация германцев превратится в одурманенных мировым господством палачей.

Нюрания ежевечерне вязала вещь за вещь: носки, кофты, пинетки младенцам, шерстяные чулки. Емельян не замечал, что иногда перезвон спиц становится лихорадочнее, что жена вдруг чертыхнется, распустит связанное, зло дергая за нить, потом вставляет спицы в пустые петли. Он сидел в кресле, пил и разглагольствовал. Он, в своих речах постоянно

повторяющихся, был умен, хитер, изворотлив. Этой гордячке, его жене, что сидит напротив и носочки вяжет, отчаянно с ним повезло. Она у него на коротком поводке!

Самым страшным для Нюрани было даже не открытие, что какой-то народ тебя, представителя другого народа, считает скотом. Немцы не марали ручек, для управления стадом животных они из самого стада выбирали пастухов – холопов. И были такие, как ее муж, про которых много лет назад сказал Некрасов: «Люди холопского звания сущие псы иногда – чем тяжелей наказание, тем им милей господа».

Чтобы защититься от бахвальства мужа, Нюрания столько передумала-перемыслила, сколько за всю предыдущую жизнь не случилось. Она всегда торопилась, вечно не хватало времени, а тут оно остановилось – шмякнулось в комнату, где сидит пьяный Емельян в кресле, а она напротив его, с вязанием в руках.

Вечер заканчивался тем, что самохвалебные речи мужа переходили в бормотание, потом он ронял голову на грудь, через минуту раздавался булькающий храп.

– Помочь, Анна Еремеевна? – входила в комнату Ревекка, переименованная в Раю.

– Помоги, Рая. Ты за ноги, я под плечи – несем.

– Давайте здесь разденем, он опять обмочился, испачкаем постель.

– Тогда сваливаем на пол, если тебя не шокирует вид...

– Совершенно не шокирует, – говорила Рая, расстегивая ширинку, стаскивая брюки с Емельяна. – Я три года ухаживала за парализованным дедушкой Яковом.

– Который дирижером был?

– Великолепным!

– Если человека, – рассуждала Нюрания, наблюдая за тем, как Рая переодевает Емельяна в чистые кальсоны, – не шокирует неприглядный вид человеческой плоти, то из него может получиться медик.

– Замечательная специальность! Но я мечтаю стать музыковедом. Исполнитель из меня средненький, а зачаточные способности раскрыть, описать словесно то или иное исполнение присутствуют, как и жажда этим заняться.

В обстоятельствах Раи мечтать о музыковедении было все равно, что тонущему в безлюдной болотной трясине человеку рассуждать о банкете, на котором он хотел бы присутствовать.

– Красота! – обозревала Рая результат своих трудов – обряженного в чистое исподнее Емельяна. – Теперь несем? Вы в голове, я в ногах.

Емельян держал Нюраню на коротком поводке. Поводок назывался Рая и ее сын Миша.

– По твоей милости, – говорил Емельян, – укрываем жидовку с жиденьшем.

Нюраня молча соглашалась, терпела, вязала кофты и пинетки, но прекрасно знала, что чувство Емельяна к ней потеряло прежнюю остроту, этот холоп на фоне пьянства и к ее радости, утратил силу похоти. Однако у него оставалась священная любовь – дочь Кларочка. И так случилось, что Кларочка привязалась к Рае, которая ее учила рисовать, читать, нотной грамоте, играть на пианино или просто дурачиться, наряжаться, плясать по граммофон. Нюраня ничего этого не умела, и ее связь с дочерью закончилась, когда Клару отняла от груди, потом были няньки, няньки и няньки. Теперь, выполняя всю работу по дому, Нюраня, безусловно ревнуя Раю к дочери и так же безусловно сознавая собственную неспособность заниматься с Кларой так, как это делает Рая, отмечала странное. Клара, в отличие от большинства девочек... да что там большинства! От всех нормальных девочек! Не испытывает никакого интереса к младенцу Мише. Девочки ведь играют в куклы и обожают живых кукол – маленьких детей. Они, конечно, не могут возиться с ними часами, устают, начинают скучать. Но несколько минут побыть в роли настоящей мамы! Это же безумно интересно и приятно!

Клара в присутствии Раи и матери изображала некое подобие любви к маленькому Мише. Ее притворство било в глаза – пятилетняя девочка, даже с задатками великой актрисы, не способна задурить мозги взрослым своей игрой. Нюраня и Рая видели спектакль, но не обсуждали его.

Нюраня не рассказала, что однажды, когда Рая перебирала картошку в подвале, Миша заплакал – мощно, требовательно и громко, как плачут имеющие право на кормления мужики-младенцы. А потом вдруг заткнулся. Нюраня удивилась и поспешила в их комнату.

Клара забивала комки газеты младенцу в рот. Рвала газету, комкала и отправляла в рот, трамбуя указательным пальцем.

Нюраня заехала дочери в ухо, и та отлетела, скуля, в угол. Нюраня отчистила рот Миши, подняла его, держала за ноги, головой вниз и хлопала по спине – вдруг в дыхательные пути ошметки газеты попали.

Убедившись, что младенец не пострадал, положила его на кровать. Переживший нехватку воздуха, а затем странные теловращения Миша не вопил, а обиженно вякал, точно осмысливая происшедшее.

Нюраня повернулась к дочери – зверьку, забившемуся в угол. Хотелось

действовать так, как действовала бы мать, Анфиса Ивановна. Схватила бы девку за шкурку да лупила бы ее башкой по стенкам: «Что ж ты, сволочь окаянная, учинить вздумала? В тебя самую напихать газетов, шоб знала!» И в то же время хотелось поступить так, как сделали бы Марфа и Парася: подхватили бы девочку, прижали к груди с причитаниями: «Доченька моя милая, ды какая тебя нелегкая подвигнула, да не захворала ль ты у меня, миленькая...»

Нюраня не успела выбрать стиль поведения, только протянула руку дочери, на которую та уставилась как на змею и завопила:

– Папа! Папа!

– Клара, успокойся! Мы сейчас все с тобой обсудим.

– Рая! Где Рая? Не хочу тебя! Рая!

Она колотила пятками по полу и мотала головой из стороны в сторону.

– Что случилось? У кого случилось? – влетела в комнату Рая. – Кто-то опять по-большому наделал в штанишки? Кларочка?

Нюранина дочь подскочила к Рае, обхватила за ноги, задрала голову, помотала ею:

– Я не накакала снова опять.

– Умница! – восхитилась Рая. – Вы мне скажите! Нет, вы мне лично покажите того человека, который видел другую девочку, которая бы отказалась от удовольствия наделать в штаны!

У Клары была проблема: писать научилась проситься в пять месяцев от роду, а по-большому до сих пор упорно и с удовольствием делала в штанишки.

Нюраня почувствовала себя лишней и вышла из комнаты.

Когда отец приходил домой, Клара неслась к нему по коридору, запрыгивала на грудь:

– Папка! Папочка!

– Донечка! Моя донечка! – жмурился от счастья Емельян.

Умилительная сцена, каждый день повторяющаяся.

Клара, еще не опущенная на пол, тараторит: а мы сегодня с Раей то, а мы сегодня с Раей сё. Выучили три буквы, освоили октаву на фортепиано, рисовали грибы, тюльпаны и другие ромашки...

Емельян терпел «жидовку с жиденышем» не столько из-за удовольствия стреножить Нюраню, сколько из-за того, что его ненаглядная донечка обожала Раю-Ревекку, оказавшуюся прекрасной воспитательницей.

Ему было невдомек, что для Нюрани, с ее бешеным темпераментом и постоянным стремлением что-то делать, прозябание в оккупированном

городе равносильно медленному умиранию, что вязание на спицах никак не может заменить акушерско-врачебной деятельности. И у нее есть только одна маленькая отдушина – чаепития и разговоры с Раей. Человеком другой культуры, интересов, воспитания и устремлений. Рая и Нюраня были похожи в том, что обе умели слушать. Рая – про сибирский быт, Нюраня – про еврейские обычаи и нравы. И о своих любимых мужчинах, конечно, говорили, как без них? Нюраня не сумела описать Максимку, ей больно было вспоминать о нем, много лет прошло, а больно. Рая рассказывала истории о своем муже, его предках складно, интересно и остроумно.

– Погоди! – как-то остановила ее Нюраня. – Какой же Юра еврей, если его мама украинка, а папа молдаванин?

– О! Ви незнайте-таки наших правил, – Рая пародировала еврейскую речь. – Все передается по матери.

– У нас тоже по матери обычно посылают. Как тебе разрешили выйти замуж за Юру?

– Моя бабушка, Вадима Моисеевича мама, абсолютно точно установила, что прабабушка Юры по материнской линии была еврейкой.

– По метрикам?

– Ах, мадам, не разочаровывайте меня! Надо один раз подсмотреть в туалете, когда он мочится, чтобы быть спокойной. Не татарин же он обрезанный!

– Как у евреев все строго!

– Ужасно строго! – подтвердила Рая и заговорила по-русски чисто. – Юра пришел, сел за рояль, пробежался своими божественно длинными волнующими пальцами по клавишам и Ревекка, то бишь я, была готова.

– Это кто сказал?

– Моя бабушка, которая потом нашла у Юры еврейскую прабабушку. А что, спрошу я вас, – снова еврейские интонации, – если Юра любимый ученик дедушки, который потом, ви знаете... парализован после скандальных обстоятельств... выдающийся дирижер. Только между нами! Его парализовало на Первой скрипке.

– На чем?

– На ком, – поправила Рая. – Тихо, тихо, никто не слышал. Но, между нами, Первую скрипку можно было отъегорить только за гениальное исполнение концерта Паганини. Вдумайтесь в величие этого единственного полового акта! Она, дурнушка, с пеленок смычком по скрипке вжик-вжик, шея кривая, голова набок, – Рая изобразила косорылость, и будто она держит в руках скрипку, водит по ней смычком. – И тут – звездный час! Сыграла восхитительно, дирижер от восторга после концерта, прямо в

оркестровой яме, ее, оркестранты деликатно ушли, конечно, – Рая пальцами одной руки скрутила кольцо и потыкала в него указательным пальцем другой руки. – Катарсис! Экстаз! Момент триумфа! Надо выпить чаю, извините. Два глотка, и я способна продолжать. Первая скрипка, вероятно, имела девственную плеву прочности покрытия барабана. Дедушка старался. Пробился ли, неизвестно. Свалился в оркестровой яме, вызвав эффект домино из пюпитров. Я за дедушкой три года ухаживала. И вначале он все пытался что-то сказать. Но ведь не передать же мне завет вечного служения музыке? Думаю, что он хотел похвастаться, что пробил бастион Первой скрипки. И просто уточнить: скажите мне таки, пробил или погибаю, осрамив свою дирижерскую палочку?

– Рая! – смеялась Нюраня. – Ты сочинила, что он ее в оркестровой яме?

– Я предположила. Согласитесь, что для Первой скрипки да и для дедушки это был судьбоносный акт. Если бы он состоялся в гримерной или в раздевалке – фу, пошло. А в оркестровой яме – совершенно другие декорации. И еще мне нравится картина падающих друг за другом пюпитров, порхающих, словно птицы, листов нот. Это как затухание музыкальной темы после мощного аккорда.

– Тебе действительно надо писать. В музыке мало кто разбирается, и что бы не выдала твоя буйная фантазия, все сойдет.

– Тут я с вами не соглашусь. Разбираются многие, исполнители и музыковеды. Писать они в своем большинстве, конечно, не умеют. Но читать-то способны!

Пироговы не принимали гостей и к ним редко заглядывали соседи – опасались Емельяна. Клару не пускали со двора, но к ней все-таки прибегали поиграть окрестные девчонки. И заткнуть девочку, постоянно твердившую про «мою Раю» было невозможно. Рая была очень красива, но с первого взгляда становилось ясно, что это ярко выраженная семитская красота. Нюраня попыталась ее замаскировать. Нюраня знала, что модницы, желающие стать блондинками, используют перекись водорода и нашатырный спирт, но точные пропорции ей были неизвестны, да и вообще Нюраня по части косметики была профаном. Она остригла Раю под ноль (якобы та после сыпного тифа), а когда отросла черная щетинка, смочила ее перекисью с нашатырным спиртом, заодно и прекрасные, красиво изогнутые брови, и легкий темный пушок под носом. Густые черные ресницы тронуть побоялась – жидкость могла попасть в глаза и сжечь роговицу.

Хоть от этого уберегла, от остальных итогов «маскировки» пришла в ужас. Кожа молодой женщины пошла язвами. И если голову можно было закрыть косынкой, то лицо не спрячешь.

– Что я наделала! Ты похожа на прокаженную.

– На еврейскую прокаженную? – уточнила Рая, рассматривая себя в зеркало. – Нет, такая харя вне национальности.

– У тебя прекрасные волосы... были. Вдруг они не отрастут?

– Тогда моя бабушка скажет вам большое спасибо. Правоверные еврейки бреются наголо и ходят в париках.

– Брови у них тоже отсутствуют? Изуродовать такую красавицу! Мне нет оправдания!

– Ерунда, по сравнению с тем, как лечили от перхоти во времена Французской революции. Рецепт прост: гильотина – лучшее средство от перхоти.

– Твоя бабушка, не говоря о муже, точно обнаружат у меня перхоть.

Рая вздохнула, не произнеся вслух: только бы они остались живы!

Рая никогда не выказывала своего страха, хотя, конечно, очень боялась. Она не показывалась на глаза Емельяну, сидела в дальней комнате с Мишей на руках, каждую минуту готовая дать ему грудь, соску, качать, баюкать, чтобы он не плакал. Выходила, когда Емельян отключался, помогала Нюране. И старалась подбодрить Анну Еремеевну какой-нибудь веселой нелепой историей или просто остроумным замечанием. Объектами шуток были ее родственники, Клара, в деликатной форме – Анна Еремеевна (воспоминания о родах: «...и тут ко мне приближается высокая женщина, с перевязанным тряпками лицом, пардон, нетрезвая и рыгающая луком. Я бы еще поняла чеснок, но лук!»). Емельян Афанасьевич предметом шуток не выступал никогда, хотя давал поводов для насмешек предостаточно. Рая как будто принимала данность, что рядом с Анной Еремеевной и Кларочкой находится сакральное существо (черт, дьявол тоже сакральны), от которого надо держаться подальше – не буди лиха.

Нюраня, не склонная расточать комплименты, как-то похвалила Раю за чувство юмора и присутствие духа.

Рая мгновенно отозвалась:

– Дык как мы взро́щены! – это было подражание Анне Еремеевне, в речи которой нет-нет прорывалось сибирское «дык» и «взро́щенные» вместо «воспитанные». – Дык как нас учили? Стелись перед хозяевами, заигрывай, ублажай.

– Ты мне еще спой про нелегкую судьбу еврейского народа! – усмехнулась Нюраня.

Она прекрасно знала, что ответ Раи продиктован скромностью молодой женщины. И хотя в этом ответе была легкая шпилька, она тоже происходила не из желания уесть, а из стремления не выглядеть слишком пафосной.

Рая, очень тихая и потрясающе деликатная женщина, раскрылась не сразу. Первые две недели Нюраня думала, что притащила домой забитую тихоню. Какой там юмор, шутки! Глаза в пол, ручки стиснуты, точно ждет, что ее сейчас по голове треснут. Красивая девушка, взро́щенная в парниковых условиях для продолжения рода в таких же условиях. В силу обстоятельств выброшена из привычного круга. Хорошо, хоть молоко у нее не пропало и медвежьей болезнью не страдает.

Тем неожиданнее и приятнее было открытие, вернее – постепенное раскрытие Раи, которая стала подавать голос, робко шутить и постепенно превратилась в очень важного и дорогого человека для Нюрани.

У нее никогда не было подруги. Были Марфа и Парася, жены братьев, относившиеся к ней замечательно, как старшие сестры, но больше между собой шушукающиеся. Были подружки в Погорелове и приятельницы в Курске. Подружка – это не подруга и приятельница тем более не настоящая подруга. Нюраня не подозревала, что иметь подругу – почти так же душевно целительно, как иметь любимого парня, мужчину. Внешне все просто: чаепития, разговоры, общий труд. А с тебя будто путы снимают. Чугунные цепи, которые сковывали что-то внутри, наверное, душой называется. И становится легче дышать, и жить не противно, и в гадостном видится смешное, и в обрыдлом забавное, и все удушающее можно ослабить, как растянуть на шее не в меру тугой шарфик. И обратный ток: ты видишь, что твои слова, рассказы, рассуждения, умозаключения, твой облик и манера держать себя – становятся для подруги таким же сбрасыванием оков, как для тебя ее участие.

Они не перешли на «ты», хотя разница в возрасте была невелика. Возможно, не хватило времени. Общим страстно желалось перетерпеть лихолетье рядом друг с другом. Не получилось.

Емельян пришел домой хмурый и злой, от ужина отказался. Плюхнулся в кресло, выпил рюмку, другую, но не захмелел и не разболтался. Сидел, думал, нахмурившись. Нюраня вязала на спицах, никакого дурного предчувствия, молчание лучше его трывдания. Но это было непривычно, не по правилам. Муж думает! Интересно, какой частью мозга? Там есть несгнившие участки?

– Емеля, что случилось? – спросила Нюраня.

– Заткнись!

Она пожала плечами и продолжила вязать. После третьей рюмки он заговорил, все-таки захмелел. Обращался не к ней, а будто доносил, жаловался покровителю – ангелу небесному. У подлецов тоже есть ангелы.

Из словесной каши мужа Нюраня вычленила и поняла следующее. Начальник полиции Михайловский арестован немцами и приговорен к расстрелу. Он проворовался на золоте и драгоценностях, отбиравшихся у арестованных и уплывавших от немцев. Емельян был тесно связан с Михайловским, вместе обдeldывали дела. Начальником полиции назначен Рябичевский («еще царской армии полковник, смотрит на меня свысока, недобитая контра»), с которым Емельян не нашел общего языка. Под Емельяном закачалась земля – неизвестно, сдал ли его Михайловский, а Рябичевского подкупить не удалось. Емельяну срочно нужно выслужиться перед немцами.

Он не уснул в кресле. Поднялся и спросил:

– А эта твоя жидовка с жиденышем?

Нюраня не раз читала в книгах, что у героев в моменты внезапного страха «внутри похолодело». Ей казался глупым этот штамп. Но, оказывается, он был точным. Она в институте имела отличные оценки по анатомии и могла точно сказать, где похолодело. Ледяной коркой стянуло диафрагму – непарную мышцу, разделяющую грудную и брюшные полости, служащую для расширения легких. Дышать стало невозможно. В доли секунды ей даже привиделось, что холод от диафрагмы может распространиться по всему телу, сковав его. А может, напротив, отдать высвобожденное тепло, резким всполохом послать его вверх, к голове. И будто бы у нее даже есть выбор. Хотя в чудовищно короткое мгновение никакого выбора человек сделать не может. Ей просто повезло, когда горячая волна шибанула вверх.

Нюраня вскочила, выдернула спицы из вязания и приставила их к горлу мужа:

– Только попробуй, гад! Только тронь Раю и ребенка!

Емельян не испугался. Одной рукой заехал Нюране под дых, другой захватил спицы и отшвырнул в сторону.

Она скрючилась от боли, он захватил ее волосы и поднял голову, дыхнул перегаром:

– Не выступай! Ты мне теперь ненужная.

И ушел. Сам разделся и завалился спать.

Его правда: Нюраня с ее покорным ежевечерним вязанием потеряла власть над мужем. Он вокруг нее кренделя вырисовывал, пока ему

завидовали: жена-красавица, докторша. А теперь она кто? Как мать для Кларочки гроша ломаного не стоит, как хозяйка и хранительница добра никчемна, слишком много гонора на пустом месте. Найти бабу подходящую сейчас легче простого: и образованную, и хозяйственную, и преданную – только свистни.

– Анна Еремеевна? – неслышно вошла и тихо спросила Рая.

– Иди отдыхай, все хорошо.

Все было катастрофически нехорошо! С начала оккупации Нюраня пыталась найти запасное убежище для Раи и Миши. Спрятать их в еврейском квартале невозможно, там осталась горстка испуганных жителей, каждую минуту ждущих, что их погонят на казнь. Докторов Гильмана и Шендельса с женами, других стариков расстреляли.

Нюраня пыталась с помощью Оли Соколовой найти семью, которая спрятала бы Раю с ребенком. За любые деньги и ценности. Оля обещала постараться, но спустя время только развела руками:

– Анна Еремеевна! Никак! Если в глубинку, в села, так не доберешся. За одного партизана десяток расстреливают, без разбору – стариков, детей, жэншин. А то и вовсе ужас: огнеметами по хатам, пожарище, полсела нет, люди в чем были выскочили, а их из автоматов. Знаю одну семью. Прятали еврейского мальчика в подполе. Без свету несколько месяцев, стал как червяк белый. Запасов-то в подполе не осталось, крысы озверели как те немцы, на мальчонку накинулись, он вопить. Чтoб соседи не слышали, хозяева еврейчика сами придушили.

– Какое зверство!

– Нет, Анна Еремеевна, нет! – горячо протестовала Оля. – Те люди хорошие! Они кормили жиденского ребятенка, а у них своих трое, они родными детками рисковали, а уж как случилось... не судимы будем. Ладно бы у вас одна баба, а кормящая с дитём! Он же плачить! Зубы резаться начнут – не уторкаешь.

– Я поняла, Оля! Но если все-таки в твоей бурной деятельности случится увидеть надежный схрон для матери с ребенком, ты мне дашь знать.

– Всеразнонепременно! Анна Еремеевна, я для вас! А вот нет ли у вас, случаем, инсулина? Такая хорошая женщина помирает от сахарной болезни! Нет? Я уж всех докторов обегала. Вы, говорят, с немецкими врачами якшаетесь? – осторожно спросила Оля.

– Досужие слухи. Немецкие, так называемые врачи, хорошо, что меня не пристрелили. Где найти инсулин, я не представляю.

– Ну да, ну да, – зачастила Оля. – Я сама по образованию ускоренных курсов медик, а все никак не могу чуду ни восхищаться: сделаешь укол буйному – присмирел, затих и блаженство на лице. Порошок человек принял – и выздоравливает. Разе не чудо?

– В каком-то смысле чудо, потому что наука – это квинтэссенция, концентрация трудов человеческого гения.

– Ну да. А без концтрации, без инсулина помрет хорошая женщина.

– Оля!

– Знаю, знаю, мне все говорят: на каждого не нажалеешься. Но ведь жалко!

Когда Рая из приживалки превратилась в близкого человека, в негаданную подругу, Нюраня прекратила поиски. Это был чистой воды эгоизм, желание пережить лихолетье бок о бок с милым человеком.

Помощь пришла утром, негаданная как удача. Свалилась с неба, ворвалась в дом. Нюраня считала свою жизнь трудной, самосделанной. Но если трезво вдуматься, то удача ей всегда сопутствовала, носила имя-отчество и фамилию. Начиная с бегства от раскулачивания, когда Камышин сделал ей фальшивые документы и усадил на поезд, идущий в Расею. Потом были главврач, медсестра Мария Егоровна, фельдшер Ольга Ивановна, конюх дядя Николай... По большому счету и Емельян был удачей, не выйди она за него замуж, не выучилась бы на врача.

Екатерина Петровна, мать Тани Миленькой, прибежала к Анне Еремеевне с печальной вестью: ночью Таня умерла. Еще не похоронили, земля мерзлая, кострами отогревать надо. И другое горе: Вику, сыночка Таниного, два дня как пытаются перевести на разбавленное козье молоко, три литра достали, отдали за банку швейную машинку и пуховый платок. А внучек единственный занемог, поносит его, крохотку.

– Потеряла я свою голубоньку, – плакала Екатерина Петровна. – Как же она сыночка лелеяла, как берегла! Викентием назвала, чтобы красиво звучало, а сокращенно Вика – как цветочек. Анна Еремеевна, неужто и внучка я лишусь? За все страдания, что моя донечка понесла?

Это была удача, хотя назвать убитую горем женщину удачей по меньшей мере цинично. С другой стороны, Таня Миленьяка совершенно непонятным образом прожила на свете больше, чем предназначалось. И недоношенного Вику можно было подрастить только на грудном молоке и то, если не поздно, если диспепсия, расстройство пищеварения у младенца, не зашла далеко.

– Успокойтесь! – поднялась Нюраня, налила чай в чашку и поставила перед Екатериной Петровной. – Я знаю, как вам помочь. Подождите меня, выпейте чаю. Я скоро вернусь. Скажите, – остановилась Нюраня в дверях, – Таня прошла регистрацию, у нее были, есть документы?

– Есть.

– Очень хорошо.

Нюраня отозвала Раю в свою комнату:

– Емельян задумал сдать тебя. Не пугайся, пожалуйста! Ты знаешь, что я не допущу, чтобы ты и Миша погибли? Ты мне веришь?

– Да, – прошептала Рая.

– Тогда слушай меня внимательно! На кухне сидит женщина, Екатерина Петровна. Ее дочь Таня Миленская ночью умерла. У Тани другая фамилия по мужу, не помню, потом уточнишь. Остался Танин сын Вика, Викентий, ему сейчас... месяцев шесть. Теперь ты будешь Таней Миленской, у нее документы в порядке. Надо выкормить ребенка, молока у тебя достаточно.

– Анна Еремеевна, я ничего не понимаю!

– Понимать не надо! Просто запомни – ты Таня Миленская, ее все так звали. И еще. Делай цветочки из бумаги, Екатерина Петровна тебя научит, а весной собирай первоцветы.

– Цветочки? – испуганно переспросила Рая.

– Да! Таня Миленская букетики всем дарила. Она была... не сумасшедшая, нет! Просто невысказанно добрая. Ты почти такая же. Вошел в дом человек, ты улыбнулась и протянула букетик. Все! Пойдем, я вас познакомлю.

Нюраня торопилась, потому что боялась, не ровен час, Емельян придет, и план ее рухнет. Муж в середине дня наведывался домой, когда тащил добычу.

– Екатерина Петровна! Теперь вот эта женщина будет вашей дочерью Таней Миленской.

– Как? – оторопела Екатерина Петровна, и «как?» прозвучало клокочуще «кр-рак?».

– По документам, – ответила Нюраня. – И при обязательном вашем убеждении, что это и есть Таня Миленская. У нее грудного молока – залейся. Она – единственная возможность спасти вашего внука.

– А... а почему она такая... шелудивая?

Рая была без платка, Клара к ее язвам привыкла, а чтобы они заживали, требовался доступ воздуха.

– Ерунда, – отмахнулась Нюраня, – экзема, временная, я уже сделала

из подручных средств мазь.

– А как же Миша? – подала голос Рая.

Нюраня в своем лихорадочном планировании забыла про Мишу. Это была несуразица – вместо одного младенца два.

Нюраня сумела не высказать растерянности, потому что этим двум женщинам хватало их собственного помрачения.

– Он будет подкидышем, – быстро сообразила Нюраня.

– Что? – задохнулась Рая.

– Как? – крикнула Екатерина Петровна.

Она все это время таращила глаза, застыв с чашкой в руках.

– Ни «что» и ни «как»! – повысила голос Нюраня. – Всем меня слушаться! У нас мало времени. Екатерина Петровна, ответьте мне на вопрос: «Потеряв дочь, вы готовы сделать все возможное, чтобы сохранить внука?»

– Да!

– И пригреете женщину, которая выкормит его?

– Да!

– И будете называть ее доченькой?

– Я-а-а... постараюсь. Анна Еремеевна, я ж к вам как к спасительнице нашей...

– Именно так я и поступаю. Внимание! Каждая действует по моей команде. Рая идет собирать вещи и ребенка. Екатерина Петровна сидит на месте! Пьет чай, сами налейте. И думает, как эту... шелудивую выдать за свою дочь. Все ясно? Я быстренько наворую сама у себя продуктов. Есть двое санок, на одни положим Раи... Тани Миленькой вещи, на другую продукты. И поволочем по сугробам. Это я уже сама с собой, кажется, разговариваю.

По пути к дому Екатерины Петровны, по дороге с колдобинами припорошенного снегом каменного месива они менялись: двое везли санки, третья, отдыхая, несла укутанного ребенка. Оступались, падали, санки, на которые поклажу не сообразили привязать, опрокидывались, приходилось собирать. Но более всего трех женщин пугала мысль не сломать ноги или руки, а травмировать младенца. Они вспотели, и злой холодный февральский ветер даже помогал, потому что дул в спину, завихрениями вокруг головы остужал лица.

Рая, ей пришла черед нести сына, поскользнулась, невольно взмахнула руками, и Миша, взмыв в воздух, отлетел на полтора метра. Нюраня тут же бросилась к нему.

– Даже не проснулся, – плюхнувшись на задницу, подхватив кокон с младенцем, откинув треугольник ватного одеяла, сообщила она. – Дрыхнет. Ра... Таня Миленьякая! Ты правильная мать, справно мальчика укутала. Но теперь у тебя два сына.

Всю дорогу она втолковывала женщинам, как им следует держаться, чтобы выжить. Они, надеялась Нюраня, усвоили.

В хате Екатерины Петровны были две женщины – соседки и подруги, которые присматривали за Викой. Пришлось их посвятить в легенду.

Они смотрели на Раю, которая походила на Таню Миленьякую так же, как пышная садовая мальва походит на дикую ромашку-былинку. Рая на голову выше Тани, которая лежит, усопшая, в соседней комнате. Таня Миленьякая была хрупкой и сублильной, как подросток, а у ее двойника – прекрасная женская фигура с гитарным изгибом бедер.

– Подруженьки, посодействуйте, – обратилась к ним Екатерина Петровна, – поддержите! Так Анна Еремеевна постановила, а она, сами знаете, Танечки моей спасительница. А эта жэнщина... Таня, – с трудом выговорила Екатерина Петровна, – теперь мне заместо доченьки.

– А что? – растерянно, но вместе с тем мужественно проговорила одна из женщин. – Похожа...

И словно подхлестнула вторую женщину, которая бросилась раскутывать Мишу:

– Ой, да не упарился бы! Ой, какой славненький! Волосики курчавые, у нас с волосиками редко рождаются, а у евреев сплошь. Я в еврейском квартале полемойкой работала. Наши курские евреи очень-то хорошие люди... Как их постреляли немцы! Как постреляли!

Нюраня осмотрела Вику. Она не была педиатром, в особенностях физиологических процессов младенцев смыслила мало. Она, как это было с Таней Миленьякой, отдалась на волю своему ненаучному дару-предчувствию. Раздетого младенца, полугодовалого, не набравшего вес Раиноного трехмесячного Миши, гладила, почти не касаясь согретыми у печки руками, потом, осмелев, стала легонько нажимать, массировать. Сомнений нет – он выживает. Вернее – у него есть шанс выжить.

– Запеленайте его, – поднялась Нюраня, которую пробил испарина от напряжения, от страха, от веры и неверия в свой дар, от ответственности и невозможности самой лично принять эту ответственность, хотя и внушать остальным. – Дайте мне бумагу и карандаш.

Она много раз убеждалась в том, что пациенты или их родственники не усваивают устной речи. Они слишком волнуются, им кажется, что

запомнили Нюранины предписания, а вышли за порог больницы – напрочь забыли. Надо писать. Как для бестолковых, даже если они гимназии окончили. Листок с предписаниями.

– Первое. Не кормить ребенка сутки! – Нюраня оторвала карандаш от бумаги, подняла голову и посмотрела грозно на женщин, выстроившихся вокруг стола во фронт. Продолжила писать, вслух озвучивая каждое слово. – Давать воду. Кипяченую! Не горячую, не холодную! Теплую. – Снова подняла голову. – Таня, Екатерина Петровна, вас касается. Проверять температуру воды, не суя соску в собственный рот, а выплеснув струю из бутылочки на предплечье – это рука, вот здесь выше кисти, – показала на себе Нюраня. – Второе, – принялась писать, – начинать кормить дробно. Не более десяти грамм молока каждые четыре часа первые сутки. Не больше!

Она писала по пунктам, отвлекалась, объясняла:

– Таня, дала ребенку грудь, он почмокал несколько секунд, скажем, три секунды, и отрывай, как бы ни плакал. Никаких бабских жалостей! Жалости – это ваша личная потеха. А ребенка надо лечить. Таня! Ты услышала меня? Представь, что Вика – это расстроенный рояль. Нельзя в одночасье все разболтанные струны привести в норму, а только подкручивая постепенно, одна струна за другой, прислушиваясь.

– Да, хорошие настройщики фортепиано – это потрясающего слуха специалисты.

– Вот! А мы имеем не инструмент, а живого маленького человека, которого обязаны...

– Взростить, я поняла.

– Пункт третий. Прибавляем каждый день, то бишь в каждое кормление по пять-десять грамм, рассчитай их на чмоки Вики. И не раньше! Все меня слышали? Не раньше чем через пять, а лучше семь дней, если не будет поноса, если стул... это какашки, оформится в тонкие колбаски. Оформившийся стул – показатель вашего успеха. Вот тогда уже можно Вику кормить от пуза. Но опять-таки не переусердствуйте! Он может брать норму, а может сосать, пока не заблюет, дети разные. Если завтра или послезавтра продолжится понос, неоформленный стул, значит, вы моих рекомендаций не выполнили, такие-сякие сердобольные бабы! Бегите ко мне.

«Я уже ничего сделать не смогу», – подумала Нюраня.

Она своим напором, энергией привела ошарашенных женщин в состояние готовности к подвигу. И при этом не убила в них инициативы и способности мыслить на перспективу.

– Танечку тайно похороним, – заверила одна из подруг Екатерины

Петровны. – Ее так любили, что ни у кого язык не повернется донести про замену. Только...

– Полицай у нас живет, – подхватила вторая женщина, – через три дома отсель, от Кати...

– Парнишка-то неплохой, – перебила первая женщина.

Они говорили как близнецы, вставляя в речь друг друга предложения.

«Неплохой парнишка» шестнадцати лет от роду всегда был хулиганистым, буянистым, хотел в партизаны, да отец с матерью не пустили, вот он и подался в полицаи – там винтовки выдают.

– Передайте ему, – сказала Нюраня, – что если он только посмеет пикнуть про ненастоящую Таню Миленькую, то Пирогова Анна Еремеевна его лично кастрирует.

– На костре спалит? – уточнила одна из женщин.

– Яйца отрежет, – пояснила Таня-Рая-Ревекка.

– Ой-й-уй! – дружным хором всхлипнули женщины.

– И спалит, – одеваясь, говорила Нюраня. – Дом его, родителей, немощных бабушек и дедушек, если имеются. Словом, запугайте его. Или найдите слова, которые уберегут мальчишку от подлости. Я с вами прощаюсь. Я в вас верю. Ко мне можно приходить, только удостовериться, что мужа нет дома.

Клара впервые осталась одна. Сначала ей было весело и интересно. Носилась по комнатам, выдвигала ящики комодов, распахивала дверцы шкафов. С особым удовольствием устроила бедлам на мамином столе, к которому приближаться не разрешалось. Там в ящиках было много интересного: баночки и бутылочки с лекарствами, коробочки с порошками, деревянная трубочка, которую доктор прикладывает к человеку и слушает. С одной стороны у этой трубочки граммофончик побольше, с другой – поменьше. Клара, как настоящий доктор, прослушала своих кукол, плюшевых мишку и зайца. Все оказались больны и получили лекарства. На кухне Клара поставила табуретку на стол, забралась в шкаф и достала банку с вишневым вареньем, ее любимым. Обычно ей разрешали съесть три ложки. Ей казалось – попади банка ей в руки, до дна выскребет. Но после нескольких ложек почему-то расхотелось есть варенье.

Дрова в печи прогорели, становилось зябко. Вместе с холодом надвигалась, прилипала к окнам темнота, сначала мутно-серая, потом все черней и черней. Темнота несла страх. Приближаться в керосиновой лампе Кларе строжайше запрещено. Однажды Клара потянула за скатерть, керосиновая лампа упала, из нее хлынул ручей огня, стек со стола. Мама

подхватила Клару, но несколько капель все-таки упали на ее ножку. Было ужасно больно, ранка долго не заживала. Но сейчас, знай Клара, как зажечь лампу, способную хоть немного разогнать темноту, она бы попыталась. Можно пойти на кухню, найти спички и чиркать ими... Придется идти по темному коридору, а там, наверное, притаился Бабай.

Ее нянька пугала: «Уйдешь со двора – украдет тебя Бабай. Не будешь спать – придет Бабай тебя укачивать. Не хочешь кашу есть – позову Бабая». Он был настолько ужасен, что Клара даже боялась представлять себе его облик полностью, только частями: поросший длинными волосами, сквозь которые светятся красными угольками глаза, когтистые лапы, огромные волчьи зубы...

Теперь ей казалось, что Бабай везде – в темных углах, под кроватью, под скатертью на столе, за креслом, за шторами. Он не один Бабай, их много, он узнал, что Клару одну бросили дома, и привел других бабаев, чтобы ее съесть. Она хотела верещать и плакать, но боялась пискнуть и выдать себе. Ей хотелось выскочить из дома, выпрыгнуть в окно, но мама закрыла дом снаружи, а в окна на зиму вставлены двойные рамы и заклеены, чтобы не сквозило, газетными полосками. Дом, привычный дом, в котором она знала каждый уголок, из-за нашествия бабаев превратился во врага – он поскрипывал, вздыхал, издавал другие страшные звуки.

Дрожащая, испуганная до обморока девочка ползком добралась до шкафа, залезла в него, схоронилась под кучей одежды.

Нюраня в потемках шла домой медленно – опасалась навернуться на колдобинах. Если упадет, сломает ногу, ее найдут до морковкиного заговения. Мелькнула мысль, что дочь, впервые одна оставленная дома, может испугаться. Нюраня отогнала эту мысль: Клара девочка боевая и смелая, она сама кого хочешь напугает. Конечно, добралась до варенья. Единственная опасность – банка разобьется, когда Клара будет ее доставать, дочь порежется и тогда точно испугается. Керосиновой лампы Клара боится, спички лежат высоко, дрова прогорели, но печь еще долго будет отдавать тепло.

Емельян подошел к темному дому, входная дверь закрыта на замок. Удивился: куда это унесло жену с дочерью и жидовку с жиденьшем? Достал ключ из-под коврика, открыл дверь, вошел в дом, снял пальто, переобулся в короткие мягкие валенки, заменявшие ему зимой комнатные тапки, зажег керосиновую лампу. Растапливать печь не стал – не барское дело. Ужин на плите отсутствовал – распустились, сучки! Налил себе вина и сел в кресло ждать супругу, заслуживающую хорошей взбучки.

Нюраня, не раздеваясь с улицы, ввалилась в залу:

– Где Клара?

Емельян от внезапной смены настроения: от мстительных планов как следует взгреть жену к паническому страху за дочь – вытаращил глаза:

– С тобой ить...

Нюраня мгновенно потеряла к нему интерес, даже не взглянула презрительно на него, позвала:

– Клара! Доченька, где ты? Мама пришла, папа пришел. Где же наша касаточка? Где наша куколка? – Взяла со стола лампу, повернулась к мужу: – Чего расселся? Зажги вторую лампу, ищи! Кто это у нас в прятки играет? – вышла из комнаты. – Кто так ловко схоронился?

Она нашла дочь в шкафу под ворохом одежды, взяла на руки. Клара не спала, но была вялой, заторможенной. Распласталась на груди матери, головку ей на плечо уронила. Это была не настоящая Клара, а ее подобие, будто из дочери вытянули соки, осталась оболочка, в которой едва теплилась жизнь. Нюраню пронзило раскаяние, острое, как удар ножа в сердце. О чужих позаботилась, а о своей дочери не подумала. Она ведь специально не взяла Клару с собой, чтобы та не проболталась отцу.

– Кто напугал мою крошку? – Нюраня ходила по комнате, гладила по спине дочь и нежно приговаривала. – Какой злодей моей ненаглядной страхов напустил?

– Бабай, – тихо проговорила ей в ухо Клара. – Много бабаев...

– Ах Бабай! – воодушевилась Нюраня, потому что дочь стала реагировать на вопросы. – Дык ышшо и много! – Редко, только в минуты острого волнения у нее пробивался сибирский говор. – А мы их – геть! Сейчас веник возьмем, на совок их сметем – да в печь! Где они попрятались?

– Везде сидели.

– Ах, везде! За шторами были?

– Были!

И тут Нюраня допустила ошибку. Едва ли не впервые у нее с дочерью возникла душевная связь: как общее кровообращение, еще не на уровне сосудов, а тонких капилляров – И Нюраня все испортила. Капилляры порвались.

Нюраня подошла к окну, отдернула штору, показала:

– Видишь? Никого нет. Кларочка, бабаев не существует, это только страхи. Бабаев не бывает!

– Они есть! Были! – возразила вполне энергично Клара. – Они хотели меня съесть!

Клара подняла голову, увидела отца, протягивающего руки. Он все это время топтался рядом, что-то испуганно бормотал.

– Донечка! – простонал Емельян.

– Папка! – Клара отпихнула мать и перелетела на руки отцу.

Он прижал ее к себе.

Его лицо, некрасивое от природы, отекавшее от пьянства, в красных прожилках на пухлых щеках и шишковатом носе, светилось таким счастьем, что Нюраня закашлялась. Слишком много испытаний за короткий период минут в десять: страх за дочь, ее ужас, блаженство мужа.

– Папка! Бабай с бабаями был! – говорила Клара.

– Конечно, – соглашался Емельян.

– Они хотели меня съесть!

– Ох, изверги! Да за что ж? Да как ж?

– Потому что мама меня одну оставила!

Крепко обнимая отца за шею, Клара вывернула голову и посмотрела на мать...

Курс психологии в институте был коротким, один семестр, по результатам не экзамен, а зачет. Стране остро требовались врачи, способные останавливать эпидемии, лечить хронические болезни, осуществлять хирургические вмешательства. Универсалы на первых порах, а специализация придет, когда заживем лучше. И психология была – от жиру, не до нее, не до тонких переживаний пациентов. Хотя потом Нюраня много раз сталкивалась с тем, что эти самые переживания, правильно направленные, действуют лучше лекарств, а запущенные убивают безо всяких видимых оснований.

Курс по психологии читал замечательный лектор. Нюраня в то время девятимесячную дочь переводила на коровье молоко. Точнее: нянька Ульяна переводила под контролем Нюрани. Которая сидела на лекциях с перевязанной грудью – если не остановит выработку молока, то случится грудница, и летняя практика в больнице накроется.

Лектор был замечательным, потому что, рассказывая интересно и занимательно, он обязательно и несколько раз подчеркивал, что нужно запомнить по теме. Запомнить один-два постулата. Всего лишь. На зачете он будет спрашивать именно эти постулаты.

Лекция, единственная, посвященная детской психологии. Постулат: «Ребенок – это не взрослый человек!» К его поступкам, реакциям нельзя относиться с моральными мерками, которые прикладываются к взрослому человеку. Если ребенок ловит в болоте лягушек и потрошит их – это не

значит, что из него вырастет живодер и душегуб. Напротив, – ученый-анатом. Как, скажите, еще изучить анатомию млекопитающих, как не резать их? Если мальчишка собирает камни и пуляет ими по окнам соседского дома, это вовсе не значит, что в нем зреет вор, грабитель-уголовник. Во-первых, пулять интересно, во-вторых, это проверка на смелость – рискну ли я, в-третьих, в этом доме живет бабка, у которой мой отец покупает дрянной самогон, напивается, а потом бьет мать, и меня, и сестру. Из хулигана с камнями с некоей долей вероятности вырастет талантливый «опер» – так теперь называют работников сыскной полиции. Отрицая тесную зависимость физиологических процессов и психических, все-таки уместным будет привести сравнение, которое наглядно подтверждает постулат. На лекциях по детской хирургии, я это доподлинно знаю, вам говорили, в сущности, то же самое: «Ребенок – это не взрослый!» И приводили пример с девочкой, которая подлезла под руку бабке, вытаскивающей чугунок из печи. Варевое опрокинулось, на спине у девочки в районе лопаток был ожог, который залечили, не подумав о пересадке кожи. Из девочки выросла девушка с красивыми сиськами... под мышками! Просторечные «сиськи» в речи рафинированного профессора резали слух. Он должен был сказать: «грудные железы». Но именно «сиськи» заставили еще раз вбуровать в свой мозг постулат: «Ребенок – это не взрослый!». Не меряй его на аршин взрослых, не оценивай его, не предрекай, не ставь клеймо.

Дочь смотрела на нее со злорадным торжеством. Если бы кто-то другой *так* смотрел, Нюраня навеки записала бы его в недруги. «Ребенок – это не взрослый!» – повторяла мысленно Нюраня – как вызывала, вспоминала музыкальный мотив, отчаянно необходимый. Хотя никакая мелодия не способна защитить от детской ненависти твоей собственной дочери.

Клара несколько раз повторила: «Мама меня оставила! Мама меня бросила! Бабаи пришли!»

Емельян сюсюкал:

– Мама плохая, бабаи плохие! Папочка с тобой.

Нюране хотелось оторвать от него дочь, втиснуть в себя, пальцами, когтями разорвать грудину и прижать дочь к жарко бьющемуся сердцу. Это ей хотелось, а Кларе было не нужно. Дочь зримо наполнялась жизнью, сознанием собственной исключительности.

Принялась вертеться на руках у отца:

– А где Рая? Я хочу Раю!

Если бы она сказала, что хочет звездочку с неба, Емельян выскочил бы на улицу, принялся прыгать или громоздить лестницы – за звездочкой. Кларочка хочет звездочку! Стремление угодить дочери было написано на его пунцовом рыхлом лице, неожиданно ставшем почти красивым.

Ему не требовалось прыгать за звездами, совершать подвиги, только повернуть голову, спросить жену:

– Где эта жидо... где Рая?

– Уехала. Навсегда, – ответила Нюраня.

– Я хочу Раю! – с привычными капризными интонациями канючила Клара.

– Она хочет Раю, – вторил Емельян.

– Раи не будет! – отрезала Нюраня. – Скажи спасибо своему папе, Кларочка! Я иду топить печь и готовить ужин.

Уложив дочь, Нюраня и не подумала сесть в кресло, вязать и слушать болтовню мужа. От вида спиц и пряжи Нюраню уже тошнило. Она поставила лампу на свой стол, села спиной к мужу и принялась читать книгу. Емельяна подобная вольность возмутила. Ему не терпелось похвастаться, что дела его пошли на лад, что заручился поддержкой и покровительством немцев.

– Ты это... чаво это?! – прикрикнул он. – Ну-ка лампу на место и сама – к ноге!

– Отстань!

– Да я тебе! – Он хотел вскочить, но зашатался и чуть не упал.

Нюраня развернулась – муж шел на нее с явным намерением пустить в ход руки. Пришлось подняться, шагнуть к нему и сильно двинуть в грудь, чтобы мешком свалился обратно в кресло.

– Кончилась твоя власть! – наклонилась к нему Нюраня и поднесла кулак к лицу. – Еще не понял? Дык я тебе сейчас юшку из носа пущу, чтоб догадался.

Она распрямилась, поставила руки в боки и наблюдала за копошащимся Емельяном, пытающимся сесть ровно и принять грозный вид.

Он поливал ее ругательствами, обвинял в неблагодарности и грозил сдать на расправу немцам.

– Спас он меня! – усмехнулась Нюраня. – Конь Орлик меня спас, а не ты, иуда. Я за себя не боюсь! Потому что за себя отбоялась под телегой, когда Орлик погибал. Сколько лет ты со мной прожил, Емеля, а так и не понял, какой закваски твоя жена. Потому что по натуре своей ты мироед и

предатель.

– Кого я предал?

– Честь свою военную, отечество и нас с дочкой, потому что замазал своим предательством по маковку. Наши придут, на первом же столбе тебя повесят, а я им веревку мылом намажу.

– А может, я подпольщик? – невольно поникнув под напором Нюрани, слабо возразил Емельян.

– Из тебя подпольщик, как из крысы дирижер. Слушай меня, как жить дальше станем. Белье чистое и еду приготовленную продолжишь получать. А в остальном – дулю! – Нюраня свернула кукиш и показала мужу. – И не досаждай мне своей пьяной болтовней! Как врач тебя предупреждаю – ты спиваешься. Алкоголизм – это заболевание, оно прогрессирует, потому что распад личности уже начался. Далее он пойдет ускоренно. Ты пьешь, потому что тебе страшно. Надерешься – становится приятно, страхи исчезают. Но это гибельный путь, и остановить я тебя не могу, даже если бы очень сильно хотела. От этого недуга только сам человек, включив волю, способен избавиться. Я все сказала! Отправляйся спать или сиди здесь, пей хоть до белых чертиков. Темно – зажги другую лампу. Не мешай мне!

Она вернулась за стол, продолжила чтение «Военной хирургии» в надежде, что знания пригодятся.

Емельян шебаршил некоторое время, а потом уснул. Нюраня и не подумала тащить его на кровать. Он и в последующие дни засыпал в кресле, но пить, кажется, стал меньше.

К подполью Емельян, конечно, не имел отношения. Хотя оно в Курске было. По намекам Оли Соколовой, была организация на железнодорожной станции и в городской больнице.

Нюраня, как только прикрыли роддом, пошла устраиваться в больницу. Главный врач хирург Козубовский (понятно, что он возглавлял подполье) разговаривал с ней вежливо, развел руками: нам не требуются кадры. Это когда сами работают на износ! У главного хирурга обязательно есть «правая рука» – старшая операционная сестра. Симпатичная настороженная женщина по фамилии Булгакова, имени Нюраня не запомнила.

Булгакова едва не выплюнула Нюране в лицо:

– Ваш муж, конечно, может нам приказать!

– Мой муж к моей профессиональной деятельности не имеет никакого отношения. Провожать не надо, сама найду дорогу.

Это очень больно, когда хорошие люди отталкивают тебя, потому что

замарана тем, кого сама презираешь, да не избавишься.

Ничего! Она подтянет теоретическую часть – военную хирургию. И главное, займется дочерью.

Кроме постулатов, из лекции по детской психологии она помнила, что ребенок до пубертата, до подросткового возраста тесно привязан к матери. Неважно, какая мать: пьяница, распутница, бьет, не кормит, бросает, где-то шляется – ребенок не может без нее жить, он привязан к ней биологически. Критичность приходит потом, когда в мозгу сформируются логические связи и оценки. В детских домах сироты мечтают о маме – любой, но только своей.

Клара вела себя не по науке, если только не допустить, что у дочери ролями поменялись мама с папой. Во всем была вина Нюрани: она слишком много работала и не занималась дочерью, не чувствовала к ней материнской тяги, потому что перенесла на крохотку отношение к мужу. Объяснение причин – от лукавого. Нет причин, по которым мать может забросить ребенка. Мама Нюрани, Анфиса Ивановна, не стала бы анализировать обстоятельства. Она бы Нюраню за косы оттаскала и заставила бы денно и нощно пестовать ребенка.

У них была кошка, сибирской мохнатой породы. По прозвищу Шельма и размером с рысь. Шельма принесла котят и отказалась их кормить. Выкинула-родила, села рядом, облизалась-вымылась и наострилась идти по своим делам. Мама Шельму так выстегала, так орала: «Родила так взрости!» – что кошка за котятами ходила, пузо с сосцами подставляла, когда уж те обязаны были самостоятельно корм добывать.

Прибежала Оля Соколова, радостная, взволнованная, с порога застрочила:

– Анна Еремеевна, выходите на работу в больницу! Вас ждут! Козубовский и его верная медсестра хирургическая Булгакова, ох, строгая тетка! Но она самолично разыскала Марию Егоровну, очень немощную, а та, знаете, что сказала? «Держитесь за Пирогову всеями руками!» Вот! Ждут вас. Они же, Анна Еремеевна, я откроюсь заранее, потом сами узнаете. Держат под видом больных отставших красноармейцев и наших курских ополченцев, что сражались на баррикадах. Потом выписывают как выздоровевших. Их потом мужики из депо за линию к нашим переправляют. Все рискуют, ох как рискуют! И ребяткам, которых в Германию гонят, выписывают справки об инвалидности. Тут тоже опасность, потому что нужна такая инвалидность, чтобы вместе с евреями в расход не пустили. А где взять диагнозов? Анна Еремеевна, вы, кажись,

не рады?

– Проходи, Оля! Не трещи как сорока. А если бы мой муж был дома?

– Ой, забыла! – прихлопнула рот ладошкой Оля.

– Ты у Тани Миленькой была?

– Была вчера. Все у них справно. Рая ваша... Таня, я ж помню, всех зачоровала, не надышаться.

– Сын Тани?

– Который?

– Настоящей Тани.

– Выправился, любо-дорого. Сосет, как электрический.

– А полицай?

– Приходил. Бабы его обступили, он и стушевался. Говорит, хорошо, что Таня выздоровела. А она ему! Цветочек бумажный! Тут парень навеки стух, чокнулся, почти как мои пациенты, как же мне их, Анна Еремеевна, жалко! Сотни душ погубили фашисты. Блаженные, святые люди...

– Оля!

– Помню, помню, вы говорили. Нервы – в кулак!

– Ты иногда выражаешься не как медработник, а как деревенская баба.

– Я такая и есть, спасибо советской власти за ускоренные медицинские курсы. Я ить наврала, что школу окончила. Кака школа, осподи! Только числилась, все на поля и огороды выходили, даже трехлеток на межу ставили. Анна Еремеевна, вы как вроде и не рады?

– Я очень рада, но стою перед выбором.

– Извините за прямоту! У вас выбор с легкого на простое, с хорошего на лучшее. А бабы-то рожают! Не так, как довоенно, но тоже исправно. Везут их в городскую больницу, а там процент успешности не успешный.

Оля, у которой просторечные обороты смешивались с попытками говорить культурно, смотрела на Нюраню с надеждой и осуждением:

– А про вас бают, что руки легкие, что спасете мать и дитя, когда другие акушерки и дажить врачи простоволосятся. И еще, что у вас...

– Что у меня?

– Есть такое свойство...

– Оля! – строго приказала Нюраня. – Пей чай и ешь пирог! Никакими волшебными качествами я не обладаю. Ими не обладает никто! Если бы ты честно окончила школу и хорошо училась на курсах, то вместо невежественных домыслов познала бы безусловную рациональность науки.

– А что мне Козубовскому сказать?

Это был момент истины. Нюраня могла выбрать дочь, воспитанию

которой посвятит себя. Или рожениц (в больницу не везли попросту, только сложных), которые либо сами погибнут, либо вместе с младенцами, либо выживут по отдельности, либо мать через короткий срок не вспомнит и не поймет, что счастливо избежала смерти, собственной и новорожденного. Нюранино участие гарантировало бо́льший процент благоприятного исхода.

Ее мать могла очертить невидимый круг, в котором находились те, кто был под ее строгой защитой, кто мог жить припеваючи, трудясь честно, конечно. Нюраня таких кругов не рисовала, не хотела. И нехотение легко было объяснить врачебным долгом.

– Анна Еремеевна! – позвала Оля. – Вы как-то... уплыли...

– О чем ты меня спросила?

– Что Козубовскому передать?

– Я приду. Мне требуется несколько дней, чтобы решить семейные проблемы.

Нюраня даже не поняла, как сделала выбор. Точно за нее, за ее волю, решил какой-то внутренний судья.

Она разыскала Ульяну – первую, с младенчества, няньку Клары. Точнее – передала через людей, чтобы Ульяна к ней явилась. В свое время Ульяна, худосочная девушка, на барских хлебах превратилась в цветущую молодую женщину. Налитое тело, румяные щеки и потрясающая грудь – торчащие дыни волнующе колыхались при движении. На эту грудь хотелось упасть и забыть про все проблемы. Нюране казалось, что муж при виде этого женского изобилия должен совратиться неминуемо. И она была готова к тому. Но Емельян не позарился на прелести Ульяны. Он был настолько поглощен стяжательством, что терял мужские инстинкты. Он прогнал Ульяну, заявив, что дочке требуются «воспитательницы из благородных гимназисток». Благородные сменялись одна за другой. Емельян находил удовольствие во власти над людьми, превосходящими его по образованию и воспитанию, а Нюраня оканчивала институт, вышла на работу, всецело отдавшись счастливому потоку, который нес ее к мечте.

Ульяна пришла. За три года она должна была заматереть в женской силе. Перед Нюраней стоял нюхлый скелет. «Нюхлыми» в Сибири называют болезненно немощных или от природы хилых. Нюраня пригласила Ульяну в дом и сказала, что хочет видеть ее «в дети». Куряне так говорили про няnek: «Пошла в дети».

– За прокорм будешь трудиться и кое-что перепадет близким. Остался ли кто? – спросила Нюраня.

– Матушка и тятя померли, братья воюить, их женки да три младенцы...

– Никто не приписан?

– Никто.

Скудное продовольствие по карточкам в нескольких пунктах Управа выдавала лишь «приписанным» – тем, кто устроился работать на немцев. Подавляющее большинство курян, не имеющих родни в селе, голодали.

Нюхлая Ульяна, к радости Анны Еремеевны, уже на третий день чуть взбодрилась. Конечно, не стала прежней и груди-дыни не заколыхались под кофтой, и синие круги под глазами не исчезли, но хоть ушел взгляд затравленной собаки. Клара тоже не проявляла видимой агрессии, хотя и пыталась командовать безропотной нянькой.

Нюране страстно хотелось выйти на работу. Она полторы недели откармливала Ульяну, строжила и ласкала дочь, которая к ее усилиям относилась как к природным явлениям. Идет дождь – спрячься под навес, палит солнце – опять-таки укройся в теньке. Пережди. Мама обязательно уйдет, и наступит твоя власть, обеспеченная папой.

– Запомни, что Кларочку нельзя пугать Бабаем! – говорила Нюраня Ульяне, собравшись идти в больницу. – Никаких бабаев!

Освоившаяся, переставшая по-собачьи радоваться каждому съедобному куску Ульяна отвела глаза: как еще, ежели не пугать, совладать с избалованной девчонкой?

– Будут бабаи, ты отсюда вылетишь, и твои племянники не получат муки и крупы. Поняла? – спросила Нюраня.

Ульяна поняла, но не догадалась, что строптивость в ее потупленном взгляде Анна Еремеевна прекрасно уловила.

– Я тебе башку сверну за Бабая! – пригрозила Нюраня.

– Как скажете.

Ноль успеха. Смотрит в пол. Хозяйка уйдет, а ей на шею избалованная девка сядет.

– В гестапо отдам! – пустила в ход последнее оружие Нюраня.

Подействовало. Ульяна вздрогнула испуганно, передернулась, но все-таки спросила:

– Как тады ее строжить? Кем пугать?

– Мной. Пусть мной, но не страшными чудищами.

Часть третья

Победители

Москва

Василий почти перестал стыдиться, что использует справку о представлении к званию Героя, то есть выдает себя за мужественного вояку. Без справки он бы в конце 1942 года не прорвался в Москву, пришлось бы возвращаться в Казахстан. Он решительно не желал видаться с Фроловыми. Их заслуга в его образовании бесспорна, их обман непростителен. Его воспитание – утеха бездетной пары, он и сам поступил бы в МГУ, только позже. Подлое вранье Фроловых не имеет оправдания, он вычеркивает их из списка близких людей.

В отношениях с людьми Василий бывал жесток. Не подозревал, что качество это ему передалось от бабки – Анфисы Ивановны, которая в молодости, имея цель, не знала преград для ее достижения, считала всё и всех. Но какие желания у деревенской девушки? Новый наряд, украшение, выйти замуж за Еремея.

Цель Василия – быстро получить высшее образование и заняться по-настоящему важными научными проблемами. Он бы круглосуточно зубрил, экзаменовал себя и снова зубрил, экзаменовал. Однако нужно было питаться, купить смену белья, тетрадки, карандаши и еще кучу мелких вещей вроде чайника и корыта для стирки. И найти работу, пока нет занятий в университете. Физфак эвакуировался сначала в Ашхабад, потом в Свердловск. Немцев отогнали от Москвы, и к тому времени, когда факультет вернется, Василий должен быть готов сдать экзамены экстерном. Много времени приходилось тратить на хождение по инстанциям в поисках каких-нибудь сведений о брате Егоре.

Героя Советского Союза Василию не присвоили, но дали орден Красного Знамени. Эта была высокая награда, и она помогла Васе восстановиться в университете и даже получить восьмиметровую комнату. От прежнего жилья осталась узкая койка с панцирной сеткой, продавленной до пола, множество гвоздей в стенах, под которыми растекались пятна невыгоревших обоев. Очевидно, гвозди служили вешалками в отсутствии шкафов. Стул подарила добрая соседка. Она же зачем-то принесла красивую фарфоровую супницу.

Посетовала:

– К сожалению, более ничем поделиться не могу.

– Благодарю, я прекрасно устроен.

Она бросила взгляд на кровать с голой сеткой:

– Нужны хотя бы подушка и одеяло. Я поговорю с женщинами... Они, в сущности, не злые. Моя комната первая от кухни по левую сторону, утром приходите за чаем.

– Благодарю! – нетерпеливо отсек Василий дальнейшее участие в его быте.

Он получил в факультетской библиотеке учебники, не терпелось засесть за них. Шинель, подвешенная на двух гвоздях у верхней перекладины рамы окна, служила светомаскировкой. Нарушение светомаскировки в темное время суток каралось строго. Ночью шинелью он укрывался. Задувал свечку, ложился на голую сетку, набрасывал шинель.

На толкучке за трофейный немецкий портсигар Василий выменял коробку парафиновых свечек – настоящее богатство.

Портсигар при выписке из госпиталя ему подарил Лёха Зайцев:

– Держи, студент! Серебро, мамой клянусь, чистое серебро! Посмотри, как по крышке вытеснено! Лыцарь на коне! Произведение искусства! У фрица убитого реквизировал. Мы с ним сошлись, он должен был меня прикончить, пистолет заело, архангелы небесные или матушкины молитвы уберегли. А может, молитвы моих баб? Я первым выстрелил. Потом его обыскал. Часы себе оставлю, а ты, студент, получи произведение искусства.

Лёха протягивал портсигар Василию, который ответно не подставил руки. Стоял, смотрел и слушал. Лёха затолкал ему портсигар в карман брюк. Отдал честь и ушел.

Лёха всегда искал возможность уесть Василия, а тут вдруг такая щедрость. С чего бы это? Василий пожал плечами: мотивы чужих поступков его не интересовали. Хотелось Лёхе подарить портсигар – подарил. Пригодился портсигар – удача.

И эта женщина, соседка с нелепой супницей, никак не отразилась в его памяти. Он даже ее лица не запомнил. Что-то серое. Многочисленные прочие соседи, тоже серые. Вежливо здоровался по пути на кухню. С одними и теми же по несколько раз. В квартире проживали в основном женщины и дети, несколько мужиков – оставленные по брони мастера с окрестных предприятий. Комнаты-клетушки, а в них по четыре-пять человек. Дом деревянный, как и большинство в Марьиной Роще, туалет на улице. Ни деревьев, ни заборов – все сожгли в первую военную зиму.

Он нашел работу поблизости, на заводе «Красный штамповщик», ночным сторожем, опять-таки благодаря ордену. До войны завод выпускал кухонную утварь, ведра, бидоны, кружки, керосиновые лампы. Теперь изготавливал гранаты, котелки, саперные лопаты, плоские магазины ППШ.

У своей непосредственной начальницы, похожую на сову завскладом Евдокии Емельяновны (по прозвищу ЕЕ), он спросил, не осталось ли что-нибудь из прежних изделий. Он бы купил с зарплаты миску, кружку, чайник.

– Не торгуем, тут не магазин, – ответила ЕЕ и подозрительно спросила: – А то ты не знаешь, что в дальнем углу в ящиках хранится? А то ты не рыскал и ничего не уволок?

– А то я не имею привычки воровать.

– Ладно, возьми, к животу привяжи, под шинелью вынеси, я глаза закрою.

– Нет! Ничего я привязывать не стану!

– Гордый какой выискался!

ЕЕ добилась, чтобы ему выписали материальную помощь «в виде бракованной продукции». Большой мешок набила. Нести в руках его Василий не мог, потому что передвигался на костылях. Сделал веревочные лямки, мешок закинул на спину. Грохотал до своего дома поклажей, точно татарин-старьевщик.

Василий ни у кого ничего не просил, но соседки, которых он не различал, несли по доброте. Так у него появились необходимые подушка, одеяло, теплые кальсоны, портянки; и совершенно излишний плюшевый коврик с лебедями на стенку. Из «материальной помощи» он оставил себе по паре мисок, кружек, вилок и ложек, чайник, тазик для стирки и бидон для керосина. Остальное выставил на кухне – разбирайте.

Постучавшись, к нему в комнату вошла та первая соседка-доброходка, что принесла супницу:

– Василий, извините, но так нельзя!

– Как так? Что вы имеете в виду?

– Ваш широкий жест.

«Как же ее зовут? Она представлялась. На «М» и Петровна»

– Мария Петровна, почему я не могу отблагодарить женщин, которые приняли живое участие в устройстве моего быта?

– Марьяна Павловна. Потому что они сейчас перессорятся вдрызг, им только дай повод.

– В самом деле? – растерялся Василий. – Они же добрые...

– Очень добрые. Когда я в прошлом году месяц отсутствовала, мою комнату замечательно обчистили исключительно по доброте.

– Что же делать?

– Я не знаю! Но последняя коммунальная война из-за пропавших дров тянулась месяц, дошло до вредительства со щами, в которые бросали

хозяйственное мыло, гонок с топорами и вызова милиции. Люди очень устали, их нервы на пределе. Вы, очевидно, никогда не жили в коммунальной квартире. Наши соседи в основном выходцы из деревень, они не обучались в Смольнинском институте или в Пажеском корпусе.

– Все понял. Пойдемте!

В коридоре он костылем остановил десятилетнего мальчишку:

– Пацан, ты здесь живешь?

– Ну!

– Всех знаешь?

– Ну!

– Кроме «ну» другими словами владеешь?

– Ну!

– Марш на кухню!

Там действительно назревала буря. Ссорившиеся бабы не могли поделить жестянки и мерялись своими добрыми поступками: «Я ему кальсоны мужнины отнесла!» – «А я подушку пуховую!» – «Врешь, перьевую, я сама видела, остья так и торчат!» – «А кто ему коврик с лебедями?» – «Чихать инвалиду на коврик, я его картошкой угощала!» – «А я оладьями!» Кто-то уже успел схватить что-то из рассыпанных им на подоконнике «бракованных» изделий. Теперь вырывали друг у друга.

– Милые дамы! – обратился Василий, но никто его не услышал. – Бабы! Замолкли! – гаркнул он и добился тишины. – Расступились, пропустили меня и этого «Ну-ну». Как тебя?

– Колька.

– Посредством Кольки мы сейчас восстановим мир, нечаянно мною нарушенный. Все знают игру в фанты? Никто не знает. Поправимо. Вернули на место изделия завода «Красный штамповщик». Добровольно вернули, я сказал! Отлично! Три шага назад от подоконника. Колька Ну-ну становится спиной ко мне, лицом к вам. Я беру предмет и спрашиваю: «Кому?» Колька называет одну из вас. Условия понятны? Не понятны, по ходу сообразите. – Василий взял ложку и спросил: – Колька, кому?

– Я знаю?

– Просто назови одну из женщин.

– Тетя Катя.

– Екатерина, два шага вперед, получите фант! Благодарю вас за участие в моем обустройстве!

– Ничего вам не давала, сами нищенствуем.

– Так изниществовались, – раздался чей-то голос, – что каждый день мясо трескают.

– Получите за красивые глаза, – протянул Василий ложку.

Красивыми ее глаза можно было назвать только в насмешку: левый глаз окружал большущий синяк, переливы цвета которого – от лилового через синий и зеленый до желтого – наводили на мысль, что муж Екатерины имеет привычку бить в одно и то же место. Участницы игры в фанты оценили юмор и загоготали. Мгновенно умолкли, когда Василий взял в руки подстаканник.

– Колька, кому?

– Мамке моей, – выпалил мальчишка.

Марьяна стояла у двери и улыбалась. Ее развеселил неожиданный и потешный азарт включившихся в игру женщин. Раньше она видела только их воинственный азарт.

Пушкин говорил, что нет ничего страшнее русского бунта – бессмысленного и беспощадного. Пушкин не жил в коммунальных квартирах и мыслил в исторических масштабах. Но его гениальное определение точно характеризовало происходящее в помещениях, где крайне скученно живут люди, не связанные родством или дружбой, общим детством или совместным трудом, образованием, интересами или симпатией.

Марьяна улыбалась еще и потому, что соседки, для которых вдруг выиграть миску или ложку по эмоциональному накалу едва ли не приравнялось к получению ордера на отдельную квартиру, проявили чудеса благородства.

Подходящей цитаты из любимого Пушкина она не вспомнила, только поразилась, когда бабы вспомнили об отсутствующих:

– Тут не все! Которые в первую смену работают, ушедшие! Колька, выкрикивай всех по-честному!

Колька переживал звездный час. Марьяна работала учительницей в школе и знала этого мальчика, забитого двоечника. К нему точно подходила кличка, присвоенная соседом-инвалидом, – презрительное «Ну-ну». Но сейчас Колька пыжился изо всех сил: дышал через раз, глаза выпучил, боялся кого-то забыть, ловил подсказки – очень старался.

Василий посматривал на... э...э... Супница... зовут... Марьяна! Бросал взгляды как артист, который выбирает в публике человека, по мимике которого сверяет успешность своего выступления. Почему эта Супница-Марьяна то ли Петровна, то ли Павловна казалась ему серой? Она и оставалась серой: прилизанные на прямой пробор волосы, коса,

скрученная на затылке, бледное, в землистость, лицо. Но, главное, потухшие глаза. Если бы Василий обладал беллетристической способностью описывать предметы и явления, он бы сказал, что в этих глазах поселились вековые горе и печаль. Он не был писателем, но почти физиком. Марьяне кто-то припечатал к зрачкам помутневшие испорченные линзы. Обычно такие, после опытов, выбрасывают.

Его неожиданный всплеск дружелюбия, превращения в массовика-затейника объяснялся просто: Вася принял водки.

Он ходил на костылях. Это сравниваться не может с передвижением людей, имеющих здоровые ноги.

Он вгонял в упоры костылей гвозди, чтобы не скользить по колдобинам оледенелым. Московские зимние улицы для здорового пешехода представляли полосу препятствий. Для инвалида безногого – та же полоса, но многократно усложненная. Деревянные упоры костылей измочалились, гвозди в них не держались, вываливались. Перед выходом со смены Василий как мог высоко вогнал в костыли гвозди-штыри. Они отвалились после второго падения. Василий часто падал, он был с головы до ног покрыт синяками, по сравнению с которыми физиономическое украшение Кати-Екатерины, получившей ложку-фант, выглядело детской раскраской.

Он старался идти осторожно, упал недалеко от дома. Взмыл на секунду в воздух, руки-ноги-костыли вспорхнули как полудохлые птицы, которых на волю отпустили, а они летать разучились. И приземлился, с размаху припечатавшись культей на острую оледеневшую гряду, напоминавшую в миниатюре Пик Сталина на Памире с популярных рисунков и фотографий.

Боль была всегда. Но эта боль исполосовала тело до отчаяния, до сознания бессмысленности существования. Нет разумных доводов продолжать существование с такой болью. Он выл, скрежетал зубами и смотрел на грязный ледяной пик: доползти бы до него, со всей силы удариться лбом – так, чтобы острие выскочило на затылке, разом покончить с мукой.

Ему помогли подняться прохожие, они шутили по поводу его мешка, где ж ты, инвалид натырил столько металлолома? Доковылял до дома, поднялся по лестнице на второй этаж, ввалился в свою комнату, достал заветную бутылку водки, пил из горлышка, пока не захлебнулся.

Спиртное помогало – на несколько часов снять боль и примириться с ущербностью. Даже больше – дарило полет вдохновения и сознание

собственной исключительности.

Вероятно, после войны появится много инвалидов, героев-бойцов на поле брани и беспомощных перед болью. Они сгинут, сопьются, потому что выстоять перед соблазном обезболивания намного сложнее, чем бежать в атаку.

Для себя Василий сделал выбор: или водка-забыть, или наука. Одно с другим не совместимо: сегодня хмельной развеселый мозг с бешеной скоростью поглощает параграфы учебника, а наутро отшвыривает знания, как баба выплескивает за ворота помои.

Вот ты еще вроде помнишь, в секунду до пробуждения, что читал, и страница с формулами перед глазами. Поднялся – пропало. У рукомойника стоишь, ржавой бритвой скребешь щеки, силишься вспомнить – нет! Ничего нет! Пропил. Делай выбор, мальчик.

Когда он очнулся в полевом госпитале, когда выплыл из темного, но не страшного забытья, паря в котором удивлялся: тот свет, оказывается, существует, когда с третьего раза понял, о чем говорят врачи: часть ноги придется ампутировать – Василий не сильно расстроился. Во-первых, он жив и вернулся на этот свет, во-вторых, часть ноги – не вся конечность. И потом, уже в тыловом госпитале, он был совершенно согласен с балагуром Лёхой, утверждавшем, что ему повезло. Не всю ногу оттяпали, не две руки, как у сержанта из 4-го «А» или мужские причиндалы как у младшего сержанта из 5-го «В». Протез нацепил – и хоть на танцы.

На поверку все оказалось гораздо сложнее. До протеза надо было дожить – культя, объяснили врачи, заживает минимум полгода, в ней должно сформироваться по новой схеме кровообращение и восстановиться работа нервов.

Передвигаться на костылях – это не иметь рук. Пустой чайник или кастрюльку для супа ты еще донесешь до кухни, как и мешочек с содержимым для супа – захватив пальцами, что на перекладинах костылей. А обратно? Чайник или кастрюльку под мышкой или в зубах таранить не получится. Соседки, конечно, помогут. И получается, что ты, здоровый сильный мужик, вечно христорадничаешь. Мама так говорила о просящих милостыню – христорадничают. Для Василия милость посторонних людей в любом виде была унижительна и оскорбительна. Его самоуважение подвергалось болезненным ударам. Он сделает все возможное, чтобы избавиться от позорного существования побирушки.

Он купил примус. Он покупал на толкучке у каких-то подозрительных деляг керосин – наливали трехлитровый бидон. Вопрос: как бидон донести

до квартиры? Ответ: дети, которые шныряют на толкучке.

Подзывал кого-нибудь:

– Донесешь бидон, получишь рубль.

Бывали ушлые пацаны, торговались:

– Три рубля!

– По рукам.

Мальчишки всегда брали плату, с торговлей или без. Девочки от вознаграждения часто отказывались:

– Что вы! Не надо денег! Я вам так донесу.

К девочкам Василий перестал обращаться.

Получить протез было невозможно. Протезные мастерские не работали, снабжавший их Завод по производству протезных полуфабрикатов имени Семашко, как и все московские предприятия, перешел на выпуск военной продукции. Василию повезло: на ВТЭКе (врачебно-трудовой-экспертной комиссии, присваивающей инвалидность) попался добрый врач, дал записку к хорошему протезному мастеру, мол, помоги парню-орденоносцу, сообрази из старых запасов ему искусственную ногу.

Мастеру, Гавриле Гавриловичу Протасову, было под семьдесят, если не под восемьдесят, – древний злой старик из породы самодуров, которые кичатся собственным мастерством.

– Искусственную ногу, – хмыкнул он презрительно, читая записку, – любой дурак сделает. А ты искусную попробуй! Кто, кроме Протасова, а? То-то же! Чего стоишь передо мной, не свататься заявился. Снимай штаны.

Василий суетливо расстегнул брюки, высвободил калеченую ногу.

– Э-э-э! – протянул Гаврила Гаврилович при виде его культи. – Не раньше лета, даже мерку снимать не буду.

– Как лета? Сейчас только февраль! После ампутации уже прошло полгода, новая система, формула... схема кровообращения и нервов уже образовалась!

– Тёте своей рассказывай про систему, а не Протасову, который делал лучшие протезы еще царским офицерам! Они у меня на балах мазурки танцевали, никто и не догадывался, что калеки.

– Я не собираюсь на балах мазурки... Врач сказал полгода!

– Иди, – махнул рукой в сторону двери Гаврила Гаврилович, – к своему врачу, пусть он тебе *искусственную* ногу мастрячит. Пошел отсюда!

Василий после ампутации жил, христорадничая, но никого не умолял, ни перед кем не стелился. Перед вредным Протасовым был готов упасть на

колени.

Что-то в глазах Василия Гаврила Гаврилович увидел, смягчился, перестал выгонять:

– Нога отечная, культя израненная, падаешь часто, не сможешь ты на протезе ходить.

– Но... – Василий оборвался на полуслове, поняв, что третий раз про полгода говорить не следует.

Гаврила Гаврилович понял без повторений и снизошел до объяснений:

– Если бы ты эти полгода в окружении сестер милосердия лежал на постели, меняя положение культы: вверх, подушечку подложили, – кровь отливает, подушечку убрали, культя кровью наполняется, новые сосуды постепенно формируются и тренируются. До сортира можно на костылях, – он точно прописывал какому-то инвалиду порядок жизни. – Далее смотрим по тому, как отек нарастает при нагрузках и уходит при покое. Увеличиваем прогулки на костылях. После которых, запомните, наконец, правило! На полчаса – культю кверху! – Гаврила Гаврилович опомнился, взглянул на Василия. – Ты ходил много, еще и падал.

– Иначе было нельзя.

– Мне плевать. К протезированию ты не готов.

– Тогда я застрелюсь.

– Чего?

– Я не могу жить, учиться в закрытом теплом помещении на постороннем обслуживании. Очень хотелось бы, но нереально. Мне нужно работать, ходить по инстанциям, чтобы оформить инвалидность, пенсию по инвалидности, пусть нищенскую, но разбрасываться не приходится, надбавку за орден в двадцать пять рублей в месяц, бесплатный проезд в трамвае, льготы на подоходный налог и оплату комнаты, электричества. Мне нужно менять книги в библиотеке, покупать тетради и карандаши, которые стоят, как из золота сделанные. И, наконец, мне нужно найти брата, который, гаденыш, удрал аж из Сибири и теперь где-то в партизанах... сын полка. Моя мать, перед которой я страшно виноват, да и перед памятью отца, в меня верит, а я падаю на каждой колдобине. Ни у кого нет такой мамы и быть не может. Если мы освоим космос, галактики покорим, обнаружим существ высокоразвитых, превосходящих нас по технической мощи, мы не найдем такого нравственного величия, как у моей мамы. Хотя она маленькая, хрупкая и больна стенокардией – грудной жабой. Мою маму грызет жаба! Лучше бы у меня отрезали руки... одну руку!

– Так все калеки говорят. Безрукие – про ноги, безногие – про руки. И

у жабы зубов нет, грызть она не приспособлена. Из чего застрелишься? – по-деловому спросил Гаврила Гаврилович. – У тебя пистолет имеется?

– Найду!

– Штаны надень.

– Простите?

– Нечего передо мной, не девка, без портов стоять, хрен под исподнем так и дергается. Эх, молодость!

Василий натянул брюки, собрался уходить, но Гаврила Гаврилович его остановил, велел сесть, позвал жену, Пелагею Ивановну, странно моложавую при таком древнем супруге. И серую, как соседка Марьяна, то ли Петровна, то ли Павловна. Та же серая линза в глазах, безысходная печаль.

Гаврила Гаврилович велел жене «напоить чаем с чем там у тебя припасено этого самоубийцу орденоносного», а сам занялся его костылями.

Мастер клял на чем свет стоит главных помощников Василия. Только вредитель делает костыли из сосны – мягкого дерева. Хорошо, этот самоубийца догадался гвозди в упоры вбивать. Но разве сосна выдержит?

Василий разомлел после «чая с чем припасено» – тарелки отличных домашних щей, повалился на диван и уснул. Не видел, как Гаврила Гаврилович колдует над его костылями, бурчит, ходит в кладовку за материалами и инструментами, поносит советских производителей костылей, отчаявшись исправить, расщедривается и достает из запасов костыли из старого дуба.

Не из сердцевины нежной выточенные! Из древесины, близкой к коре, многократно вымоченной и высушенной. И не на солнце! Халтурщики на воздухе сушат. У Протасова в Даниловском монастыре знакомый иеромонах был. В Даниловском монастыре печи с длинной топкой – бревнами топили. Иеромонах помогал, потому что сам калека и вечно благодарный Протасову. Заготовку в печь остывающую сунул и не проморгай, волнуйся: либо спалишь, либо не досушишь – чёрт! Не в монастыре будет сказано. И ведь никто не понимал его трепета перед деревяшкой. Даже инвалиды – им бы скорее заскакать.

– Просыпайся, самоубийца! – расталкивал Гаврила Гаврилович Василия.

А тот едва ли не в первый раз после фронта спал беспробудно-счастливо. Снилось ему, что бегут с Митяем по склону к Иртышу. Митяй всегда обгонял, но сейчас Васины ноги – крепкие, здоровые, сильные – развивали скорость, от которой дух захватывало. Он не бежал, а летел, переполненный радостью свободного движения...

– Что? Сгинь! Я первый! – дрыгал руками Василий.

– Очнись, первый он, чемпион! – тормозил его Гаврила Гаврилович. – Ночь на дворе, а тебе на работу.

Вася открыл глаза и увидел стариков: злого деда и серую моложавую старушку.

– Точь как наш Виталька, – со всхлипом сказала Пелагея Ивановна. – Всегда чтоб первым, чтоб ленточку грудью сорвать.

– Замолчи! – потряс кулаками Гаврила Гаврилович. – Я тебе запретил! Я себе запретил! Чаю ему принесла? Сто раз надо повторять глупым бабам?

– Принесла, Гаврила Гаврилович, не орите. На столе. А я вот часто думаю, почему сынкам не выпало ноги потерять или руки? Вы бы такие ловкие смастерили...

– Заткнись! – кричал Гаврила Гаврилович. – Ваше бабское место у плиты! Вон!

Василий все вспомнил: как искал этот дом, записку врача, мастера, его приговор... Круглый стол, покрытый бархатной лиловой скатертью, был пододвинут к дивану, на котором Василий уснул и видел сладкий сон. Прямо перед Василием стояла чашка чая, на маленькой тарелке лежали печенюшки, явно домашнего изготовления, по военному времени черные, похожие на подметки.

Он пил чай – горячий, ел печенье – вкусное.

Гаврила Гаврилович расхаживал у стола и вещал про сосны и дубы – материалы для костылей, про какие-то монастырские печи, иеромонаха безногого и про то, что кроме Протасова никто не смыслит в протезах.

Василий оглянулся по сторонам: где костыли, пора и честь знать. Костыли куда-то пропали.

В комнату вошла, даже не вошла, а застыла в дверном проеме Пелагея Ивановна:

– Гаврила Гаврилович! Комендантский час, трамваи последние, а мальчику до Марьиной Рощи.

– Мальчику! – захлебнулся речью Гаврила Гаврилович. – У него орден знатный. Поди не за красивые глаза. Чего расселся? Вставай, примеряй костыли. Такие только для царской фамилии или для Сталина. Оторвало бы усатому конечность, наша профессия пошла бы в гору. А то пока расчихаются, что война – это инвалиды. А инвалиды – самые наилучшие работники, например, станочники. Хороший станочник – это золотой фонд. Инвалид-станочник – это трижды золотой фонд, потому как ему свою мужскую гордость тоже надо... Ты как шагаешь, зараза? Ты чего

кривишься? Ты физику в школе проходил, про центр тяжести слышал?

– Проходил, слышал и более того. Но под мышками упоры костылей обматывают мягкими тряпками, чтобы...

– Двойка! Ни хрена ты физику не знаешь! Силу надо прикладывать не на ключицы, а на перекладыны для ладоней, чтобы все мышцы рук работали. У мужиков настоящих эти мышцы быстро накачиваются. На костылях не висят, а летают!

– В таком случае упоры для ладоней расположены неправильно!

– Соглашусь. Длинный ты, чертяка. Отдавай, подрегулирую.

Они с полчаса регулировали. Гаврила Гаврилович выхватывал костыли, сверлил ручной дрелью отверстия, переставлял упоры для рук. Василий, прислонясь к стенке, ждал, потом ходил по комнате, принаравливаясь. Пелагея Ивановна торопила: не успеет парнишка на последний трамвай, у нас бы заночевал, если б не на работу. Опоздавшим на работу – статья и тюрьма.

Провожая к выходу, Гаврила Гаврилович предупредил Василия, чтобы не тыкал гвоздей в опору костылей, там специальный дюбель из особо крепкого дерева. Вывалится металлический штырь – надо смотреть. Если дюбель крепкий, новый саморез вставляй. Расшатался дюбель, менять его надо. Диаметр дюбеля, конечно, будет увеличиваться, но на твой век хватит. Герой войны с японцами, фамилию не помню, морской офицер, от великого князя была протекция, не осилил протез, на костылях щеголял, барышни пучками вокруг его костылей увивались – от пятого до семнадцатого года. Считай, двенадцать лет дюбель не меняли. И штыри, они же саморезы, только для зимы! Как слякоть сошла, надо ставить на упоры костылей резиновые наконечники. Некоторые инвалиды безмозглые, да все инвалиды отчасти безмозглые... Чтоб у человека не отрезать, страдает голова, в смысле мозга. И продолжают они шастать по мостовым на зимних штырях, дюбеля гребят, тогда как надо переходить на резиновые наконечники, которых запас тоже нужно иметь, потому как у нас климат зима-лето, для инвалидов сплошное развлечение.

Василий успел на последний трамвай, на работу не опоздал. Новые костыли при правильном, оттренированном Гаврилой Гавриловичем шаге сохраняли силы и дарили относительную уверенность передвижения – чувство, давно забытое Василием.

Он стал меньше падать и заботился о культе – делал на ночь ванночки с отваром дубовой коры, протирал культю одеколоном и массировал. Следуя рекомендациям Гаврилы Гавриловича, терзал коленный сустав –

сгибал, разгибал, вращал. «Будет контрактура, – предупредил старик, – это ограниченность движения сустава, особо разгибательность, про протез забудь, без заднего толчка ноги на нем ходить невозможно». Чтобы восстановить разгибательность в полном объеме, Василий клал на бедро мешочек с песком во время упражнений. По совету того же Гаврилы Гавриловича он обмотал кусок доски тряпками, становился на здоровую ногу и прижимался культи к доске – создавал кратковременный момент опоры.

Но самым удивительным предписанием протезного мастера была так называемая фантомно-импульсная гимнастика – движения отсутствующим (!) суставом. Когда Василий услышал, что необходимо два-три раза в день, а лучше каждую свободную минуту сгибать и разгибать несуществующий голеностоп, то решил, что мастер на старости лет тронулся умом. Но Гаврила Гаврилович заявил, что в культе остались мышцы, которые заведовали движением ампутированной части ноги, и если их не тренировать, быстро атрофируются, перестанут хорошо снабжаться кровью. «Мышцы работают от головы!» – авторитетно изрек мастер. И предупредил, что если Василий не будет делать этой никому не видимой гимнастики, если мышечный корсет культи не образуется, то ходи, калека, на костылях, до протеза ты умом не годный.

Василий изредка навещал Протасовых, они жили недалеко от университета. Приходил к ним не только в надежде, что Гаврила Гаврилович смирится и возьмется за протез, или из страха, что вредный старик помрет не ко времени, но и потому что это было единственное место в Москве, где он чувствовал теплоту дома. Пелагея Ивановна строго-настрого запретила приносить гостинцы: мы не бедствуем. Они действительно питались хорошо и Василия кормили от пуза. Раскрыли ему источник благосостояния: у Гаврилы Гавриловича имелись золотые царские червонцы, которые он сбывал знакомому ювелиру.

– Какой протез у ювелира? – спросил Василий.

– Что, я не могу со здоровыми общаться? – возмутился Гаврила Гаврилович. И тут же признался: – Ювелирова жена под трамвай попала, ногу отрезало. Трамваев тогда в Москве было раз-два и обчелся, но бабы всегда подлезут, куда не следует. Ах какая у нее ножка! Ювелир каучук телесного цвета достал, я им дерево обтянул. А коленный сустав! Я над его шарнирами два месяца потел. Ах какую ножку Протасов сделал, ах, сукин сын! В музей Протасова произведение просится. Особо если сравнить с

натуральной ногой ювелирши. Дряблые окорока и ножка Венеры.

Гаврила Гаврилович часто говорил о себе во втором лице, как о великом скульпторе, художнике. Скромностью он не страдал, а старческие провалы, вроде забывчивости, повторения одного и того же были налицо. Фанаберию, бешеное честолюбие мастера Василий приписывал его возрасту и характеру, пока однажды не пришел к ним в отсутствие Гаврилы Гавриловича и не узнал от Пелагеи Ивановны историю семьи.

– Подобрал он меня на церковной паперти в двадцать первом году. Страшный голод был, крестьяне со всех окрест ползли в столицу – за любой работой, за любой едой. Многие в большинстве не дошли, а я доволоклась. Куда итить? К храму, конечно. Там он, Гаврила Гаврилович, об меня, полудохлую, споткнулся. Думал: девчонка, ребенок. Ведь исхудалая была, одни кости и глаза остались. У них-то, у Протасовых, после многих лет супружества деток не было, про приемных он часто думал, жена не хотела. Жена взглянула на меня, про возраст спросила – шестнадцать лет – и заявила в том смысле, что новую жену себе Гаврила приволок, а ей умирать. Взяла и умерла. Разное говорили: то ли сама отравилась, то ли Гаврила помог, то ли я вместе с Гаврилой. А все это домыслы! Плохо помню, я тогда еще только откармливалась, при виде куска хлеба тряслась и все старалась угодить – полы помыть, угля для печки наносить. Только б не прогнали, только б кормили. Гаврила Гаврилович после момента смерти жены привлек знакомого доктора, и покойницу в больнице вскрыли, сказали – сердце отказало. Натуральная смерть, но злые языки не вырвешь. А потом я расправилась, и стали у нас рождаться дети.

Василия поразило, что Пелагея Ивановна произнесла это просто-буднично, словно: «А потом я пошла в магазин» или: «А потом я мебель купила». Как будто участие Гаврилы Гавриловича в рождении детей было настолько само собой разумеющимся, что и упоминать о его страсти к молодой женщине не стоило.

– Первый Виталька, ты на него, Васенька, похож. Гордый до своенравности. Второй Андрюша, ласковый и нежный, как теленок. Последняя дочка Елена, звали меж собой Лёной. Все погодки. Гаврила Гаврилович от счастья, прямь, обезумел. Всегда был характерным, понимаешь, про что я, а тут над малышами трясся почище, чем я над горбушкой хлеба в двадцать первом году.

Глагол «трястись», как заметил Василий, заменял Пелагее Ивановне множество других глаголов от «злиться, гневаться, кричать...» до «радоваться, ликовать, смеяться...».

– Было-то Гавриле Гавриловичу уж за шестьдесят, не молод, – продолжала она. – Дети росли, в школу пошли, в пионеры принимались, потом в комсомольцы. Отец у них кто? Кустарь, работает единолично. Он ведь пробовал в артель, то бишь в мастерскую государственную, да со всеми переругался, потому что они быстро и кое-как, а Гаврила Гаврилович не переносит халтуры, он чтобы каждый инвалид вторую жизнь получил. Дети его стыдились – кустарь, пережиток капитализму. Он трясся. Иногда так схлестывались, что пух летел. И ведь любили друг друга беспамятно, что отец деток, что они его. Из сынов никто ремесла отцовского продолжить не захотел. Виталька хотел инженером стать, по турбинам на электрических станциях. Андрюша вздумал по театральной линии. Не артистом, а по декорациям – это картинки на сцене и общая обстановка. Андрюша говорил, что декорации создают впечатление. А у меня было впечатление, что они в отца – не замахиваться на великое, а на каком-то своем участке хотят добиться исключительного мастерства. Дочка Лёна, огонь девка, любимица отца, сынов порол, а на нее ни разу руки не поднял... Про будущность ее мечтов ничего сказать не могу. Война началась. Витальку призвали, вслед за ним Андрюшенька добровольцем в ополчение, фашист ведь перед самой Москвой стоял. Лёна вслед за братьями – санинструктором отправилась. И стало у нас в доме тихо, мертво. На Витальку похоронка пришла: погиб, вам пенсия причитается. Кака пенсия сына заменит? На Андрюшу казенная бумага – пропал без вести, без пенсии стало быть. Про Лёну сведений нет, одни надежды. У Гаврилы Гавриловича опосля похоронок на сынов с головой помутнилось. Я так рассуждаю: пропал смысл жизни, обретенный в преклонные лета. Он не верит, что Лёна жива. Ему надо за что-то держаться. Если убили самое дорогое, то за что держаться? За свое мастерство. Вот и, сам знаешь, трындит про себя как про Роднена.

Из уст Пелагеи Ивановны Василий никак не был готов услышать имя великого скульптора. В ее речи смешивались просторечья и книжные обороты, явно усвоенные от мужа и детей.

– Гаврила Гаврилович не скоро вернется, – продолжала Пелагея Ивановна. – К ювелиру пошел, обменяет монеты на деньги, потом на рынок за продуктами. Он на меня покрикивает, спасибо за это, а то бы совсем расквасилась. Мол, ты, Вася, придешь – накормить надо хорошими продуктами. Будто я лично не понимаю! Вставай, бери костыли. А то и доскачешь?

– Доскачу.

Это была святая святых – мастерская Гаврилы Гавриловича. На

стеллажах, в шкафах, на полках, на большом рабочем столе с верстаком педантичный порядок. Каждый инструмент, заготовка, винтик и шурупчик в строго отведенном месте. И даже сейф в углу.

– Там червонцы? – спросил Василий.

– Не, – отвела взгляд Пелагея Ивановна, – они в другом месте. А там железки всякие и механизмы. Гаврила Гаврилович ведь не только по протезам. Часы может починить, машинку швейную – да любое. Запасные детали на вес золота, то есть и на золото их не достанешь, потому и трясется над ними. Ночами не спит, если отремонтировать что-то не может, гордость бешеная. Вот, гляди, твоя нога будущая. Ступню уже сделал, над суставом колдует.

Василий взял в руки заготовку – путевку на свободу – с трепетом. Каждый пальчик ступни был тщательно вырезан, обозначены лунки ногтей, пятка – все как настоящее. Хотя вряд ли кто-либо, кроме Васи, будет их лицезреть.

Когда Гаврила Гаврилович пришел домой, по лицу Василия все сразу понял:

– Показала тебе эта диверсантка? Ух, бабы! Ух, любопытные, так и суют носы в каждую щелку...

Василий обратил внимание, что Гаврила Гаврилович редко называл Пелагею Ивановну по имени или в единственном числе, а гневался на весь женский род – «этих баб».

– И как тебе? – спросил он Василия.

– Гениально! Роден перевернулся в гробу. Я когда увидел, даже подумал, что на ступне надо будет ногти подстригать.

– Скажешь, – польщенно ухмыльнулся мастер. – Сегодня мерку снимем. Как будто я не могу по спадающему отеку понять размеры здоровой культи.

«А чего же ты меня несколько месяцев мурыжишь?» – едва не воскликнул Василий, но благоразумно промолчал и стал торопливо расстегивать брюки.

– погоди, дай хоть чаю попить.

Вредный старик дождался, когда Василий оголился, а потом уж сказал «погоди». Пришлось натягивать брюки и смиренно ждать, когда Роден соизволит мерки снимать.

Было пять или шесть примерок – Гаврила Гаврилович, изводя Василия, желал до миллиметра точно воспроизвести отсутствующую часть конечности. При этом утверждал, что с природой можно соревноваться, но

победить нельзя. Василий выслушал несколько часов лекций (одновременно хорошо питаюсь) по истории протезирования – от Древнего Рима, через Средневековье, мировые войны до наших дней. Мужчины калечились всегда и «в массовом количестве», так же массово желали вернуться к полноценной жизни. И были редкие штучные мастера, которые изготавливали протезы. Применяли последние достижения инженерной мысли и изобретали свои уникальные сочленения искусственных суставов. Если бы лекции Протасова записать, а потом издать, это была бы интереснейшая книга, в которой страсти калек накладывались на инженерный гений уникальных мастеров. С другой стороны, такая книга вряд ли бы заинтересовала Василия, ни будь он калекой.

– Запомни! – говорил Протасов. – Инвалид всегда изгой. Могут жалеть, пригревать, делать вид, что принимают тебя как равного. Но это враки, пусть невольные. Калека – это даже не косоглазые казахи или японец, не черномазый негр или жид пархатый. Калека – это ущербное тело. Люди не отдают себе отчет, но очень любят свое полнокомплектное тело. А когда у человека комплект отсутствует, они страшатся и брезгуют. Сам замечал?

– Жалость, участие, конечно, – пожал плечами Василий. – Может, просто опыта нет, я ведь меньше года безногий. И потом, мне начихать, кто что обо мне думает, я просто хочу нормально ходить.

Сказал и прикусил язык. Не исключено, что движущей силой таланта Гаврилы Гавриловича была возможность вернуть изгоев в стан полночленных людей, подарить им второе рождение. Какой смысл корячиться, если инвалид так-сяк проживет? А вот ты сделай его незаметным среди полночленных!

«Как же я ненавижу психологию!» – подумал Василий.

Во время каждой из примерок (сытного обеда и лекций по истории протезирования) Гаврила Гаврилович по десять раз подчеркивал: научиться ходить на протезе – отдельная наука. Научиться ходить на протезе сложнее, чем научиться ходить впервые. Но в премудрости этой науки не посвящал. Очевидно, хотел насладиться удовольствием учителя, растягивающего процесс обучения на многие встречи-уроки. Предчувствовал, что Василий его последний клиент, но не рассчитал время. Умер.

Василий не был у Протасовых две недели. Заводская начальница ЕЕ попросила Василия подменить женщину, отпускающую и принимающую готовую продукцию. Женщина получила похоронку на мужа и «с колес слетела». Надо дать ей время, авось очухается, деток-то двое. Главное, по накладным чтобы все было точь-в-точь.

Сама ЕЕ – низенькая, голова повязана истертым пуховым платком, концы которого едва сошлись в узел на затылке, ватник не по размеру большой, до колен, рукава обрезаны, из-под ватника коротенькие ножки в валенках. Ходит по-птичьи, вывернув мыски, между пятками и мысками тупой угол градусов в сто тридцать. Чисто сова, и даже кажется что башка у ЕЕ крутится на невозможный для человека оборот по сторонам. Она и рабочих, привозящих из цехов готовую продукцию, держит в кулаке, и двоих грузчиков – в ежовых рукавицах, и помнит, где каждое изделие находится, но как доходит дело до бумаг, накладных – празднует труса. Раньше-то она была уборщицей, а начальницей склада назначили на место ушедшего на фронт ее мужа, которому по должности бронь не полагалась.

Василий не мог отказать ЕЕ, да и пребывание в сторожке – помещении с заботой и любовью оборудованном его предшественниками – было гораздо комфортнее, чем в собственной комнате. Он перенес учебники, тетради, запас продуктов. Электричество круглосуточное, окон нет, светомаскировка не требуется, грабить склады никто не пытался, вместо обхода периметра снаружи и внутри склада для очистки совести было достаточно выйти два раза за ночь и от души подуть в свисток.

Его ждал замечательный уникальный протез, ему прекрасно работалось, в смысле – училось. С накладными он разобрался влет. И даже провел несколько уроков с ЕЕ: обращать первое внимание на третью сверху строчку, сравнивать названия изделий и количество. Не совпадает – коленкой под зад. Совпадает, смотреть на верхние строчки – имя организаций отпускающей и принимающей. Тут, как правило, ошибки только описки. Последний взгляд – печати и подписи.

– А чего я раньше накладных боялась? – спросила совушка ЕЕ.

– Психология, – пожал плечами Василий. – По моим наблюдениям, людям обязательно требуется чего-то бояться и что-то возвеличивать. То и другое абсурдно.

Он проговорил механически, и был готов к тому, что ЕЕ сейчас возмущенно взмахнет своими маленькими руками-крылышками, потопает ножками-лапками. Но ЕЕ покрутила свиной головой из стороны в сторону, и ее глазки-пуговицы, поймав свет, вспыхнули самодовольной гордостью: она избавилась от части страхов.

Был июнь, начало лета. Разительное отличие от Сибири и Казахстана, где времена года приходят, как вкатывается в дом со скарбом и детьми долгожданный родственник – принимайте, вот он я, поселяюсь. Весна в Москве заявила о себе в апреле – ярким солнцем, таянием сугробов,

бегущими ручьями. Потом снова были заморозки, мокрый снег, серое низкое небо. Через неделю опять днем солнце, под которым хоть до гимнастерки раздевайся, а ночью лужи на тротуарах остекленели темным льдом. Этот климат – не любимый, а вздорный родственник, который то прилично ведет себя, то пьянствует. Василий никогда прежде не обращал внимания на капризы погоды, а теперь зависел от них – шипы на костылях или резиновые наконечники.

Он шел к дому Протасовых в отличном настроении, какое бывало в детстве в предвкушении подарка: приедет отец из Омска, что-то привезет. Неужели велосипед? Никакие подарки не могли сравниться с протезом – пропуском на свободу. Но самой большей радостью были успехи на фронте. Мы отогнали немцев от Москвы, прорвали Блокаду Ленинграда, фашисты капитулировали под Сталинградом, освобождены Воронеж, Курск, Ржев! Мы наступаем! Василий получил ответное письмо от Георгия Николаевича Флёрова, по намекам понял, что над бомбой уже работают («я вплотную занялся проблемами, которые мы с тобой обсуждали»). Флёров просил сообщить, когда Василий получит диплом, что можно было расценивать как приглашение на работу. Факультет возвращался в Москву, в сентябре начнутся занятия.

Пелагея Ивановна, в черном платье, с черной косынкой на голове открыла дверь, и Василий все понял. От растерянности забыл стереть улыбку с лица.

– Три дня назад похоронили, – кивнула Пелагея Ивановна. – Проходи, Вася, от поминок еды много осталось, для тебя берегла.

Она и потом, когда кормила его, наливала водку – за помин души, уносила посуду, приносила чай, все время говорила и говорила, монотонно и безостановочно. Словно Васин приход вытащил заглушку, которая несколько тяжелых дней не давала прорваться словам.

Пелагея Ивановна не говорила о потере, о собственных переживаниях и не вспоминала добрым словом Гаврилу Гавриловича. Для нее почему-то было важно, что «все прошло достойно». На отпевание в церковь пришло много почетных людей – почти все из списка, который муж загодя составил. И ювелир с женой, и большой военный, и иеромонах, совсем уж дряхлый, и даже один профессор, также врачи. Васю она позвать не сумела – адреса и телефона не имеет, знала только, что в Марьиной Роще обитает.

Василий представил храм, свечи, гроб, вокруг которого стоят инвалиды, чьи увечья замаскированы протезами Гаврилы Гавриловича. Это была картина фантазмагорическая, но и одновременно прославляющая

труд большого Мастера.

– Как он умер? – спросил Василий.

– В мастерской. Работал и упал, я грохот услышала. Прибежала – лежит на полу, ртом воздух хватает. «Не успел, – хрипит, – Витальку на протезе ходить научить». Это он тебя с погибшим сыночком попутал. А дальше уж только сипел, пока не замолк.

Василий прекрасно видел, что старики Протасовы тянутся к нему. Про то, что он похож на их старшего сына, упоминалось несколько раз. Но Василий вряд ли навещал бы их, не имея корысти получить протез. Соседские женщины после его пьяного выступления на кухне, игры в фанты, вздумали чуть ли не старшим по квартире выбрать. Таскали его кастрюльки и чайник, мыли за него места общего пользования, за копейки стирали белье. Однако Василий решительно не желал выступать поверенным в их склоках, выслушивать жалобы несчастных вдов, солдаток, надрывающихся матерей. Еще и на работе: сменщики, грузчики, рабочие и мастера цехов, та же ЕЕ – всем хотелось задружиться с боевым офицером, орденоносцем.

У него не было на них времени! Ему нужно в кратчайшие сроки сдать экзамены и зачеты, контрольные и курсовые работы. В идеале уложиться до весны следующего 1944 года. Окружающие Василия люди были страшно далеки от того, что составляло смысл его жизни. Даже не смысл, а продвижение к смыслу. Он не мог поговорить с ними о физике жидкостей, поверхности твердого тела или реальных кристаллов. И дело даже не в отсутствии общего языка. Заговори Василий на китайском, благодаря мимике и жестам, его как-то бы поняли. Но что смыслят эти люди в математическом анализе или в теории функций комплексных перемен? Они хорошие, добрые, они ему помогают, без них он бы пропал... Только в университете, на факультете, общаясь с не уехавшим в эвакуацию учеными, он чувствовал себя в родной стихии.

– Заболтала я тебя, – сказала Пелагея Ивановна.

– Нет, что вы, – неискренне возразил Василий. – А...?

– Готов твой протез, забирай. Только...

– Знаю, знаю, научиться на нем ходить – целая наука.

– Истинно. Да я-то тебе преподнести ее не могу! Я только краем уха...

Вроде стоять надо сначала учиться, потом на этих... как оглобли, палки у физкультурников... брусья? Правильно сказала? На уровне ниже талии брусья, меж ними ходить... Не помню я, Васенька, прости!

– Да что вы, Пелагея Ивановна! Я вам безумно благодарен! Не дурак,

соображу.

Он был преступно самонадеян, нетерпеливо поглядывал на дверь мастерской. Почти не слушал Пелагею Ивановну, которая говорила, что протезов два – один модельный, а второй «козья ножка» – бутылкой перевернутой, как у пиратов в книжках рисуют, сыночки любили про пиратов читать. «Козья ножка» очень важный протез, он в обращении легче, и все трудовые люди, а не чтоб на балах мазурки танцевать, его очень уважают.

Когда они наконец зашли в мастерскую, Василий не стал брать «козью ножку»: с учетом книг, взятых в библиотеке, и газетных свертков с едой, которые натолкала в рюкзак Пелагея Ивановна, два протеза не поместились бы.

Пижон! Мальчишка! Бахвал! Он модельный протез, а не «козью ножку» пристроил в рюкзаке. Ступня в ботинке не помещалась, забавно торчала над завязками рюкзака, будто Василий отчекрыжил у кого-то ногу и тащит домой. Ему было радостно и весело в предвкушении новой жизни, свободного движения. Жизнь – это движение.

– Вася, сыночек, – суетилась Пелагея Ивановна, – нельзя без палки, без трости! Прости, голубчик, не отпущу без трости!

Перегородила ему дверь из мастерской. Черная, как галка, забывшая свои горести, трясущаяся.

– Пелагея Ивановна! Как я понесу трость? В зубах через всю Москву?

– Не знаю! Сзади за ремень воткнем. Только без палки, Васенька, никак нельзя! Они по росту подбираются, тоже наука. Не ведаю!

Она открыла нижний отсек пенала, где стояли трости – разной длины, с простыми загогулинами на верхушке и с манерно выточенными в виде звериных морд. Василий взял самую длинную, Гаврила Гаврилович упоминал, что такого высокого клиента у него еще не было. Следовательно, и трость должна быть самой длинной.

Провожая, Пелагея Ивановна говорила ему в спину, что теперь ее уплотнят. Одна в трехкомнатной квартире – роскошь. Как бы Васеньке к ней переехать, а там, Бог поможет, без вести пропавшая Лёна вернется. Это было самое главное, ее волновавшее, торопливо сказанное.

Переселиться выгодно из-за близости к факультету, но с учетом хождения по инстанциям (получить разрешение на перепрописку, сдачу комнаты, выписку нового ордера) – верных два потерянных месяца.

– Я вам оставил на столе бумажку, – обернулся у двери Василий. – Там мой адрес и телефон на работе. Я к вам обязательно приду, постараюсь скоро.

– Храни тебя Господь! – перекрестила его Пелагея Ивановна.

Рука ее застыла в воздухе после крестного знамения, и точно притянула Василия, он склонился. Пелагея Ивановна трижды, пасхально, его поцеловала.

На следующий день он проснулся с ощущением подарочной радости. Папа велосипед привез.

Позавтракал и надел протез. Ничего сложного. Мягкая ткань для оборачивания культи у него припасена, как и вата, которой выложил принимающий патрон протеза. Постоял, находя равновесие, попробовал шагнуть, не свалился, потому что ухватился за стол. Ерунда! На это у нас имеется трость. Логично рассуждая, трость должна стоять у калеченной ноги. Трость длинновата, локоть, опирающейся на нее руки торчит в потолок. Ерунда! Наконечник трости без резинового набалдашника. Ерунда! На улице сухо...

Гаврила Гаврилович не поверил бы, что, впервые надев протез, инвалид сделает больше десяти шагов. Ирина Владимировна Фролова сказала бы, что Василий ведет себя как гусар, желающий отправиться на бал в новенькой форме.

Он походил по комнате, вихляясь и шатаясь, испытывая непривычные ощущения в культе и боль в спине. Ерунда! Спина всегда болит, позвоночник страдает, испытывая неравномерные нагрузки. У него в рюкзаке тетрадки с курсовыми работами. Придёт сегодня на факультет, весь из себя нормальный, без костылей.

Кое-как спустился по лестнице и добрался до остановки трамвая. Не было ни Гаврилы Гавриловича, ни Ирины Владимировны, а своего ума не хватило немедленно возвращаться.

В трамвае ему уступили место, он протолкался к дверям, когда надо было выходить, спустился со ступенек. И даже сделал несколько шагов по тротуару. Потом упал. Протез отскочил. Курсовые работы шлепнулись в грязную лужу. Протез нельзя поправить, как поправляет съехавший чулок барышня – кокетливо забрала юбку и колдует с подвязкой. Чтобы заново приспособить протез, надо полностью освободить культю, то есть снять штаны... В центре Москвы...

Он мог только ползти. И полз – в кусты нераспустившейся, но набухшей соцветиями сирени. Курсовые работы собрали всю грязь луж. В последнем бою было проще. Тоже полз, под обстрелом, но снарядов, а не людских глаз, один, а не при публике. В кустах он снял брюки, приладил

протез, попытался встать, упал, снова оголился и надел «пропуск в свободную жизнь». Так три раза. Потом заплакал, завыл. Хотелось расколошматить модельный протез о землю, чтобы этого не сделать, прижимал искусно-искусственную ногу к груди.

Подошли две женщины, спросили, не нужна ли ему помощь? Да, нужна, проводите, пожалуйста, до трамвая. Я готов оплатить, у меня есть три рубля или около того. Что вы, какие деньги, опирайтесь на нас.

Они не просто посадили его в трамвай, они доехали с ним до Марьиной Рощи – почти час времени. И не задавали ему вопросов, чутко поняв, что к разговорам он не расположен. Василий сидел, а женщины над ним стояли, одна из них держала его протез – как ребенка, чье личико торчит над плечом. Только это была не голова ребенка, а ступня протеза в грязном ботинке. Женщину толкали, она перекладывала протез-ребенка с плеча на плечо. Вторая женщина сражалась с его тростью, имевшей на верхушке игриво изогнутую змеиную голову. Со змеей чувство меры Гавриле Гавриловичу явно отказало. Женщины тихо спорили. О влиянии Виньона на творчество Бальмонта.

Они вышли на его остановке, и Василий повис на двух хрупких литературоведках. Его дотащили до подъезда. По лестнице, одной рукой держась за перила, он поднимался полусамостоятельно. Спина не болела, она отсутствовала, вместо нее вырос горб, в котором поселились пчелы.

У дверей квартиры его запас христорадничания кончился. Прислонившись к косяку, он забрал у женщин рюкзак, трость и протез. Поблагодарил, дождался, пока они спустятся на пролет, и ввалился в квартиру. Именно ввалился – распластался в коридоре. Пополз к своей двери под охи и ахи сбежавшихся соседок. Под обстрелом, еще раз убедился, было легче.

На передний край выступила Марьяна и запретила соседкам ему помогать. За что он был ей признателен. Как и за ее последующие действия. Он дополз до кровати, подтянулся, свалился. Марьяна поставила в угол протез и трость, вытряхнула рюкзак – раскисшие тетради в фиолетовых разводах чернил. Содержание курсовых он восстановит легко, но добыть тетради!

– Чая? – спросила Марьяна, не поворачиваясь к нему лицом. – Или водки? После водки вы большой затейник.

– Мне! Ничего! Ни от кого! Не требуется!

– Да? – повернулась Марьяна. Она смотрела с удивлением и осуждением.

Василий последнее время отмечал на ее лице эмоции, раньше видел только серое пятно.

– Даже мертвым требуется участие. И счастливы те мертвые, что нашли упокоение при участии.

– Вы монашка? Или психолог?

– Я учительница русского языка и литературы, работаю в школе. Вам пришло письмо, – Марьяна положила на стол конверт. – Пожалуй, все-таки чая принесу через несколько минут.

Только она вышла, Василий склонился и нашарил под кроватью банку, в которую справлял малую нужду. Последний час, кроме всех прочих бед, он помирал от желания отлить. Однако просить литературоведок, чтобы отвели его в кусты, или обмочиться у них на руках – это уже слишком. Учительница русского языка и литературы. Везет ему на филологинь.

Марьяна тихо постучалась и через несколько секунд вошла. Умница, воспитанная девушка!

– Вам уже легче? Возьмите костыли. Где чистая одежда? Я попросила женщин, они ушли с кухни. Вам следует помыться и переодеться.

Единственный кран с холодной водой имелся только на кухне.

– Действительно, – поднялся Василий, – грязный как черт. Попластунски передвигался по столице. Рожденный ползать летать не может. Кто это сказал?

– Максим Горький. Он имел в виду не способ передвижения, а силу духа.

– Возьмите на подоконнике, в газету завернуты пирожки, печенье.

Спина отдохнула и уже терзала не страшно. Пчелы жалили в полсилы. С чистой рубахой и военными галифе, вторыми и последними его штанами, на плече, с мыльницей в кармане он отправился на кухню мыться.

Они пили чай, ели пирожки с поминок Гаврилы Гавриловича и молчали. Василий только что прочел письмо от Митяя из Погорелова. Марьяна не задавала вопросов, хотя было ясно, что Василий получил плохие вести. С Марьяной молчать было легко, хотя обычно Василия нервировали люди, которые не умеют сидеть с закрытым ртом и от тебя ждут пустой болтовни.

– Давайте выпьем водки? – предложил Василий.

– Конечно.

Ни он, ни она не сдвинулись с места.

– Это письмо от моего двоюродного брата, – сказал Василий. – Ему, как и мне, почти двадцать лет, – почему-то прибавил возраст Василий. – У

брата три контузии, ранение в голову, комиссовали. У него посттравматическая эпилепсия.

– Печально, но не смертельно. Равно как и ваше увечье. После войны будет, наверное, много мужчин-инвалидов. Вместе с теми, кому повезет вернуться здоровыми, они будут восстанавливать заводы, писать книги, снимать фильмы, учить детей.

Василий слышал, что муж Марьяны погиб в первые месяцы войны под Москвой.

– Как звали вашего мужа?

– Игорь.

Сказала и уставилась на него с испугом, как будто именно Василий сообщил ей страшное известие.

– Простите!

Он не умел утешать, и за что извинился, сам не понял. Глупо просить прощения за то, что тебя не убили.

– И-и-горь, – повторила Марьяна. – Сначала мне казалось, что я не буду дышать, но дышала. Что сердце мое остановится, но оно билось. Не смогу работать, но вышла на работу. И... я не могла вслух произнести его имя. Мне казалось, если я скажу... И-и-горь... то голова моя разлетится на кусочки, я погибну. Жива, голова на месте. Где там ваша водка?

Соседки их давно поженили. Женщин хлебом не корми, дай сосватать. А тут двое молодых и друг другу подходят – оба интеллигентные и примороженные. Велось даже тайное наблюдение – не шастают ли по ночам из комнаты в комнату.

Не шастали. До отъезда Марьяны в летний пионерлагерь (детей старались вывезти, чтобы матери могли трудиться по несколько смен) они еще только один раз посидели в его комнате. Столкнулись в коридоре, Марьяна держала в руках букет. Василий едва не спросил, не от поклонника ли, вовремя заткнулся, поразившись тому, что задал бы неуместный вопрос с вдруг вспыхнувшей ревностью. Марьяна сказала, что у нее сегодня день рождения. А у Василия была бутылка коньяка, подаренная ЕЕ. Кем-кем? Начальницей, Евдокией Емельяновной, которую смущает, что все мужики пьют, а он отказывается, а без водки разве войну выдержишь. Вот и приобщает его к пьянству с помощью какого-то многозвездочного коньяка.

Разговаривать с Марьяной было так же легко, как молчать, тем более под коньячок. Она рассказывала смешные истории из своего московского детства. Ее воспитали дедушка с бабушкой, родителей не помнила, они

погибли в Гражданскую войну. Дедушка хотел, чтобы она стала пианисткой, а бабушка желала видеть ее великой балериной. Они так забавно спорили, при том, что Марьяна ни к музыке, ни к танцам не имела абсолютно никаких способностей. Потом дедушку с бабушкой арестовали, ее отправили в детдом. Там она встретилась с Игорем и больше не расставалась, вместе поступили в педагогический институт, вместе работали в школе, он математику преподавал.

Василий коротко сказал, что его отца тоже арестовали и расстреляли, он был председателем большого сибирского колхоза.

Неожиданно для себя поделился своей мечтой – участвовать в создании атомной бомбы. Рассказал, что собой представляет это оружие.

Впервые за вечер с Марьяны слетело благодушие.

Она ужаснулась:

– Снаряд, который уничтожит город? Тысячи людей?

– Ты не понимаешь! Это оружие сдерживания войны! Представь город, окруженный высокими стенами. За стенами живут варвары, которые постоянно хотят разграбить город. Но варвары вооружены мечами, копьями, секирами. Они не суются в город, потому что в бойницах торчат дула пулеметов. Сунутся – пулеметный огонь их уложит, косой скосит.

– Я понимаю... СССР – единственная страна социализма, строящая коммунизм. Вокруг враги. У нас свобода, а у них капиталисты угнетают рабочих. Но... Вася! Это же страшно! Если в первом действии пьесы на стене висит ружье, в последнем акте оно должно выстрелить.

– Кто это сказал?

– Чехов.

– Он умер до Первой мировой войны и не видел этой...

– А следующая превратит нашу планету в пустыню?

– Против силы бывает только сила, против оружия только оружие.

– Мы как дикари?

– Нет, потому что сейчас идет невидимая война научных достижений. Это области расширяющегося знания, которые неподвластны среднестатистическому уму.

– Твоему подвластны?

– Надеюсь.

– Тогда наукой должны управлять, руководить страной люди высочайшего морального совершенства, как святые. Они есть? – спросила Марьяна. – Они расстреляли твоего отца и моих деда с бабушкой. Кажется, я опьянела. Пойду. Еще рюмка и как некоторые, не будем показывать пальцем, поползу... по столице... в смысле – по коридору.

Василий хохотал, наверное, пьяно. И нервно – не хотелось, чтобы уходила эта женщина. Раньше она казалась серой. Надо менять очки. Она удивительная. Красивая. Сдержанная, холодная, лишенная сантиментов, ироничная по-особому. Вдруг ввернет шпильку – в самое больное, что под запретом, как ребенок, что корку на твоей ране рассматривает, а потом быстрым неуловимым движением пальчика сдерет ее – ой, розовенькое, смешно, зажило, а ты боялся.

Он забрал у Пелагеи Ивановны «козью ножку». Больше он не будет строить из себя героя, научиться ходить на простом протезе по системе, которую сам придумал. В комнате было негде, а в «служебном кабинете», то бишь в сторожке на заводе от стенки к стенке на уровне талии прибил две леги, те же брусья, заходил между ними, опирался, тренировал шаг. Через две недели уже мог держаться одной рукой, то есть передвигаться с тростью. Которую подогнал по росту, благодаря хромоту начальнику цеха, объяснившему, что трость надо держать у здоровой ноги, а вовсе не «по логике» у калеченной, и выставлять вперед одновременно с больной, то есть отсутствующей ногой. Он уже мог ходить на «козьей ножке» с тростью, но передвигался по улице на костылях. Он боялся. Иррациональный страх – упал, протез отвалился, надо ползти в кусты, в подъезд ближайшего дома... Побороть этот страх было труднее, чем написать курсовую работу по математическому анализу. Тогда он составил себе график по дням, хотел на неделю, потом, трусливо, на две недели: в понедельник я делаю на протезе ночной обход внутри склада, во вторник – внутренний и внешний периметр, в четверг – от дома до работы, в пятницу – обратно. Страх был настолько велик, что в первые проходы он привязывал к спине своих незаменимых помощников – костыли. Выглядел дурак дураком – хромой, с тростью, еще и над башкой костыли торчат. Зато не поползет, если свалится. К сентябрю, к началу работы факультета, он обязан передвигаться свободно, без костылей под мышками или за спиной. Сдавать экзамены без жалостливых скидок на его инвалидность, хватит христорадничать!

Когда забирал у Пелагеи Ивановны «козью ножку», она снова завела разговор о квартире, об уплотнении. Василию нужно только написать заявление в ЖЭК, там работает «такая хорошая женщина, от червонцев отказалась, только сервис кузнецовский взяла». Что в заявлении писать «хорошая женщина» подсказала. Василий, как инвалид и орденоносец имеет право. Он был готов настроичить, подмахнуть любую бумажку, но только не ходить по конторам, не высиживать в очередях. Этого и не

требовалось.

Под диктовку Пелагеи Ивановны он писал заявление «о предоставлении поселения с семьей».

– С какой семьей? Я один.

– Вася, пиши, как женщина сказала! Твое дело молодое, сегодня нет семьи, а завтра есть.

– Завтра вряд ли. Мне точно не придется по конторам со справками бегать? Пелагея Ивановна, милая, мне некогда...

– Ни-ни! Не придется! Я ей серебряные столовые приборы обещала. Пиши, Васенька!

В середине августа он нашел Егорку.

С самого начала было ясно, что разыскать брата – задача архисложная, практически нерешаемая. В круговерти войны: отступлений, окружений, бегства, эвакуаций потерялись тысячи людей, и найти близких не могли даже те, чей уровень государственной значимости был несравним с Васиным. «Генералы не могут своих детей отыскать», – сказала ему девушка в приемной одной из инстанций. Но Вася, тогда еще на раздолбанных костылях, методично обошел все возможные учреждения, везде отсидел очереди и оставил заявления, которые, без сомнения, никто рассматривать не стал.

Хаос, как любое физическое явление, имеет свои законы. Теорию хаоса физикам еще только предстоит освоить, и это будет интереснейшее дело. Пока же он должен решить для себя, есть ли объект, способный передвигаться в хаосе по условно заданным траекториям. Есть. Корреспондент, который брал у них с Митяем интервью в госпитале, заставил фотографироваться с игрушечными автоматами. Как зовут корреспондента, Василий не помнил, да и журналист ему не понравился, фанфарон: «Вообще-то я писатель, у меня книжка о строителях Днепрогэса вышла. Не читали? Странно». Статья в «Красной звезде» была подписана В. Колесов. Обращение «товарищ Колесов» заменяло имя и отчество.

С товарищем Колесовым Василий разговаривал в вестибюле редакции.

Журналист скривился:

– Это практически нереально. Мальчишка сбежавший, где-то в партизанах...

– Понимаю, что маловероятно. Но ты все-таки запомни – Егор Медведев, тринадцать лет, из Сибири.

– Запомню, – пообещал Колесов и тут же отвлекся, увидев входящих в дверь мужиков. – Ребята! Вернулись! С Северного флота!

Мгновенно забыл о Василии, даже не попрощался, бросился обниматься с товарищами.

Обращение к товарищу Колесову в ситуации хаоса было несколько не надежнее, чем заявления в инстанции. Но именно оно сработало.

Василий пришел на смену, его встретила ЕЕ. Даже в летних нарядах она оставалась похожей на толстую птицу.

Глаза навывкате:

– Тебе звонили! Из «Красной звезды»! Вот номер, набирай, – сняла трубку телефонного аппарата и протянула Василию.

Он даже не сообразил, что это связано с Егором, со времени разговора с товарищем Колесовым прошло много месяцев.

– Алло! Алло! Говорите! – требовала телефонистка.

Василий продиктовал номер. Ответила женщина, по голосу немолодая и усталая.

– Моя фамилия Фролов.

– Дальше?

– Вероятно, со мной хотел связаться товарищ Колесов.

– Он погиб... Хотел на танковую битву под Курском, послали к брянским партизанам, там был большой рейд. Володя забияка, всегда лез в самое пекло... Как, говорите, ваша фамилия?

– Медведев.

– Да, я вам звонила. Вещи Володи привезли... в крови. Записная книжка, последние строчки, читаю: «Егор Медведев, возможно, тот самый брат. Отправлен санитарным рейсом в госпиталь в Москву. Передать Василию Медведеву, работает на заводе «Красный штамповщик». Это вы? Вам что-то это говорит? Что-то важное?

– Да, очень! Большое спасибо!

Василий стал объезжать госпитали и нашел Егорку в пятом по счету, в Сокольниках.

Худой длинный пацан, Василий его не узнал, Егорка не узнал Василия.

– Брат?

– Ты кто?

– Вася.

– Честно?

Подпрыгнул и бросился на шею, едва не свалил.

– Потихе, видишь, я с тростью.

– Зачем тебе палка?

– Для форсу. Тебя выписывают, я уже обо всем в канцелярии госпиталя

договорился, бумаги получил.

– Честно? Вот это марш, едрит твою! А то они хотели меня в детдом или к мамке в Сибирь. А мне надо обратно, в наш полк!

– Собирай вещи.

– А ты знаешь, что меня медалью «За отвагу» наградили? – суетился Егорка.

– Пряма семья орденосцев. Хорошо, что ногу не оттяпали, был бы драматургический перебор.

Последняя фраза почему-то прозвучала в его голове с интонациями Марьяны.

По дороге домой они заглянули на Главпочтамт и отбили телеграмму в Погорелово:

«егора нашел жив здоров подробности письмом вася».

У Егора, как рассказали госпитальные врачи, были множественные осколочные ранения от взорвавшейся мины. Осколки исполосовали парнишку, он покрылся кровью, точно оросился дождем. Он и сейчас, как ветряночный, был утыкан заживающими ранками. Егорка, окровавленный ребенок, выглядел настолько жутко, что его забросили в самолет, приземлившийся на партизанском плацдарме в Брянских лесах. Плацдарм держали круговой обороной, люди гибли, давая возможность увезти в лес доставленный груз оружия, медикаментов. Самолет взлетел и ушел в сторону Москвы, что было чудом, большой удачей.

Ранения Егорки не были опасны для жизни, кости и артерии не задеты. Хирурги собрали в баночку и вручили Егорке пятьдесят два извлеченных из его тела осколка. На всю оставшуюся жизнь он останется рябым, хуже, чем после оспы. Зато живым.

Когда прошла эйфория от обретения младшего брата, Василий понял, что заимел не одну проблему, а ветвистую гроздь проблем. Егорку надо было кормить, одевать, стирать за ним, оформлять в школу, покупать ему школьные принадлежности, денег не хватало. Это – ладно! Если бы со стороны брата имелось какое-то понятие и помощь не из-под палки. Как же! Ведь это был партизан-герой. Он гонял по улицам и тряс перед местной шпаной своей банкой с осколками и медалью, он стал заводилой у мелких уголовников. Пошел в школу, на два класса ниже, чем по возрасту. Он называл одноклассников вшами, а учителей тыловыми крысами. Ругался матом и нахально курил на переменах между уроками. Он желал удрать на фронт, в тыл фашистам, и эти угрозы были весьма реальны.

Василия вызвал директор школы. До этого вызывала классная руководительница, но Василий не являлся, потому что не успевал. Ночами работал, днем, восстановившись в университете, сдавал экзамены. В записке директора говорилось, что вопрос стоит об уголовной ответственности. В этот день у него были два экзамена и зачет по трем курсовым, на которые не поехал. В этот день он получил письмо, в котором Митяй сообщал, что их мама умерла.

Он слушал директора с каменным лицом.

Егор в банде сопливых уголовников обчистил киоск. Милиция замела всех, кроме его брата, который ловко смылся, но арест Медведева только вопрос времени, и тут не помогут ни медаль, ни партизанское прошлое. Егор срывает уроки, он неуправляем, не участвует в общественной жизни и в пионерском движении. На педсовете уже стоял вопрос о направлении Егора Медведева в спецколонию. Не хватало только уголовного преступления и задержания милицией.

– Вы меня слышите? – спросил директор. – Вы меня услышали?

– Да. До свидания! – Василий вышел из кабинета.

Дома он выпорол Егора. Правильнее сказать – избил. Впервые, хотя давно подмывало.

Хлестал ремнем брата, не контролируя силу накачанных, благодаря костылям, рук. Бил, несмотря на раны мальчишки, некоторые из которых вскрылись и закровоточили. Бил и орал. Как никогда и никого не бил, как никогда ни на кого не орал.

– Мать умерла! Наша мама! А ты! Хренов герой! Медалька у него! Банка с железками! Мразь! Слюнтяй! Подонки уголовный!

Егорка закрывался руками, но не скулил и пощады не просил. Василий остановился, когда его рука не смогла двигаться. Со спины ее захватили в кольцо.

Марьяна.

– Хватит! Вася, прекрати! Успокойся! Не качайся, мы сейчас свалимся, у нас на двоих три с половиной ноги. Сейчас я отпущу руки, ты будешь стоять ровно, мы выйдем из комнаты под молчаливый восторг зрительного зала, соседки аплодировать, надеюсь, не станут. Егор! Раны зализать или помазать зеленкой! Из помещения ни ногой! Ты понял? Только попробуй удрать! Бабы будут стоять на карауле с приказом тебя не выпускать. А если какая-нибудь попробует пожалеть тебя, сюсюкать, я ее детям в четверти нарисую громадные двойки. Все понял? Молодец, кивнул.

Василий впервые оказался в комнате Марьяны. Обстановки не

рассмотрел, ему было не до интерьера. Сваленный в глубокое кресло, он наблюдал за суетой Марьяны. Несколько минут назад это была железная женщина, а теперь бестолковая хлопотунья, обыскивающая шкафы и комоды.

– У меня был кагор. Или портвейн? Бутылка темно-зеленая, внутри темно-красное. Спиртное от времени только улучшается, как учит великая французская литература. Нашла! Вот! Начатое, но пробка крепко сидит. Ведь не отравимся? Сейчас поставлю фужеры. Мы с тобой выпиваем при каждой встрече, опасная закономерность.

– Марьяна, что у тебя с головой?

Прежде у нее были прилизанные волосы на прямой пробор и узел на затылке. Теперь – короткий ежик. Она загорела, помолодела, просто девчонка.

– В голове или *на* голове?

– На.

– Вши. В лагере завелись вши. Мальчикам-то привычно «под ноль» стричься, а девочки очень переживали. Пришлось показать им пример.

Марьяна разлила вино. Василий выпил залпом сладкую патоку, Марьяна лишь пригубила. Взмахнула ладонями, точно нагоняя на него воздух. И Василий легко прочитал ее жест: молчи, молчи, заговоришь, когда захочешь.

Он молчал или очень долго, или вовсе не молчал.

– Мама умерла... А этот...брат... только его мне не хватало. Говори! Ведь тебе есть, что мне сказать.

– Если готов слушать.

– Готов.

– Мама умерла. Счастливы те, у кого была мама! Тебе фантастически повезло. Но везение не может длиться вечно. Егорка. Не стоит объяснять, как сложно этому мальчику, какая сумасшедшая судьба ему выпала? Сто́ит! Егорка, безусловно, хулиган, оторва, разгильдяй и полностью асоциальная личность. Вася! Этот мальчик один на миллион, я тебе как педагог говорю. Он пережил то, что не каждому взрослому под силу, видел то, что не каждому мужику довелось. Теперь его посадили в класс с малявками, а он не помнит даже то, что у них от зубов отскакивает. Таблицу умножения и падежные склонения. Два года в нечеловеческих условиях у ребенка были умножения не математические и склонения не лингвистические. Не перебивай! Не говори мне, что он должен взять волю в кулак. Или что он сибиряк. Это раса особая? Больно гордые нашлись.

– У тебя есть план? Предложение?

– Есть! Ты можешь пропустить свои мозги через мясорубку и за полгода сдать учебный план трех курсов физфака университета. Почему *твой брат* не может то же самое?

– Чего-чего? Университета?

– Школы, конечно. Чего ты усмехаешься? Не строй из себя обреченного страдальца! То есть, наоборот, строй, хоть прикидывайся, но покажи брату, что ты его любишь, что веришь в него. Ты как на него смотришь?

– Как?

– У тебя на физиономии написано: «Свалился на мою голову!».

– Так и есть.

– Вася! Это замечательно, что ты целеустремленный человек. Но все-таки человек, а не танк. Нельзя на всё, препятствующее цели: брата, инвалидность, работу ради денег – смотреть волком. Ты для кого свою страшную бомбу хочешь построить? Для Родины? Она не абстрактна! Это я, наши соседки, твой брат... Егору не нужно ходить в школу! Ему вредно ходить в школу! Пока. Если ты можешь экстерном... может, у вашей семьи экстерн – родовая метка. Вася! Давай я буду заниматься с Егором индивидуально? Давай я подтяну его, после Нового года уже станет ясно...

– Давай ты выйдешь за меня замуж?

– Что-о-о? – поперхнулась Марьяна.

– Знаю, что перед предложением руки и сердца надо говорить про любовь. Я не умею говорить про то, чего не понимаю, а про любовь я не понимаю. Это стихи, читал, какие-то дико... даже не восторженные, а расплывающиеся сознанием, самоуничижительные. Пушкин или Шекспир – нормальные мужики вроде, а стрекотали...

– Вася, ты пьян?

– Нисколько. От твоего кагора тире портвейна и младенец не захмелеет. Я человек материалистической науки и мыслю конкретно. Есть вопрос, ответ есть или пока нет. Вопрос: люблю ли я тебя? Не знаю! Мне хочется быть с тобой, мне рядом с тобой хорошо и покойно. Когда у меня от усталости небо в монетку, хочется, чтобы ты была рядом. Просто была, молчала. Ты потрясающе умеешь молчать. Говоришь, конечно, тоже неплохо. Отдаю ли себе отчет, что ты никогда не сможешь меня любить как Игоря? На сто процентов! Это было бы, наверное, даже предательством его памяти. Марьяна! Сколько прекрасных ребят погибли и погибают! Далее следующий вопрос: влечет ли меня к тебе? Безумно! Я все-таки не сержант из пятого «Б».

– Кто-о-о?

– Пропусти! Бедолаге отрезало, – Василий потыкал в промежность. – Полностью. Но у него уже были дети. Марьяна, не превращай мое объяснение в эстрадный номер!

– Я превращаю? Продолжай!

– На чем я остановился?

– На сержанте... из пятого «Б»... Василий, ты точно не пьян?

– Как стеклышко! Дурацкий разговор, извини! – Он встал, подхватил трость, привычно поймал равновесие, двинулся к выходу из комнаты, тихо бормоча по-стариковски. – Тебя, конечно, не привлекает, не может привлечь... Что я? Смешно... Если бы не излупил брата, не сказал бы... про любовь... бред...

– Привлекает.

– Что? – застыл у двери Василий.

– Ты меня очень привлекаешь.

Он развернулся слишком резко, и не на здоровой ноге, а на протезе, взмахнул в воздухе тростью, кулем свалился у двери.

Марьяна подошла и присела на корточки:

– Расскажешь про пятый «Б»? Это военная тайна? Шифр? Место, где мужчин, – повторила его жест, потыкав в промежность, – лишают, холостят, как лошадей? Я никому не скажу! Только Татьяне Андреевне, она классный руководитель в пятом «Б». Жуткий класс!

Марьяна шутила, он не сразу понял. Веселилась. Серая мышь, железная дама, не склонная к сантиментам, ни словом, ни междометием, ни взглядом не выказывающая жалости и сочувствия. Она ли? Шаловница.

Соседки были довольны: срослось у них наконец. Утром Васька от Марьянки выходил. За братом Васьки тоже следили. Егорка, хоть и герой, а мальчишка кислотный. Марьяна не просила его стеречь, но все же слышали: как сначала Васька орал, потом Марьяна пужала. Караулить у Васиной комнаты ни у кого возможности не было – на первую смену к семи утра надо. Завалили дверь корытами и тазами. Станет Егорка на волю рваться – услышат. Не рвался пацан. Василий разгребал баррикаду, чертыхался: «Какой идиот здесь свалку устроил?» Прямо сразу идиот! Лучше бы спасибо сказал.

Это было так хорошо и прекрасно, что не могло быть вечно. Не существует вечного счастья, права Марьяна.

Московская осень – золотая, багряная, с ковром шуршащих под ногами кленовых листьев, каждый из которых произведение искусства. В

Сибири кленов нет.

Экзамены и зачеты Василия, контрольные и курсовые шли точно по графику, который он составил. Декан факультета, замдекана, руководитель кафедры его отмечали. Наверное, способствовали, делали скидку, закрывали глаза на его ошибки и точечные провалы, но виду не подавали – уникальный студент, вундеркинд, инвалид, орденосец, экстерном сдающий учебные курсы, на которых многие рядовые студенты обрастают хвостами несданных экзаменов и зачетов.

Марьяна с Егоркой легко решали все бытовые проблемы, высвободив Василию кучу времени. Марьяна с Егоркой спелись – не разлей вода, Василий даже ревновал, потому что у них появились свои словечки, шутки, перемигивания, да и в целом возник некий союз против него, бирюка. Егорка учился дома и, по словам Марьяны, делал замечательные успехи.

– Скажи брату, что ты его уважаешь, – тормошила она ночью засыпающего Василия, – что рад за него! Похвали его, в конце концов!

– За что? Вот, прогнала мне сон! Не заняться ли нам еще разочек нашим делом?

– Нет, неумный!

– Тогда на рассвете. Ты мне очень нравишься на рассвете, как будто я беру сонную лисичку.

Утром они приходили в комнату Василия, завтракали. Он напрочь забывал о просьбе Марьяны похвалить брата. Она пинала его под столом.

– Ты чего колотишь по протезу? А! Егорка, как успехи в учебе?

– Нормально.

– Это правильно.

Вот и все поощрение. Марьяна раздувала ноздри и бросала на Василия гневные взгляды. Он пожимал плечами: хорошо учиться – это нормально и правильно, никакого героизма. Марьяна злилась.

– Братка!

– Что? – спросил Егорка.

– У меня к тебе просьба.

– Ну?

– Загну! Марьяна не хочет со мной расписываться, – полусерьезно пожаловался Василий.

– Я не нехочу! – возмутилась Марьяна. – Я считаю, что торопиться не следует.

– Все! – поднялся Василий. – Мне надо поработать, выметайтесь! Егорка, тебе Марьяна объяснит про квадратные корни и сложноподчиненные предложения, а ты ей втолкуй, что, сожительствуя со

мной, официально не выходя за меня замуж, она ведет себя как аморальная женщина.

– Как... – поперхнулся Егорка.

– Я тебе матюкнусь! Помнишь уговор? Одно бранное слово – месяц без кино. Но, по сути, приблизительно верно.

– Совершенно неверно! – Марьяна собирала посуду. – Это у вас в Сибири какие-то дикие нравы.

– Правильные у нас нравы. Егорка, скажи!

– В Сибири замечательно!

Они подали заявление в ЗАГС. Егорка оповестил соседок, те стали копить продукты на свадьбу. Но свадьба не состоялась.

Василия вызвали в деканат – на его имя пришло письмо. Обратный адрес – Казахстан, от Фроловых. Писала Ирина Владимировна. Почти каждое предложение с новой строчки, тем самым будто подчеркивалась важность послания.

«Здравствуй, Василий!

Причина твоего молчания нам непонятна, но я уверена, что ты жив. Если жив, продолжаешь учебу.

Тебя не могли снова забрать на фронт после ампутации, о которой нам известно от Галины Ковалевой, с которой у тебя были отношения в госпитале.

В мае Галина Ковалева приехала к нам, поскольку в госпитальных документах был указан наш адрес. В июле Галина родила двух мальчиков, близнецов. Назвали Константином и Владимиром.

Андрей Константинович болен. Мой долг за ним ухаживать. Физической и материальной возможности воспитывать твоих сыновей я не имею.

Телеграфируй получение письма, что будет подтверждением твоего намерения взять на себя заботу о Галине и младенцах. Для выезда в Москву им следует прислать вызов.

В случае твоего молчания в течение месяца со дня отправки этого письма мать и дети перейдут на попечение государства.

Ирина Владимировна»

Первой мыслью было уничтожить письмо. Могло же оно не дойти, затеряться? Легко! На кой черт ему сдались дети? Егорки мало? Какие еще дети? Сразу два. Сына. У Митьки сын, а у него – здрасьте! – два. Утрись,

братка! Митяй любит жену, хотя, судя по письму, в котором она спрашивала, есть ли у брата руки, с головой у Насти не все в порядке. А у Марьяны – отлично! С головой, с телом, с характером – она идеал. Кто-то из поэтов сказал про милый идеал. При чем тут «милый»? «Милый» – это салонный, как собачка болонка. Марьяна – его личный и абсолютный идеал. Ничего ей не говорить. Или сказать потом, когда распишутся. Она не простит. Идеал не живет с предателями. Как будто предателю легко, как будто он спал и видел завести детей от случайной связи. Да и его ли это дети? Галя могла... Фу, совсем гадость! Не могла, конечно. Его близнецы. Мама говорила, что у Турок в роду всегда были двойни. И сам он, кстати, из близнецов, брат Иван умер младенцем. Чего бы и этим, Константину и Владимиру, не преставиться... Опять гадость! Удивительно, сколько мерзости всплывает из глубины души, когда твое семя дает всходы.

Он ехал в трамвае домой, лихорадочно думал, но так ничего и не решил. Ему не пришлось решать, таиться, врать. Марьяна по его лицу поняла: что-то случилось – говори! Она его чувствовала, как... как Гаврила Гаврилович протезы.

Василий протянул письмо. Марьяна читала долго, снова и снова.

– Марьяночка! – не выдержал Василий.

– Видишь, как славно, – подняла Марьяна лицо, враз посеревшее. – У тебя два сына. Поздравляю!

– Не нужны они мне! Что б они сдохли вместе со своей матерью!

– Не смей так говорить! – повысила голос Марьяна. – Следи хотя бы за своей речью, если не умеешь следить за мыслями.

У нее часто прорывались учительские интонации. Она умела держать в кулаке отчаянных лоботрясов. И в то же время была нежной и ранимой женщиной.

– Не прав, извини! – повинился Василий. – Но...

– Но, – перебила Марьяна, – в жизни бывают непреодолимые обстоятельства. Смерть – это непреодолимое тяжелое обстоятельство, а рождение детей – радостное. Ты вызовешь в Москву Галю Ковалеву, женишься на ней, будешь воспитывать детей. Ты наверняка подумал с гордостью: у Мити один сын, а у тебя сразу два. Я тебя знаю. Тут нечего обсуждать, Вася!

– Есть что обсуждать! И ты меня знаешь – правда, ты меня чувствуешь, как... неважно, про протезы не будем. Ты моя единственная жена, сейчас и навсегда, другой мне не надо и не будет! Если ты сейчас скажешь, что бросишь меня, я порву письмо, и гори все синим пламенем! О Гале и этих... детях государство как-то позаботится, оно у нас большое и

доброе. Мы с Егоркой тоже как-то перебьемся. И ты как-то. И всем будет плохо! Очень плохо и очень долго! Второй вариант. Ты не бросишь меня. Я распишусь с Галей. Я их пристрою, я уже знаю куда.

– Василий, это невозможно!

– Все для меня возможно, если ты меня не бросишь.

– Какой-то нелепый разговор.

– Нелепый? Смотри! – Василий разорвал письмо, сложил половинки, чтобы рвать дальше.

Он прекрасно знал адрес Фроловых в Казахстане, но Марьяну его действия привели в смятение:

– Немедленно остановись!

– Ты не бросишь меня, нас с Егоркой?

– Я не могу!

Василий порвал письмо на четыре части, потом на восемь...

– Хорошо! – сдалась Марьяна.

– Что «хорошо»?

– Не знаю! Прекрати уничтожать письмо!

– Повторяй за мной. Василий, я тебя не брошу. Я буду верной женой, пусть не расписанной, невенчанной, даже пусть не верной... Что-то я запутался. Желательно все-таки верной. Марьяночка?

– Буду.

– Скажи: даю слово, клянусь!

– Даю слово.

За ужином Егорка видел смурые лица брата и Марьяны, но был настолько переполнен впечатлениями от фильма «Партизаны в степях Украины», что говорил без умолку. Хотя киношные партизаны не походили на настоящих, а фашисты на фашистов, и хрупкие актрисы, как пушинку, держали автомат у плеча и легко, не качаясь, поливали из стороны в сторону, Егорка бы в восторге от фильма. Без его трескотни за столом царила бы гнетущая тишина: Василий и Марьяна по складу характера относились к тем людям, что переживают молча.

Она попыталась остановить его ежевечерний уход в ее комнату:

– Вася, переночуй у себя, пожалуйста!

– Нет! Ты дала слово!

Они называли свою близость «наше дело». В ту ночь «дело» было по-особенному нежным, и страстно-надрывным, и паническим, и восхитительным. Василий уснул и не слышал, как Марьяна плакала.

Галю с детьми он встречал в конце ноября, когда Москву засыпало снегом. На вокзал взял с собой Егорку – тащить поклажу, сам-то на протезе по тропинкам в сугробах передвигался неуверенно.

Она вышла на перрон. Шинель без петлиц, голова повязана клетчатым платком. Не узнал бы, если б не носик – поросячий пяточок. В руках два кулька из ватных одеял, перевязанных веревкой.

– Васенька! Здравствуй!

– Привет! Еще багаж есть? Это мой брат Егор, он возьмет.

– Чемодан и узел.

– Дотащишь? – повернулся к брату Василий. – Или мне узел за спину?

– Дотащу. Здасьте! А там, в одеялах, дети? Во примочка! Они мои племянники? Они меня дядей звать будут? Умереть и не встать – дядя Егор!

– Хватит болтать, – скомандовал Василий, – пошли!

К трамвайной остановке он шагнул первым, за ним Галя с детьми и Егор с чемоданом и узлом. Чтобы как-то скрасить неловкость вызывающе грубого молчания брата, пока ехали в трамвае, Егорка расспрашивал Галю. Почему дети молчат, они не померли? Покушали и спят? А чего покушали? В каком смысле грудью питаются? А, понял!

Василий смотрел в окно, Галя, полуобморочная от волнения, кое-как поддерживала беседу с Егоркой. Беседе внимал весь вагон.

Василий привез Галю с детьми к Пелагее Ивановне. Егорка уже здесь бывал. Впервые увиденная настоящая отдельная московская квартира с люстрой под потолком, с бархатными шторами в проемах дверей, с буфетами-трельяжами и стульями с гнутыми спинками произвела на него впечатление царского замка.

– Вот и мы, – сказал Василий Пелагее Ивановне. – Вы хотели меня с семьей? Извините, получите!

– С утра жду, проходите! Веничком снег с обуви струсите!

У них получилось говорить в рифму. Только стихов сейчас не хватало.

Пелагея Ивановна суежилась, провожая Галю с детьми в спальню. Василий сел на диван в гостиной – сколько прекрасных часов он провел здесь, слушая Гаврилу Гавриловича. Хотелось вернуться в прошлое и одновременно – уйти, сбежать, удрать – к Марьяне. Она сейчас в школе. Из-за Егорки, с которым занимается до обеда, работает только во вторую смену. Ей пришлось потерять в зарплате и выдержать бой с директором, вплоть до увольнения в середине учебного года. Марьяна директора победила. Она умница, она справится.

– Вася! Вася! – звала Пелагея Ивановна. – Иди ж посмотри на сынов! Ах, славные! Как же их различить-то?

– У Константина глазки круглее и ближе к носику, – отвечала Галя, – у Владимира глазки подальше и губки выпуклее.

Он смотрел на сыновей: два членистоногих с непропорционально по отношению к масштабу тела, большими головами, покрытыми темным пушком. Руки и ноги – как живые веточки, в промежности – явное свидетельство половой принадлежности. Не маленькое свидетельство, опять-таки, если брать, например, размер ладони.

Смотрел и ничего не чувствовал, никакого родительского зова. Пелагея Ивановна рассказывала, что Гаврила Гаврилович умирал от счастья над народившимися сыновьями. Наверное, мужчине, у которого есть дело жизни, цель, мастерство и умение, следует заводить потомство в преклонном возрасте. Галя стояла навытяжку, будто сдавала молчаливому судье заданный урок.

Девочка из крохотного смоленского городка, райцентра, практически села. Она умудрилась семь классов окончить и курсы санитарок. Призвали на войну, за мастерство, ловкость рук в госпитале повысили до медсестер. У нее кавалеров было! Только отмахивайся. Запала на этого – почти Героя Советского Союза, выдержанного, строгого, хоть и безногого инвалида. Отдала ему свою девичью честь. Сколько раз спрашивала? Сотню раз спрашивала: «Ты любишь меня?» Отвечал положительно. Выписался, адреса не оставил, обещал писать, но не писал. Беременность обнаружилась. Это ведь надо было пережить: стыд, страх, демобилизацию и долгий путь в Казахстан – по адресу в истории болезни Васи. Приехала к Фроловым, живот авиационной бомбой вперед торчит. А куда ей ехать? Ее родина под немцами. А на родине кто? Мать больная, жива ли, две сестры и брат. Фроловы не выгнали, за то спасибо. Но все время на дистанции: сами кушают – две тарелки, ножи-вилки по сторонам, она, Галя, отдельно питается. Не по-человечески, оскорбительно. Хотя, конечно, тысячу спасибо им! Помогли детское приданое собрать: распашонки-пеленки, одеяльца. Из роддома привезли, кормили, себе отказывали, с продуктами было плохо.

Она мечтала, что, сойдясь с Васей, все ему расскажет, выплачется, он ее приголубит, похвалит за мужество. Вот он, Вася, смотрит на сыновей как на червяков.

– Васе-е-енька! – протянула, как позвала на помощь. – Ненаглядный мой!

Повернулся к ней, перестал на детей таращиться:

– Галина, нам нужно поговорить!

Ее никто не звал полным именем. Галка, Галчонок, Галинка... Только не официальное – Галина!

– Сегодня поделщик, – чеканил Василий, – в среду я приеду, мы отправимся в ЗАГС, оформим наш брак и зарегистрируем детей. Ты будешь жить здесь, Пелагея Ивановна оформит нашу прописку, свою комнату мне придется сдать. Далее. Пелагея Ивановна – подарок небес. Если ты вздумаешь устраивать бабские склоки, обижать эту женщину, то вылетишь отсюда на попечение и милость государства. Я буду помогать материально... насколько смогу.

Галя чутько уловила его эмоциональное заикание и встряла с вопросом, самым главным:

– Вася! Ты любишь меня?

– Нет! – ответил он быстро и честно. – Когда мы с тобой... прошло меньше... полтора года?...как будто столетия. Есть женщина, на которой я мечтал жениться, теперь не могу. Эта женщина мой идеал.

– А я не идеал? – икала, сдерживая слезы Галя.

– Нет! Ты мать моих сыновей.

– Если бы ты знал, что мне пришлось...

– Всем пришлось, каждому свое! – отрезал Василий. – Война, играть в поддавки не получится. Пелагея Ивановна стол накрывает, я не останусь, Егорка сам доберется, он по Москве шныряет точно крыса с подпаленным хвостом. Запомнила? Приду в среду.

– Васенька...

– До свидания!

Развернулся и ушел, хромая.

Заведующая ЗАГСом, очень похожая на ЕЕ, когда они пришли регистрировать брак, поковырялась в бумажках и возмущенно сдернула очки:

– Молодой человек! Вы подавали заявление с другой девушкой!

– С другой, – согласился Василий, – но обстоятельства, непреодолимые. Распишите меня, пожалуйста, с Галиной... как тебя по отчеству?

– Ивановна.

– С Галиной Ивановной Ковалевой. И если можно, не затягивая, впишите в документы наших сыновей Константина Васильевича Фролова и Владимира Васильевича.

– Как такое возможно? – свела брови заведующая ЗАГСом.

– Это война, – ответил Вася.

– Война, – эхом отозвалась заведующая. – Давайте свои паспорта.

Погорелово – Ленинград

Митяй из башкирского санатория ехал в Омск с остановками, с ночевками на станциях, меняя поезда, вагоны, попутчиков, – пять дней. Высокий, здоровый, косая сажень в плечах, в лейтенантской форме. Никаких зримых увечий, кто скажет, что демобилизованный инвалид? Повезло парню, отпуск дали. Отпуск так отпуск, не рассказывать же попутчикам про эпилепсию и припадки – стыдно. Хотя попутчики его и откачивали – на последнем перегоне случился приступ.

Их, эти чертовы приступы, он не мог предчувствовать – ни в санатории, ни в пути следования. Вот он сидел за столом, смотрел в окно на поезд, мчащийся в противоположном направлении. А вот, буквально следующую секунду, почему-то лежит на полу, в рот ему пихают черенок деревянной ложки, вокруг суетятся испуганные люди. Ему совершенно не больно, только зверски хочется спать, а говорят, что в судорогах он корчился страшно, боялись, язык откусит.

О дате приезда Митяй специально не сообщил, хотел сделать сюрприз. Часть пути до села он проехал на попутке, верст пять нужно было идти пешком.

Митяй напевал:

*Бор густой, бор густой,
А в бору девчата,
Сибирячки, как огонь,
С переливами гармонь,
С переливами гармонь,
С огоньком ребята!*

Дальше слов он не знал, поэтому пел по кругу. И представлял, как входит в дом, за столом сидят родные, ужинают. Он здоровается, они застывают на мгновение, потом, радостные, веселые, бросаются ему на грудь, он сгребает их в охапку. Или они работают в поле: закатное солнце, колышется рожь, на среднем плане Настя с ладошкой, козырьком приставленной ко лбу, похожая на колхозниц с картин советских художников-реалистов. Жена узнает его, мчится по полю, смеется счастливо, летит, белый платочек срывается с головы... Это нужно

рисовать совсем в другой манере.

Сюрприза не получилось, да и веселья.

На околице встретились деревенские пацаны, возвращавшиеся с рыбалки:

– Ты чей будешь?

– Медведев.

– Тети Марфы сын?

– Точно.

Он даже не успел выяснить, в каком доме живет Прасковья Медведева, как пацаны развернулись и с криками: «Степкин братка с войны вернулся!» – понеслись по улице, голыми ногами взрывая пыль. Адрес можно было не спрашивать: путь указывали лужи из пролившихся ведерок, в некоторых даже рыбешки плескались.

Метров ста не дошел до калитки, как из нее выскочили две бабы, в которых Митяй не сразу узнал жену и мать. Настя бежала совсем не изящно, не летела, как на картине, которую он мысленно представлял. Настя всегда бегала смешно: коленки вместе, а пятки в стороны отбрасываются, как крылышки.

Митяй поставил на землю чемодан, скинул вещмешок и раскинул руки. Настя влетела в него и вцепилась, ей мешала скатка шинели, переброшенная через грудь. Настя в каком-то исступлении пыталась подлезть под скатку. Будто Митяй мог пропасть, раствориться, исчезнуть и ей, Насте, обязательно надо прилипнуть к нему или даже забраться внутрь него. Сбоку его захватила за шею мать, голосившая: «Ой-ё-ёшеньки...» А Настя, пока он не прижимал ее к себе крепко, тихо верещала.

Оповещенные рыбаками-глашатаями люди стали собираться вокруг. Мужики курили, бабы вытирали концами платков и косынок слезы на лицах. Митяй был первым мужиком, вернувшимся в село с войны. Откуда-то примчался Степка, с разбегу запрыгнул на брата, ощутимо ударив его по голове.

– Чертяка! – выругался Митяй. – Что ж ты меня по башке лупишь? Она и так у меня контуженная. Все, Настенька, все! Я с тобой, любимая, успокойся, не дрожи! Мама, здравствуй, – поцеловал, неловко вывернув шею. – Степка, слезь с меня, завалишь! Здравствуйте, люди! Всем доброго здоровья!

Ему отвечали, поздравляли со счастливым прибытием. В глазах односельчан была и радость, и печаль-зависть. Он разглядывали Митяя жадно, словно хотели увидеть в его облике черты своих воюющих детей, мужей, отцов. От этого внимания Митяю было неловко. На его памяти

сибиряки никогда не «лупали глазами», это считалось невоспитанностью.

Марфа пришла в себя быстрее Насти, разжала объятия, шагнула в сторону, но говорить по-прежнему не могла.

– А где мой сыночек? – спросил Митяй жену как маленькую. – А кто мне его покажет?

– Да, конечно, пойдем! – ответила Настя.

Она так и не отлипла от мужа, мешала ему идти. Чемодан подхватил Степка, мать – вещмешок.

Тетя Парася, обнявшись и расцеловавшись с племянником, разрыдалась так, что напугала Аннушку и Илюшу. Девочка юркнула под стол, а малыш истошно завопил.

– Голосок приличный, – взял сына на руки Митяй, – оперный, можно сказать.

Илюша вырывался, извиваясь, дрыгая руками и ногами, плакал еще отчаяннее.

– Он привыкнет к тебе, привыкнет, – торопливо говорила, оправдывала сына Настя. – Дай его мне, успокою!

– Нет-ка, я сам, – возразил Митяй. – Я так долго к нему шел. Мы сейчас полетам, сынка, – он стал подбрасывать малыша вверх. – И поплаваем, – положив сына на ладони, волновыми движениями изображал лодку. – Полетаем и поплаваем! Он у меня летчик-подводник!

С годовалым Илюшей никто таких восхитительных кульбитов не совершал. Малыш замолчал, а потом пришел в полный восторг, завопил уже радостно.

– Будет тебе! – забрала внука Марфа. – Утряс совсем, мало нам одного контуженного?

Сказала и осеклась – вдруг обидела сына? Только усмехнулся, не осерчал.

Присел на корточки:

– Какая симпатичная девочка под столом прячется! Да не Аннушка ли Медведева?

Аннушка помотала головой. Она была пуглива до крайности, по любому поводу и без повода пряталась под столом, на печи, по углам.

– Подумай хорошенько, я ведь Аннушке гостинец привез, баночку монпансье. Кому ж отдать? Степке?

– Не! Мне!

– Тогда вылезай.

Парася с Марфой переглянулись: славно Митяй с детками обращается, хороший из него отец будет, ласковый и добрый.

Матери и тете Митяй привез по платку, Степке вручил солдатскую пилотку со звёздочкой. Брат от восхищения потерял дар речи, хотя обычно заткнуть его было невозможно.

Труднее всего Митяю было выбрать подарок жене. Он три раза ходил на барахолку. Конечно, следует покупать что-то практическое: кофту, платье, обувь. Но хотелось и приятное, легкое, памятное. Набор пластинок? Брошь? Книгу стихов? Ни на чем не мог остановиться, пока не увидел на прилавке фарфоровые статуэтки. Меж советских фигурок пограничника с собакой, летчика в шлеме, шахтера в каске, грудастой колхозницы, кошечек, белочек и медведей стояла явно дореволюционного происхождения балерина. С точки зрения выверенности центра тяжести фигурка была безупречна: танцовщица опиралась на подставку крохотным носком пуанта. С художественной точки зрения: кокетливо задранная вторая ножка, фривольные оборки юбочки, манерно изогнутые руки, кукольно-тупое личико – отдавала буржуазно-мещанской безвкусицей.

Митяй вспомнил. Ему было лет десять или одиннадцать. У матери имелась шкатулка, которую строго-настрого трогать было нельзя, даже касаться. Но какой мальчишка устоит перед подобным запретом? Он не устоял. Ничего интересного в шкатулке не было: какие-то бумажки, бусы, сухие цветочки. И фигурка балеринки. Митяй взял ее в руки, чтобы рассмотреть, и тут зашла мать. Она должна была отсутствовать часа два! На рынок пошла, но почему-то вернулась.

Увидела в его руках статуэтку и клокочуще-испуганно пробублькала:

– Не трожь мою статутку!

Митяй в тот же момент уронил фигурку, разбившуюся на множество осколков. Мать рухнула на колени, принялась сгребать их, поняла, что уже не склеить, и заплакала – странно, без слез, но с отчаянием и воем. Потом несколько дней обращалась к нему сквозь зубы и только по надобности – как к врагу, которого вынуждена терпеть в своем доме.

Когда растаяла обида, и они помирились, Митяй спросил мать:

– Почему та статуэтка ценной была?

– Не твоего ума дело, – отрезала мама.

Оставшись наедине с отцом, спросил у него:

– Ты маме балеринку подарил? Когда вы были женихом и невестой?

– Не я, гы-гы, брат Степан, гы-гы.

Дядя Степан, арестованный и расстрелянный, пусть невинно, как убеждена мама. Неужели его подарок столь дорог?

Митяю тогда не пришло в голову, что мать и дядю Степана связывали какие-то особые отношения. Он вообще скоро забыл про свой проступок. И

когда в поисках подарка для жены увидел статуэтку на базаре, когда вспомнил тот случай, не заподозрил маму в пошлой связи. В их семье, по его глубокому убеждению, грязь разврата существовать не могла. Он просто подумал, что у женщин подобное произведение, мягко говоря, искусства, вероятно, способно вызвать трогательное умиление. Фигурка изящна до приторности, а современное женское бытие лишено изящества. На фигурку как бы переносятся мечты, она становится талисманом. Брат Васятка говорил: «Как же я ненавижу психологию!» И был отчасти прав.

Статуэтка, завернутая в исподнее, прекрасно доехала в чемодане, не раскололась.

– Мило, прелестно! – поблагодарила Настя, скрывая удивление.

Прежде Митяй никогда не выказывал любви к мещанскому фарфору.

Он посмотрел на мать, будто спрашивая: «Помнишь?» Будто прося растолковать Насте ценность этого «психологического» подарка.

Марфа схватилась за горло и резко повернулась к ним спиной:

– Пойду насчет бани договорюсь.

Митяй отправился в правление колхоза утруиваться на работу уже на следующий день. Марфа, Настя, тетя Парася уговаривали его не торопиться, отдохнуть несколько деньков.

– От чего отдыхать? – спросил Митяй. – От санатория? У меня руки почти не дрожат и уже слышу нормально.

– Кого? – не поняла Марфа.

– Голос совести.

Он определился на самую тяжелую работу – пахать под озимые. Тракторов не было, стояли сломанные, чинить некому. Механики и трактористы на фронте, теперь танкисты.

Пахали плугами на лошадях и быках. Адский труд, никакие спортивные тренировки в сравнение не идут.

«Как же наши предки? – спрашивал себя Митяй. – Выкорчевывая лес, по целине? Так, наверное, и вывелась порода сибиряков. Путем естественного отбора, как таежные медведи».

Приступов у него не было два месяца, хотя уставал до изнеможения. Об эпилепсии любые разговоры пресекал – не о чем толковать, бесполезно.

Уже отсеяли озимые, возвращались с Настей домой. Вечер был тихий осенний, солнечный, с остатками перинного летнего тепла, пронизанного невидимыми дуновениями холодных воздушных ручейков. Спрыгнули с телеги, решили пройтись. Им редко удавалось побыть наедине.

Настя в лицах рассказывала, как решила, что у Митяя отрезаны руки.

Это было так логично! Если у Васи нет ноги, то Митяю оторвало руки. Она насмеялась над своими страхами и действиями, выставляла себя паникершей, вздумавшей отправить идиотскую телеграмму начальнику санатория, написавшую Василию письмо в официальных выражениях, вроде «соблаговолите сообщить мне...».

– Твой брат наверняка думает, что я похожу на канцелярскую крысу. Зато он прислал вырезку из «Красной звезды», и вы мгновенно стали героями. Видел перепечатку из «Омской правды», что висит в рамочке в правлении? Такая же и в школе. Теперь тебя будут приглашать выступить на пионерских сборах и на комсомольских собраниях.

– Ни за что!

– Не отвертись. Народ должен знать своих героев! – с пафосом произнесла Настя, и было непонятно, говорит она серьезно или шутит. – Твой долг донести до масс правду войны, ее дух и, так сказать, запах.

– Запах? – переспросил Митяй. – Война смердит. Ее главный запах – дерьма. Из окопов, с батареей. Обустраивать туалеты некогда, в полный профиль окопы-то выкопать не всегда получалось. С немецких позиций воняло аналогично. Война – это дерьмо, во всех смыслах слова.

– Звучит не куртуазно, но достоверно. В Ленинграде водопровод и канализация перестали работать еще в сентябре, а потом у людей просто не было сил выносить отхожие ведра, выливали за дверь.

Они впервые заговорили о пережитом. Ни Настя, ни Митяй не предавались воспоминаниям. Уж слишком болезненными они были, эти воспоминания. Это как глубокий порез – ты можешь вернуться в полноценной жизни, когда рана заживет, будешь ковыряться в ней – вернешься очень не скоро. Только война – это порез не на руке, а по сердцу.

– Посмотри, красотища какая! – сменил тему Митяй. – Эх, завидую!

– Кому?

– Художникам, которые выезжали на этюды, писали пейзажи. У них была не жизнь, а мёд.

– У нас тоже будет мёд! Обязательно! А пока насладимся, лицезрея. Посмотри, как причудливо играет солнце меж щелей забора! Будто мы идем вдоль волшебного музыкального инструмента с темными клавишами – досками, и красными, светящимися...

Она не договорила. Митяй остановился, а потом рухнул на землю, потерял сознание.

Это было страшно: искаженное лицо, сотрясаемые судорогами руки и ноги, выгнувшаяся дугой спина. Это длилось невероятно долгие три или пять минут, в которые она не знала, что делать, только голосила: «Митя!

Митенька!» – падала на него, пытаясь усмирить взбунтовавшиеся руки и ноги, лезла в рот, пыталась разжать железно стиснутые зубы – говорили, что припадные могут откусить себе язык, надо вставить что-то, ничего у нее не было, путь ее пальцы, пусть откусит. Господи, как он мучается!

Митяй открыл глаза:

– Настя? Почему ты плачешь?

– Тебе больно? Тебе жутко больно?

– Был приступ?

– Да.

– Гадство! Всё, проехали!

Митяй встал и пошел вперед, шатаясь.

– Ты испытываешь страдания? – не отставала жена. – Отдохни, не торопись.

Никаких страданий он не испытывал, только желание спать. Даже на фронте, когда по трое суток без нормального отдыха, когда меняли дислокацию, перетаскивая орудия по грязи, он не испытывал такого неимоверного желания поспать. Превозмогая это хотение, брел, шатаясь, сил успокаивать жену не было, ее причитания только мешали, заставил себя не слышать их, кое-как добрал до дома, вошел, рухнул на кровать и, наконец, счастливо отключился.

Утром проснулся живой-здоровый, голодный, сходил на двор, умылся, вспомнил, что обещал кузнецу помочь с ремонтом инструментов, надо поторопиться. Мать, жена, тетя Парася с опрокинутыми лицами, тут же бабка Агафья, чикчирикнутая травница. У него вчера был приступ, сейчас они будут кудахтать, Митяй замкнулся и насупился.

Боятся заговорить, смотрят, как он ест. Может, промолчат? Не вышло.

– Митенька, – подала голос мать.

Она называла его Митенькой, по пальцам пересчитать: когда болел в детстве, когда на войну уходил. Он для нее, как и для близких, только для семейных, – Митяй.

– Предмета для разговора нет! – жестко перебил он. – Болезнь неизлечима, следовательно, все рассуждения бессмысленны!

– От падучей фиалка или софора? – подала голос бабка Агафья. – Или обе? Я варила.

Митяю только снадобий сумасшедшей старухи не хватало! Он считал свою болезнь позорной. Потому что не мог контролировать себя, воля отключалась. Припадный – это хуже любого увечья. Безрукий или безногий постоянно в сознании и не бьются в конвульсиях на потеху окружающим.

Не жена, а мать верно уловила его чувства и заговорила именно теми словами, которые он мысленно использовал.

– Шо позорно? Шо стыдно-то? – укоряла мама.

– Шишкойой Семён Баринов, – встряла бабка Агафья.

– Верно, – подтверждающе махнула рукой мама. – Парася, помнишь Баринова? Он с дерева упал, и стало у него после этого лицо периодически кривиться. Говорит-говорит нормально, а потом вроде как широко зевает непреодолимо. Василий Кузьмич говорил, нарушение в мозге не опасное, легко отделался. Никто над Семеном не смеялся. Люди ведь понимают!

– Мне ничье понимание и сочувствие не требуются! – вспыхнул Митяй.

– Достоевский... – начала Настя.

– Петр Первый, Цезарь, – перебил Митяй, – Александр Македонский, Нобель... Мне их перечислял доктор в санатории. Очевидно, у всех этих выдающихся личностей были родные, которые не лезли эпилептикам в душу!

– Это жестоко, – сказала Настя, – обвинять любящих тебя людей в заботе! Хотя, возможно, и по-мужски, очень по-сибирски.

– Фиалка-то, – заговорила бабка Агафья сама с собой, – листья до цветения или после? А может, корешки?

– Нам просто требуется знать, как вести себя, – продолжила Настя. – Ты можешь сколько угодно замыкаться в своем недуге, но заставлять нас терзаться – безжалостно!

Упрек был справедлив.

– Во-первых, – заговорил Митяй, – когда случится припадок, отчего и почему, неизвестно, я его приближения не чувствую. В любой момент. Это как выключатель, – он постучал по голове пальцем, – щелкнули – выключился свет, щелкнули – включился. Во-вторых, как бы я там не выглядел в беспамятстве, запомните – мне не больно! Только жутко спать потом хочется. И в-третьих. Какой идиот придумал, что эпилептик может откусить язык? Большая просьба не совать мне в рот посторонние предметы. На этом всё, лекция закончена. Я буду в кузне, спасибо за завтрак!

Встал и ушел. Злой, даже с Илюшей не поиграл, хотя тот прыгал нетерпеливо на коленях у бабушки Марфы.

– Софора опять-таки, – мыслила вслух бабка Агафья, – научное название? А по-нашему как? Варить ли вашему припадочному?

– Варите, тетя, – сказала Парася. – Спасибо вам большое! Дай Бог здоровья!

– Ох, грехи наши! – тяжело встала из-за стола бабка Агафья.

Ее никто не звал, она имела удивительную способность являться не ко времени и оказываться к месту.

Настя не могла смириться.

Единственным человеком, к которому она могла обратиться за помощью и советом на обозримом пространстве, была корреспондентка газеты «Омская правда» Нина Михайловна. Папа, ленинградские врачи далеко, в Блокаде.

Настя написала Нине Михайловне, изложила ситуацию. Ответ пришел непривычно быстро, через неделю. Из Расеи, выражаясь по-сибирски, письма шли месяцами.

«Приезжайте, – писала Нина Михайловна, – специалистов вы вряд ли найдете, но, волею судеб, я предоставлю консультацию».

Волею судеб покойный муж Нины Михайловны был врачом.

Они пили чай в маленькой квартирке Нины Михайловны, и она осуждала супруга:

– Престарелый храбрец! Ему ведь шестьдесят пять лет было, сердце слабое. Благо хирургом был бы, но ведь невропатолог! И как будто не ясно, что в Омске тоже госпитали будут. Хотя Кирилл Юрьевич отправился на фронт в первые дни, тогда никто не думал, что поток раненых докатится до Сибири. Кирилл Юрьевич умер от инфаркта, мне его коллеги написали. Старый наивный романтик!

Настя заметила у сибирских женщин странную особенность. С одной стороны, сибирячки относились к мужикам крайне почтительно и заботливо. Это понятно – главная производительная сила. Абсолютно уважительно: как мужик сказал, так и будет, заткнись и забудь про свое мнение. С другой стороны, имело место стойкое убеждение: добрый мужик без хомута не бывает. А стоило «производительной силе» покалечиться или даже умереть, испуг и печаль отлично уживались с проклятиями в адрес мужика. У тетки Наташи муж упал с крыши и сломал ногу. Она тащила его в дом на себе и кляла на чем свет стоит: «Душегуб, что ж ты за трубу не привязавши?» Умер, провалился в прорубь, муж тети Вари, на поминках она, выплакавшая все глаза, устала на фотографию мужа и давай его поносить: «Куды ж тебя понесло, выжига? Али Иртыша не знаешь? Шо ж ты как переселенец худоумный!» Погибшие на войне, те, на кого приходили похорожки, – исключение. О них никогда полслова недоброго не произносилось. Нина Михайловна, явно неутешная вдова, очевидно, позволяла себе обречь горечь в критику, потому что муж умер не на поле

боя, а от гражданской болезни.

– Как вы понимаете, – говорила Нина Михайловна, – я не врач. Но волею судеб наблюдала, как работает Кирилл Юрьевич, среди пациентов которого было много эпилептиков. Кстати, муж никогда не говорил «эпилептик», «сифилитик» или «язвенник». Больной эпилепсией, больной сифилисом, пациент с язвой. Конечно, я не могу вам оказать профессиональной консультации, но некоторыми соображениями поделиться способна. Много! Запомните! Очень много людей перенесут один-два припадок, а потом забывают про них на годы, на десятки лет! Почему у одних возникает стойкая ремиссия, а у других не наблюдается, никто ответить не может. Эпилепсия – заболевание нервное, а не психическое. Вам ясна разница?

– Ясна.

– Хорошо, что ясна, теперь я вас испугаю, сама себе противореча. Если приступы слишком часты, мозг очень страдает и развивается так называемое эпилептическое слабоумие. Вы должны быть к этому готовы. Господи, не допусти! – перекрестилась Нина Михайловна. – Эпилепсию лечат противосудорожными препаратами под общим названием барбитураты, в частности – фенobarбиталом. Кирилл Юрьевич к нему относился скептически. Не судороги вызывают приступ, а приступ судороги. Практика Кирилла Юрьевича не доказала эффективного использования фенobarбитала, да его и не достать. Кирилл Юрьевич также считал, что барбитураты имеют множество отрицательных сопутствующих эффектов. Большинство коллег мнения моего мужа не разделяют.

– Мужу прописали люминал с кофеином или дифенин.

– После них нет бреда, галлюцинаций, двоения в глазах?

– Нет, потому что он ничего не пьет, даже те порошки, что привез из санатория.

– Падучую болезнь, естественно, всегда лечили деревенские знахари. Эффективны ли их настои, наступала ли ремиссия спонтанно, сказать невозможно.

– Фиалка и софора? – спросила Настя, вспомнив бабушку Агафью.

– Не знаю. Кириллу Юрьевичу не удалось добыть рецепты. Всю жизнь был за народ, а разговаривать с народом не умел! Бабки-знахарки открещивались, говорили, что не помнят состава, да и вообще наговор – никого они не лечат. Не столько, очевидно, опасались конкуренции, что у них отберут практику, пациентов, сколько боялись, что их, как колдуний, на костер отправят. В современном прочтении – в тюрьму за вредительство здоровью строителей социализма.

При расставании Настя попросила медицинские справочники по эпилепсии. Нина Михайловна выразила сомнение: вряд ли Настя что-то в них поймет, но вытащила из книжного шкафа несколько книг. Еще раз, третий или четвертый, подчеркнула: надо научиться жить с этой болезнью, принять ее как данность, не бояться, не ставить на себе крест. Эпилепсией страдали многие выдающиеся люди, да и невыдающиеся, чью судьбу вполне можно назвать счастливой.

Настя засела за книги, то есть читала в редкую свободную минуту. В параграфах сугубо медицинских не понимала ни строчки. Описание клинических случаев, то есть историй болезни эпилептиков, довели ее до ночных кошмаров, в которых безумное количество знакомых и незнакомых людей корчились в судорогах.

Митяй пригрозил, что бросит в печь эти чертовы книжки.

– Только попробуй! – показала ему кулак Настя.

Девяносто девять процентов прочитанного было бесполезным, но один процент – бесценным.

– Мы должны определить факторы, вызывающие припадок, – сказала Настя мужу.

– Сколько раз... – вспыхнул Митяй.

– Сколько нужно! Заткнись. Итак, сильное возбуждение вызывает приступ. Ну-у-у, – она хитро подмигнула, – если твое возбуждение по ночам не сильное, то я уж не знаю. Далее. Физическое переутомление. Ежедневно имеем, вкалываешь как проклятый, однако ни разу в поле, на лесопилке, в кузне приступа не было. Нарушения со стороны кишечника, запоры. Митяй?

– Что?

– Как у тебя с кишечником?

– Ходи со мной на двор, проверишь.

– Значит, все нормально, – подытожила Настя. – Душные, плохо проветренные помещения. У нас везде душно, только по полу гуляет. Как морозы пришли, Марфа постоянно: «Двери закрывайте, вытники», что значит, «лентяи, бездельники», «холоду напустите», – смешно передразнила Настя свекровь. – Сибирячек послушать, вытник есть всякий, кто не умеет запрягать лошадь. Мы отвлеклись. Вот в этом научном труде, – Настя раскрыла книгу на странице с полоской бумажной закладки, – сказано, предположительно, не доказано, тра-та-та, что приступы могут вызывать внезапные пробуждения, сиречь, надо полагать, когда спящего человека тормозят... Мить, что?

– Было, – откликнулся он, как человек, поневоле втянувшийся в игру. – Я спал днем, пришла медсестра, растолкала, на какую-то процедуру. Очнулся на полу, вокруг суета... Это был второй припадок в санатории, после него окончательный диагноз поставили. Приговор.

– Замечательно! – похлопала в ладоши Настя. – Мы уже имеем кое-что. Читаю-пересказываю дальше. Контрастное мелькание, повторяющиеся блики. У одного эпилептика, пардон, больного эпилепсией, приступ регулярно случался на рыбалке, когда он смотрел на бликующую гладь реки. Вспомни! Мы шли с тобой вдоль забора, через его щели...

– Первый приступ в санатории: доктор шарик металлический на цепочке передо мной раскачивал. «Смотрите на шарик!» Я честно смотрел, пока не отключился. И потом в поезде... В окно смотрел, мимо другой поезд ехал...

– Ура! – воскликнула Настя. – Мы на пути к победе! У нас есть тактика и стратегия! Не знаю между ними разницы, как между «иродом» и «варнаком». Тот и другой почти равняются «переселенцу».

Бабка Агафья приготовила зелье «от падучей». Митяй его пить решительно отказался: неизвестно, чего умалишенная старуха наварила.

Настя, вытащив пробку, понюхав, изобразила блаженство, словно из бутылки пахло изысканными духами:

– Софора!

– Ага! Какие-нибудь лапки дохлых мышей и куриный помет.

– В наших обстоятельствах привередничать не приходится: лекарств нет и в обозримом будущем не достанем. Кроме того, вслед за Кириллом Юрьевичем я сомневаюсь, что современная наука нашла средства от эпилепсии.

– А бабка Агафья нашла? Она примочки от прыщей на заднице Женьке Майданцеву дала. Видел я ту задницу в бане – как у шимпанзе красная, парень сидеть не может.

– Некоторым полезно постоять. А не заваливаться с солдатками, которые на десять лет его старше. Женьке шестнадцати не исполнилось, а он уже по вдовам бегаёт. Как говорит тетя Парася, где козы во дворе, там и козел без зову в гостях. Тетя Парася, кстати, принимает бабки Агафьи настойки. И ты будешь! Не перебивай меня! Мне ещё корову доить и хлеб творить. Как мило говорят про хлеб в Сибири: не печь, а творить. После Блокады глагол «творить» применительно к хлебу кажется очень точным. Если ты такой нежный, то настойку бабки Агафьи я испробую на себе. Попью, не пронесет, станешь употреблять?

– Опыты на людях, даже на супругах, запрещены.

– Вот и договорились. Между прочим, бабушка Агафья хоть и растеряла шарики из подшипников, – покрутила Настя пальцем у виска, – но далеко они не отлетели. Тут вообще, доложу тебе, старики с бо-ольшим хитрым подтекстом.

– Ты стала похожа на маму.

– На мою маму? – изумилась Настя.

Представить, что Елена Григорьевна Камышина стирает, полощет в Иртыше, развешивает под ледяным ветром белье на веревках, хлопчет в кути, ставит в печь на ухвате и вынимает из печи чугушки с едой, доит корову, выполняет еще множество грязной тяжелой работы?

– Не на свою маму, – уточнил Митяй, – на мою.

– На Марфу? – вздохнула Настя. – Спасибо, лестно...

Она не договорила, но Митяй понял: насколько приятнее было бы Насте походить на собственную маму.

– Буду пить эту гадость, – пообещал он, не найдя других способов утешить жену.

Парася умерла в августе. До последнего старалась в чем-то помогать по хозяйству, хотя еле ползала, и все отговаривали ее, просили не напрягаться, но ей проще было умереть, чем стать обузой. Утром не смогла встать с постели: жаба свирепствовала всю ночь – чавкая, пила ее кровь из сердца, и крови совсем не осталось.

– Умираю я, сестричка, – сказала Парася тихо Марфе.

Марфа открыла рот, чтобы произнести положенные слова, про то, что Парасенька еще встанет, про Божий промысел, который никому не известен, про грех отчаяния. Но ничего этого не сказала. По виду Парася была уже покойница – провалившиеся в темные круги глаза, лиловые полоски губ, на нижней синие бугорки – накусила от боли. И наводящая страх нежизненная бледность лица. Говорят: «мертвенная бледность», когда хотят подчеркнуть нездоровый цвет лица. Но бывает *настоящая* мертвенная бледность – у трупа. Человек еще жив и может протянуть час, два, три, день, а лицо его уже потеряло краски жизни. Марфа не смогла проговорить пустые утешения.

Села на кровать рядом с Парасей. Внутри не кошки скребли. Что кысы? Домашние животные. Львы и тигры душу рвали. Вместе с Парасей уходила в небытие, стиралась безвозвратно большая часть Марфиной жизни: молодость, рождение детей, совместное житье в доме свекрови. Никогда не будет человека, который относился бы к Марфе как Парася.

Потому что уже ни с кем не пережить того, что выпало, и потому что равных Парасе не бывает.

– Шой-то растрепалась ты у меня, – сказала Марфа глухим из-за непролитых слез голосом. Развязала платок на голове Параси, убрала выбившиеся пряди, снова повязала. – Так-то краше. – Помолчала, сглотнула, проталкивая рыдания внутрь. – Степана *там* увидишь, встретитесь.

– И Ванятку.

Марфа забыла, что у Параси двойня была. Ванятка помер, Васятка остался. Парася, оказывается, помнила об умершем сыне, не забывала.

– Ты любила Степана? – спросила Парася.

Марфа кивнула, опустила глаза, потом подняла и прямо посмотрела на Парасю.

– Было у вас?

Голос Параси был настолько тих и слаб, что Марфа будто не ушами сестричку слышала, а непонятым органом улавливала легкие дуновения из ее искусанных лиловых губ.

– Нет! – помотала головой Марфа. Хотела поклясться чем-то святым, но не нашла того святого, что заслуживает клятвы перед Парасей, которая святее всех святых.

– Я верю, – опустила и подняла веки Парася.

– Он, Степан, не ведал. Перед тобой я чиста. Перед Богом большая грешница, а перед тобой не покаюсь.

– Какая же ты грешница? – попробовала улыбнуться Парася – Таких праведниц поискать... днем с огнем...

– Не знаешь ты всего!

Будь Парася здорова, она, учуяв, что сестричка имеет груз на душе и, главное, желает сбросить его, обязательно бы прилипла, разговорила, выслушала. Но Парася умирала.

– Забудь, Марфинька! В чем грех, в том и спасение. Степан... встретит меня... про деток спросит... Что я про Егорку скажу?

Она не бредила, была в сознании. Начинался приступ – Парася слабыми пальцами водила по груди. Словно хотела, чтобы это были когти – выцарапать ими боль. Но пальцы были словно тряпочные.

– Может, холоду тебе к сердцу приложить али горячего? – спросила Марфа.

– Ничего... поди... потом... потом приведи проститься... поди... оставь меня.

Марфа встала, вышла, задернула за собой занавеску, которой была

отгорожена кровать Параси. В горнице махнула приглашающе сыну и невестке: выйдем в сени.

Настя прожила с Марфой блокадную зиму. Когда Марфа убивала мужа, а потом волокла на улицу, когда закрывала глаза Настиной маме, которая была для Марфы кем-то вроде обожаемой избалованной воспитанницы, когда Степка ушел охотиться на крыс, а соседки сказали, что пацаны ловят крыс у трупов, а крысы на детей бросаются, и было неизвестно, где искать Степку, а только ждать... Во все эти страшные моменты у Марфы не было такого лица – изуродованного скорбью.

Враки! Все картины с прекрасно печальными лицами враки! В отчаянном, безысходном горе человек безобразен. Понимает ли это Митя, ведь он художник?

Не понимает, просто очень испугался.

– Мама? Мама?

– Отходит моя сестричка Парася, – сказала Марфа. – Вы вот что, Настя, напиши письмо.

– Кому?

– Вроде бы от Васи, что он Егорку нашел.

Как ни сожалели дети, Митяй и Настя, что умирает хорошая добрая тетя Парася, какую они бы ни испытывали беспомощность, как бы ни желали облегчить страдания Марфы, врать они не хотели.

– Мама, – мягко проговорил Митяй, – ты всегда учила меня говорить правду, а за неправду лупила. Я понимаю твоё желание...

– Ничего ты не понимаешь! – скривилась досадливо Марфа. Как человек, у которого нет сил и желания объяснять свои поступки. И только прорывается досада: прошу – сделай, доверяешь – сделай! Разве я часто прошу идти против истины? Я объясню потом, а сейчас мне горько от твоего протеста, отдающего недоверием.

Два года назад Настя, не раздумывая, ополчилась бы на Митяя, заткнула бы его, заставила слушать Марфу, которая небывало страдает. Но Настя пожила в Сибири, впитала (пусть еще не до конца) науку не подрывать авторитета мужа, не перечить ему на людях или когда он нервно возбужденный, а исправлять его, свою политику внедрять в иных благостных интимных обстоятельствах.

– В самом деле, Марфа! – сказала невестка. – Почему ты думаешь, что сейчас тете Парасе требуется ложь? Отказать человеку в правде и справедливости, когда он уходит, возможно, преступнее...

– У-у-у! – Марфа стояла у бревенчатой стены и с размаху била по ней затылком.

Раз, второй, третий... На затылке под платком у Марфы был узел волос, и звук получался глухой, не страшный. Это не походило на капризно-истерический припадок – желание любыми способами добиться своего. Это как бьют человека по спине, чтобы вылетела из дыхательного горла застрявшая хлебная корка. А тут человек сам пытается снова дышать.

– Правда? – замерла Марфа. – Где правда? Любви моей, детей рождений? Правда – это грех! Справедливость говоришь, Настя? По справедливости мне бы сейчас сердце вырвать, – растопырив, скрючив пальцы, вцепилась себе в грудь Марфа, – да вставить его Парасе! Мое-то стучит как железное. Была бы самая справедливая справедливость.

– Мама! – начал Митяй.

– Заткнись! – рубанула воздух Марфа.

– Чурбан! – повернулась к мужу Настя. – Пошел ты к черту со своей сибирско-куртуазной наукой!

– С какой моей наукой? – вытаращился Митяй.

– Марфа, что писать? – спросила Настя.

– Сама собрази.

Они стояли у кровати Параси: Аннушка, Степка, Марфа, Настя, Митяй с Илюшей на руках.

– Прощайте, мои любезные! – с тихой улыбкой проговорила Парася. – Извините!

– Погодь! – остановила ее Марфа. – Мы к тебе с радостной новостью. Настя, читай.

– Письмо, от Василия, – заикалась и мяла в руках листок Настя. – могу все прочитать, но главный смысл – нашелся Егорка, жив-здоров, у них все в порядке.

– О-ой! – освобожденно простонала Парася и закрыла глаза. – О-ой!

Она умерла с улыбкой на губах. Последние пути, державшие ее на земле, порвались.

– Аннушка, Степка, идите во двор, – велела Марфа.

– Мама спит? – спросила Аннушка.

– Идите! – повторила Марфа.

– Она... – начала Настя, когда дети ушли.

– Кончилась, – ответила Марфа, – скончилась моя сестричка. За бабкой Агафьей сходите и тетей Катей, они других женщин позовут, родным обмывать и обряжать покойницу не положено. Митяй, насчет гроба распорядись.

Настя и Митяй вышли на крыльцо, переговариваясь. Она пойдет за бабами, а он к деду Федору гроб сколачивать.

От калитки бежала почтальонша Верка, ее велосипед валялся на улице, даже не прислоненный к забору.

– Парася! Парася! – кричала Верка. – Телеграмма! Из Москвы! От Василия! Нашелся Егорка!

Она затормозила у ступенек. Митяй и Настя смотрели на нее сверху вниз с таким изумлением и оторопью, слово не русским языком радостную весть донесла, а на китайском промяукала.

– Вы чего? – спросила Верка. – Где Парася?

– Умерла, – ответила Настя.

– Она уже знает, – сказал Митяй. – Знала, – поправился он.

Церковь в Погорелове открыли через несколько месяцев после начала Войны. Епархия прислала священника. Батюшка Павел был очень молод, бороденка куцая, но, по общему мнению, старательный и ответственный, голос имел не басовитый, но зычный. Попадья – матушка Елена – совсем девчонка. Поговаривали, что отец Павел женился второпях – неженатому бы приход не дали, а приходы открывались повсеместно, священников не хватало. Как бы не женился, главное – счастливо. Матушка уже ребеночка родила и вторым ходила.

Настя в блокадную зиму видела много трупов, но покойников все-таки боялась. Когда умерла мама, Настя была так слаба, что на страхи не находилось сил. Несколько смертей случилось за то время, что жили в Погорелове, Настя приходила в дом покойного, выражала соболезнования и старалась не смотреть на гроб, в котором лежал мертвец.

Марфа сказала, что похоронят Парасю по чину, благо безбожники одумались, храм открыли. В чем состоит «чин», Настя не представляла, Марфа ни её, ни детей из дома не отослала. Степку-то и не выгнать, а она, Настя, удрала бы, да неловко. Аннушке-то, заикнулась Настя, может не стоит присутствовать? Пусть будет, отказала Марфа, запомнит, как мать провожали.

Женщины обмывали и обряжали тетю Парасю за занавеской. Бормотание молитв чередовалось с вполне здоровыми комментариями. Если принять за здравость разговоры с покойницей. «Вот и чистенькая ты у нас, Парасенька! Славно мы тебя убрали, как невесту. Осталось только босовики надеть».

Настя знала, что босовики – это сшитая из белого холста в несколько слоев обувь покойника. Что белую тряпочку к внешнему углу дома прибили,

чтобы душа тети Параси могла в течение сорока дней прилетать и вытирать слезы. А рядом с гробом будет стоять чашка с водой – чтобы душа могла умыться. Как только тело вынесут из дома, лавку перевернут, положат камень – серовик. Он будет находиться в доме шесть недель – чтобы новых покойников в доме не появилось в ближайшее время.

Степан с дедом Федором внесли гроб и поставили на лавку.

Одна из женщин принялась к дереву, поковыряла его ногтем:

– Не из осины?

– Обижашь! – всплеснул руками дед Федор. – А то мне неведомо, что осина иудино дерево!

Марфа положила в гроб кудели, накрыла белой простыней, потрогала ладонью:

– Не жестко ли? Настя, как думаешь?

– Э-э-э... – только и смогла проблеять Настя.

Кому жестко? Покойнице?

Тетя Катя, сестра тети Параси, положила в гроб подушку в красивой, с кружевами и прошивами наволочке.

– Не туда, – сказала Марфа, – тут ноги, надо, чтобы лицом к иконам.

Марфа и Митяй вынесли тетю Парасю и положили в гроб, все это время звучали молитвы. Покойницу заботливо укрыли саваном, на сложенные руки положили икону.

– Не так, – опять не понравилось Марфе. – Ликом Богородица должна на Парасеньку смотреть.

И снова заунывные молитвы, перемежающиеся деловыми распоряжениями.

– Не дави, – сказала Аннушка Насте.

– Что? Извини!

Настя прижимала к себе девочку все сильнее. Аннушка, пугливая до крайности, сейчас почему-то не выказывала страха. А Настя задавалась вопросом: сколько еще продлится этот «чин»?

– По умершей дочери причет, – попросила Марфа бабушку Агафью, – помните?

– Как же!

И затянула нараспев:

Ой, да ты моя донечка!

Ой, да ты моя милая!

Где ты моя красавица?

Куда делась пташечка

*Да за што же ты на меня обиделась?
Да за што же ты рассердилась?
Ой, да зачем же ты меня покинула,
Сироту-то меня горе-горькую.
Кому я теперь пойду?
Кому печаль мою расскажу?
Ой, да ты моя донечка...*

Женщины плакали, мужики шмыгали носами.

– Зови мужиков, – сказала Марфа сыну. – Выносите гроб, ногами вперед.

У дома, оказывается, стояла телега, на которой привезли гроб, на ней же гроб, уже с покойницей, отправился в церковь. Марфа сказала, что проведет в храме ночь, во всеобщем бдении, и чтобы они явились в церковь утром – на литургию и отпевание. Настя и Катя пусть займутся приготовлением поминок, без роскошества, но блины и кисель – обязательно. Блины – на маленькой сковородке печь.

Марфа отдавала распоряжения явно через силу. В черном одеянии, с черным платком на голове, с почерневшим лицом – сама как покойница.

Ночью, прижавшись к мужу, Настя шептала:

– Ты читал повесть Гоголя «Вий»? Там бурсака Хому Брута заперли на ночь в церкви читать отходные молитвы, а в гробу лежала ведьма, к ней всякие чудовища сбегались.

– Что ты несешь? Тетя Парася – ведьма?

– Нет, конечно. Но каково твой матери одной сейчас ТАМ!

– Спи, не выдумывай!

– Обними меня покрепче.

ТАМ, в храме, Марфе было очень хорошо. Женщины по очереди читали Псалтыри. Особенно славно удавалось псалмопение Степаниде-поповне, дочери отца Серафима, погореловского батюшки, отслужившего в их приходе лет сорок и арестованного в тридцать седьмом году, когда церкви закрывали.

Ближе к ночи, поблагодарив женщин, Марфа отправила их по домам. Наведался отец Павел с матушкой Еленой. Предложил совместно всеобщую службу. Марфа с благодарностью отказалась, хотела наедине с сестричкой побыть. Поп с попадьей сразу не ушли – почитали Псалтыри. Павел читал справно, а Елена, спотыкаясь, заметно было, что к святым

текстам не приучена.

Наконец, они ушли, Марфа осталась одна. В пустой темной церкви. Гроб. В ногах его стоит клирос, на котором лежит Псалтырь, освещаемый единственной свечкой...

Марфа прожила на белом свете почти пятьдесят лет, но никогда в ее жизни не было дня или ночи, наполненных абсолютной благостью – как эта всенощная в ночном храме. Она, стоя, читала Псалтырь за клиросом, буквы при слабом свете расплывались, но многие тексты она помнила наизусть. Уставала, садилась на табурет рядом с гробом, разговаривала с Парасенькой. Марфа рассказала ей всю правду, покаялась в грехах. Что дети ее не от законного мужа Петра. Митяй – от свекра, Степка – от Камышина. А Петра она убила в Блокаду, подушкой придавила, а потом на улицу выволокла и бросила... как собаку. Нет прощения, грехи ее неискупаемы...

Парася, мертвое тело, лежала в гробу каменно-молча. Но Марфе казалось, что дух Параси витает тут же: утешает, ласкает, успокаивает, даже шутит.

– Если бы меня за Петра выдали, – хихикнул дух, – я бы сбежала на следующий день после свадьбы. Хоть на шахты, хоть на тракт, хоть к черту лысому.

– Не вспоминай его в храме, – попеняла Марфа. – Заболталась я. Почитаю еще тебе...

В детстве богомольная мать постоянно заставляла Марфу читать святые книги, зубрить. К юности Марфа эти книги возненавидела. А сейчас тексты старославянской напевности ложились на сердце в возвышенной благости.

– Про Егорку мы тебе соврали, – призналась Марфа, в очередной раз опустившись на табурет. – Но все правда оказалась, телеграмма пришла.

– Я знаю.

– По лицу твоему, улыбке последней я не поняла: поверила ты или на наше лукавство улыбнулась?

– А вот теперь мучайся и думай! – снова хохотнула Парася. – Про себя и Степана расскажи.

– Дык нечего! Оно как заноза в сердце, не вытащишь, токма вместе с сердцем.

Однако Марфа рассказала и получилась длинная история: как увидела его и влюбилась навечно, а ее за Петра выдали. Как страдала, ловила каждый момент, чтобы на ненаглядного исподволь полюбоваться, как радовалась каждому его доброму слову, подарку, что из города привозил,

как люто завидовала Парасе, возненавидеть хотела, да кто ж способен такую божью птаху ненавидеть? В петлю полезла, свекор вытащил, ребеночком наградил...

Они вспоминали, как ходили беременными, как свекровь доктора Василия Кузьмича привезла, как рожали и деток пестовали...

– Марфа, сейчас свеча погаснет, – сказал дух Параси, – смени! И почитай мне еще, пожалуйста!

– Почитаю, милая, почитаю, моя касаточка!

Утром, придя в храм, Настя и Митяй не узнали Марфы. Вчера это была замотанная в черное старая хмурая монашка. Сегодня, в тех же одеждах, – ясноликая женщина, с лучистыми глазами! Как будто в жутком ночном храме не гоголевские монстры шабаш правили, а чистые ангелы летали.

Во время заупокойной службы Марфа попросила детей:

– Креститесь!

– Мы комсомольцы, – негромко отказался Митя, – в Бога не верим.

– Я пионер! – подтявкнул Степка.

– Вы крещенные! Православные! – печально упрекнула Марфа. – Поди руки не отвالتها от крестного знамения, а Парасенька порадует. – Наклонилась к Аннушке, взяла ее ручку: – В горсту три первых пальчика, моя милая, а мизинчик и безымянный прижми. К лобику пальчики – для освящения ума, к чреву, к животику – для освящения чувств, теперь к правому плечу, затем к левому, чтобы освятить наши силы телесные. Мамин дух порадует! Как хорошо Аннушка крестится!

Когда они шли за гробом на кладбище, Митяй не сменялся, а остальные по очереди несли, тяжело и далеко было идти, а мужики одно название. Марфа вела за руку Аннушку. Девочка нисколько не пугалась, несмотря на причитания и плачь в скорбной колонне, задавала вопросы про «мамин дух».

Марфа спокойно и доходчиво объясняла. Настя и Степка прислушивались:

– Как человек умрет, дух из него вылетает. Мы поэтому в доме зеркало закрыли, вдруг мамину духу не понравится свое отражение.

– Мама красивая и хорошая!

– Очень хорошая! Полетает ее дух, полетает, а на сороковой день вознесется на Божий суд. Это как экзамен в школе, только две оценки, плохая и отличная. Плохих людей, что при жизни зло творили, Бог в ад отправляет, там они мучиться будут за грехи свои. Хороших – в рай.

– Как санаторий, где Митяй был? – спросил Степка.
– Наверде, – согласилась Марфа. – Аннушка, устала? Понесу тебя.
– Я сам! – вдруг дернулся Степка. – Полезай ко мне на спину, Аннушка.

На кладбище снова были молитвы, поп с кадилом.

– Не за себя, Господи! – услышала Настя, как бормочет Марфа. – За невинных и безгрешных, за спасение их душ...

Она точно извинялась перед Богом. Который не существовал, конечно.

На обратном пути Настя думала о том, что вся эта ритуальность: омовение, обряжение, укладывание в гроб с мягкой подстилкой, всенощные бдения, бесконечные молитвы – возможно, имеют глубокий смысл. Как выражение скорби и памяти по умершему человеку. То есть нечто потребное живым, а не мертвым.

Она вспомнила: стоит у окна и смотрит, как санитарная бригада из окон противоположного корпуса выкидывает на улицу трупы женщин, детей, стариков. Звука нет, немое кино. Через окна распахнутые выбрасывают, значит, никого живых в квартире не осталось, выстудить комнату не страшно. Потом, уже на улице, санитары в длинных резиновых фартуках берут мертвых за руки-ноги, чуть раскачав, бросают в кузов грузовика с распахнутым бортом. Звука нет, но она его слышит – глухой, как если бы дрова кидали...

Кто оплатит всех тех людей, погребенных в общей яме?

Повторения у Митяя припадков боялись все: Степка не без интереса увидеть, как брат корчится, Марфа с обреченностью – Божья воля. Настя была уверена, что ее страхи самые жуткие. Она начиталась про эпилепсию. Она не представляет жизни без Митяя. И речь даже не о ней, пусть даже ее не будет: этот великолепный человек, по-сибирски – могутный, не должен сгинуть в эпилептическом слабоумии.

Интуитивно, не осознанно, без тактических и стратегических планов она нашла правильный стиль поведения. Помогли природные чувство юмора и артистичность, способность перебороть страхи, насмевшись над ними.

Носилась по горнице: от кути в сени, где стыл жидкий по военному времени студень. Туда – сюда. От Илюши в люльке до печи, в которой томилась картошка. Митяй сидел за столом, что-то чиркал на огрызке бумажки, пытался рисовать. У него не получалось, хмурился. Он работал сегодня часов десять. По сравнению с эпилепсией утерянная свобода художественного творчества может стать для него большим горем и

разочарованием. Но сначала давайте приструним эпилепсию.

– Муж! Митяй! – в пробежке позвала Настя.

– Что? – поднял голову, брови к переносице сбежались. – Воды принести?

– Нет, милый! – застыла перед ним Настя. – Только хотела спросить, не ритмично ли я спую? Туда-сюда, туда-сюда, – Настя вправо-влево как марионетка подергала головой. – Вдруг у тебя припадок случится? И ты...

Она скривила шею, вывернула к потолку голову, закатила глаза. Рот открылся, губы поехали вниз, руки и ноги задрогались.

Митяй изумленно смотрел на жену, карикатурно изображающую припадок.

Застыла, скосила на него глаза:

– Ты не собираешься выдать нечто подобное?

– Издеваешься? – задохнулся Митяй. – Над больным человеком...

Он впервые назвал себя больным, и Настя не растрогалась, не дала слабинки.

Перестала дрожать и вернула лицу нормальное выражение:

– Да-а, ла-адно! – простецки затянула. – Больно-о-ой нашелсси! Как на вечерках с каждой бабой-девкой и неизвестно-кем отплясывать, так он здоровый!

– Ты ревнуешь? – рассмеялся Митяй.

– Вот еще! – изящным жестом играющих пальцев Настя стряхнула со лба несуществующую прядь. – Я? Помилуйте! Женщина, у которой не переворачиваются блины, права ревновать не имеет.

Марфа как-то, возвращаясь домой с фермы, чтобы несколько часиков передохнуть – отел начался, распахнув калитку, застыла при виде картины.

Митяй выскакивает из дома, за ним Настя с полотенцем в руках. Оба в чунях – коротких валенках-катанках, но по верху сын и невестка раздетые: она в легкой юбочке и кофточке, он в своем летне-армейском. Застудятся, на дворе мороз.

Настя догоняла и лупила полотенцем Митяя, он свалился в сугроб, заграбастал жену. Кувыркаются, хохочут...

– Варнаки! – нависла над ними Марфа.

– А-а-а! – хохотала Настя. – Ироды!

– Переселенцы! – вопил Митяй.

Марфа растерялась. Почему обзываются? Но рассуждать недосуг – дети раздевши, а мороз ядреный.

– Чтоб я вас! Геть домой, колодники!

Настя отбилась от мужа, поднялась:

– Новое понятие. Колодники – это, вероятно, каторжные. Геть? Нечто украинское.

– Дык у нас под каждым кустом по хохлу-переселенцу, – почему-то оправдывалась Марфа. – Навтыкали своих слов. Митяй! Ты чего валяешься?

– Марфа! – обхватив плечи, кляузничала начинающая дрожать на холоде Настя. – Он прикинулся, что у него приступ! Упал и принялся изображать судороги. Как будто я не могу отличить настоящий приступ!

– Не можешь! – Митяй вскочил, подхватил жену на руки и понесся в дом. – Не можешь!

«Дети, – думала Марфа. – Чисто дети, хоть и сами родители. Хоть и пережил каждый испытания – не пошли, Господи, доброму человеку! Детское в них не перебесилось».

Марфа не обращалась к Богу лет тридцать, может, больше. У нее с Богом были сложные отношения. То есть она, конечно, понимала, что «отношений» быть не может, кто она и кто Бог. Много лет назад она разуверилась не в факте Его существования, а в Его справедливости, милосердии. Сама не заметила, как в Блокаду к Господу обращалась – к кому-то ведь надо было призывать, не к политбюро же. Это было как скуление под дверью выброшенного щенка. Не откроют, дык хоть услышат. После смерти Параси нашла для себя оправдание: «За себя никогда не попрошу, Господи! Но услышь мои молитвы за других!»

Припадки у Митяя не повторялись. Настя, как могла, старалась уберечь мужа от провоцирующих ситуаций.

Скотник Юрка рассказывал бабам:

– Какое у Медведевых-ленинградцев обращение! Прибегаю к ним заутре: «Пожар! Горит анбар Сивцевых, а там рига колхозная рядом, надо уберечь...» А Настя мне: «Тише, Юрий! Я понимаю, что пожар, караул, но вы можете внезапно разбудить моего мужа!» Дык я ж за тем и прибёг! И тут она, бабы, умереть-не-встать, присаживается к спящему Митрию и начинает с ним мур-мур, мур-мур. Кто у нас так сладко спит? А кто у нас щекотки боится? Под рубаху ему ручками забралась и давай шшикотать-поглаживать! Чтоб я так жил! Меня как супруга будит? Тычками да пинками: «Хватит дрыхнуть, ирод!» А тут! Эвонде-ка! В кино не увидишь, чисто королевские нежности.

Юрке, как и его слушательницам, было невдомек, что Настя боялась внезапного пробуждения Митяя, которое способно вызвать приступ.

Отношение в селе к Насе было противоречивым. Слабосильная и

неумелая – ладно, ведь городская, чего с них взять. Опять-таки не хнюлется, не ноет, не жалуется, больной не прикидывается, как может тянет крестьянский труд. Шутит непонятно. Их шутки грубы, но веселы и просты. А у Насти – с подковыркой, не сразу разберешь, а то и вовсе не поймешь. Не тараторка, с культурными понятиями поведения, а на собрании в школе выступила – глаза не знали куда деть. Мы, говорит, все должны Ирине Сергеевне, учительнице, заявить, что ее пристрастие к спиртному дурно влияет на учебный процесс. Оно правда – пьет учительница. Тому обстоятельства: муж на фронте погиб, сын от воспаления легких помер. Но разве можно в лицо и при людях? Насте указали, она настырно: если каждой из нас соболезнавать, то погрузимся в бесконечный плач. Учительница-то пить бросила, а Настю возненавидела, не допускала в школу – пусть Марфа по поводу своего сына Степана Медведева ходит. Марфа над Настей – как орлица, любого заклюет, кто только посмеет криво на невестку глянуть или слово недоброе сказать. В этом Марфа переплюнула даже свою свекровь, покойную Анфису Ивановну. Та хоть и не давала невесток в обиду, но держала их в кулаке. Настя же у Марфы в положение принцессы. В том нет Настиной вины, однако ж и есть. В правление, на легкий труд Настю перевели: понятно – грамотная, с образованием. А их дочери-то на тяжелом труде!

– Не вписываюсь я в деревенское общество, – жаловалась Настя Марфе.

– На всех не угодишь.

– Они говорят – срам, что я называю тебя по имени и на «ты». Взрощена я, мол, неправильно. А кто меня взростил? Ты! Но при этом я принцесса, а ты вся из себя идеальная.

– Не забивай голову ерундой, все равно их не исправишь. Мало нам проблемов?

– Проблем. Митя прав, ты утрачиваешь культурную речь. Марфа! – капризно, как в детстве, кривила губы Настя. – Почему в отличие от меня, они Митю с распростертыми объятиями? Чего ни коснись: в кузне, на лесозаготовке-пилке-столярке – на любой работе, везде Митрий Медведев опорный мужик.

– Дык он коренной сибиряк, свой, а мужиков по пальцам.

– Я своей никогда не буду?

– Дети ваши могли бы... Только не надо. Война кончится, вернемся в Ленинград, там ваше место жизненное. Настя, скажи мне, ведь хорошо, что у Митяя припадков нет? Может, и не будет больше?

– Надо надеяться.
– А чего ж он бирюк-бирюком? Хмурый, не подступись?
– Он писа́ть не может, то есть рисовать.
– Как жа? Ведь, похоже, Парасю умирающую нарисовал, потом порвал, не успела выхватить.
– Нет, это все не то.
– К чему душа лежит, в тому и руки приложатся. Ты бы поговорила с ним, успокоила?
– Я пыталась, не получается.
– Момент подгадай.
– О! Эта вековая наука сибирячек – подгадать момент. Почему-то сибиряки-мужики совершенно не подгадывают моменты в отношениях со своими избранницами.

Насте было слегка досадно, что разговор от ее тревог перешел на проблемы мужа. Редкая удача – они с Марфой одни в доме.

Настя, как в детстве, подлезла к Марфе под мышку, устроила голову на ее большой теплой груди, обхватила за талию:

– Ты кого больше любишь: меня, Митяя, или Степку, или Илюшу?
– Ну, не дура ли такое спрашивать?
– Дура, дура, – быстро согласилась Настя. – Отвечай по правде.
– Пусть... тебя...
– Врешь!
– Каждого по-своему...
– Кого сильней?
– По силе одинаково. А душевной трепетности – Илюшу, он самый беспомощный.

В горницу влетел Степка.

– Вы чего обнимаетесь? – Не получив ответа, затараторил: – Там Аннушка, она ж у нас пугливая, я хотел ей силу воли воспитать, на сосну уговорил залезть, она спрыгивать не хочет в сугроб, пищит, ствол обхватила и как котенок.

– Варнак! – подхватила Марфа.

– Каторжник, как его?... Колодник! – ругалась и мчалась на двор Настя, на ходу срывая с вешалки тулуп.

Ей удалось вызвать Митю на разговор в бане. Ах, какая это была баня! Одним посчастливилось, последним – никто очереди за ними мыться не ждал. На полу в предбаннике еловые ветки накинаны, поверх них холстина. Из парилки – на эту пахучую перину. Распаренные, голые, молодые,

влюбленные...

– Марфа утверждает, – говорила Настя, лежа на спине, глядя на низкий темный бревенчатый потолок, – что есть намоленные иконы и церкви. Это где в течение долгого-долгого времени люди раскрывали душу в чистых устремлениях, покаяниях и молитвенных просьбах. Теперь возьмем эту баню. Ей лет триста, пусть пятьдесят. Елочки на полу, простынка поверху, молодые супруги...

– А! Ха-ха-ха! – гоготал Митяй. – Банька-то на... на... наегоренная!

– Фу, пошляк! А еще художник! Человек искусства!

– Я не художник, – посерьезнел Митяй. – И никогда, наверное, им не стану.

Настя повернулась на бок, положила голову на согнутый локоть:

– Так, так, продолжай!

– Точка, продолжения нет. В парилку до или после?

– Уймись, неугомонный! И послушай мудрую женщину.

– Где здесь мудрая женщина? – повертел головой Митяй.

– Перед тобой. Молчи, пожалуйста! И руки свои шаловливые убери! Ты пока ничто! Даже школы не окончил, не говоря о Художественной академии. Конечно, ты талантлив и хорош собой до умопомрачения. Сноска: если Аленка Соболева продолжит куры тебе строить, то я ей zenки выколю! Вилкой! Ты работаешь как проклятый бизон...

– Тут нет бизонов.

– Пусть как бык. Буян Третий. Здесь почему-то быкам, точно царям, номера присваивают. У тебя было три контузии, руки дрожат.

– Не в руках дело. Понимаешь, между тем, что я хочу изобразить и что выходит, – пропасть.

– Это нормально! – воскликнула Настя. – Извечное противоречие творца: разрыв между замыслом и воплощением. Художники, не в пример тебе, извини, освоившие техники, которые тебе в кружке Дома пионеров преподнести не могли, и твой этот художник, которого мама нашла... Морочил тебе голову художественными стилями, кубистами-символистами, но азбуке изобразительной не учил. Как, скажи, человек, пусть гениальный мелодист, может записать музыку, если не знает нотной грамоты?

– Сравнение не точное.

– Не увиливай! – Настя села, скрестив ноги по-турецки. – Ты, то есть мы, должны идти и сражаться, добиваться и побеждать!

Она поймала себя на том, что от волнения говорит штампами, высоким патетическим стилем. Но совершенно не ожидала ответа, который услышала от мужа.

– Это в точку!

– Что? – не поняла Настя.

Митяй сел, прислонился к стене:

– Я... такой... рохля, мямля... нет у меня...

– Чего-чего у тебя нет?

– Вот брат Васятка. У него есть цель, и он к ней идет. Думаешь, ему просто, безногому, да еще и с Егоркой в придачу? А он сдает экстерном в университете. Или мой дед Еремей. Он был, как говорят, талантливый резчиком, но ненавидел крестьянский труд. Завтра в поле выходить, плуги не чинены, а Еремей сидит досточки вырезает. Я так не могу.

– Ты бежишь на помощь по первому зову, – кивнула Настя. – Точнее, к тебе все бегут по любому поводу. Но ведь сейчас война.

– А у Васьки не война? А дед Еремей? Коренной сибиряк, не переселенец, он хорошо знал, что весенний день долгую зиму кормит. Я плохо объясняю! Мура какая-то! Пошли мыться, – поднялся Митяй.

– Хорошо, что у нас сын, – сказала Настя задумчиво, не сдвинувшись с места.

– Почему? – удивился Митяй.

– Мужикам проще живется, они ловко устроились. Можешь представить себе бабу, у которой в хлеву ревет недоенная корова, вымя вспухло, чуть не лопается, корова дико страдает, а баба сидит себе, гладью вышивает, стежок за стежком накладывает, нитки подбирает, чтобы цвет неба заиграл. Это будет не баба, не женщина, а ехидна. Кстати, у почтальонши Верки я видела работы ее матери – картины гладью, абсолютные шедевры. Знаешь, как про таких, как ты, здесь говорят? Каждому добрый, а себе злой.

В уличную дверь заколотили.

Степка:

– Митяй! Эй, Митяй! Мамка прислала. Вы там не угорели?

– Угорели! – крикнул Митяй в ответ. – Передай, что скоро придем. Я мыться, – сказал он жене и распахнул дверь в парилку.

– Митя!

Остановился, не оборачиваясь, спросил:

– Ну?

– Спинку потереть?

Обратной дорогой домой, уже подошли к калитке, Митяй успокоился. Как и брат Василий, он не переносил душекопаний – «психологию».

– Я хочу тебе сказать, – остановилась Настя. – Как женщина, как простая баба...

– Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная...

Это были знаменитые слова героини Веры Марецкой из фильма «Член правительства»

– Именно. Говорю от имени баб и членов правительства. В базарный день, при большом выборе, за одного Дмитрия Медведева трех Василиев Фроловых дают! Пусти, загородил! – оттолкнув мужа, первой шагнула за калитку Настя.

В январе 1944 года была снята блокада Ленинграда, а уже в феврале Медведевы получили вызов от Камышина. Это была справка о том, что они проживали в Ленинграде и имеют жилплощадь, на которую могут вернуться. Уехать они смогли только в марте, потому что для въезда в Ленинград требовался пропуск, который выдавало Омское НКВД, а оно выдавало пропуск только при наличии соответствующего разрешения Ленгорисполкома, а Камышин забыл упомянуть Аннушку, без которой Марфа не сдвинулась бы с места.

Нервная бюрократическая волокита, обмен телеграммами тянулись больше месяца, и все это время Марфа находилась в лихорадочном состоянии. Умом она понимала, что в освобожденном Питере сейчас никто не умирает от голода, но блокадные испытания, наложенные на ее извечные, доходящие до маниакальности долг кормить семью и страх не накормить, лишали ее разума.

Она постоянно думала и говорила о том, как бы захватить побольше продуктов. Картошки мешка два, может, три? Круги молока замороженного – ох, не довезти, растает, дорога дальняя. Сметана и творог – не пропадут? Теленка забить, да на солонину, бочонок с собой. Корову жалко на мясо пускать – продадим, на деньги муки, крупы, соли, спичек купить...

– Какие бочонки, мешки, соль и спички? – возмущался Митяй. – Что за склад ты в амбаре устроила? У нас будет по чемодану и точка!

– За плечи по мешку и саночки каждому, на них с верхом поклажу, веревками примотаем.

– Ты еще кур с собой возьми!

– В клетках? – спросила Марфа, у которой напрочь отшибло чувство юмора. – Сколотишь клетки? У меня такие несущочки! Кормилицы! Уж я их в Питере найду, где пристроить.

Мать и сын ссорились ежедневно, обвиняли друг друга: он ее в том, что умом тронулась (пусти бабу в рай, она и корову за собой поведет), она

его – в бесхозяйственности (есть – не отнимут, а нет – не дадут). Каждый раз, когда Митяй отпраплялся в Омск, Марфа рвалась ехать с ним. На санях груженных! Дом-то покидают, считай навечно, живут небогато, но есть, что продать – зеркало, посуду, одежду, в которой по Питеру не пощеголяешь. А к саням привязать корову и трех овец, потому что их в Погорелове не продать, денег ни у кого нет, а на омском базаре можно хорошо выручить, опять-таки затем купив муки, круп, меду...

Степка подначивал, предлагал матери захватить в Ленинград козла-производителя Борьку.

– Козла? – серьезно переспрашивала Марфа, но потом до нее все-таки доходила абсурдность предложения, она хваталась за полотенце и носилась за Степкой. – Выжиги! Шо один сын, шо другой денной! Нарожала вытников!

Степка убежал на улицу. Настя успокаивала Марфу, спрашивала:

– «Денной» – это какой?

– Пройдоха.

– А вытник?

– Бездельник.

– Степка, конечно, пройдоха, но Митяй отнюдь не бездельник.

– Настя, хоть ты меня понимаешь?

– Понимаю, я тоже боюсь голода. Но этот страх, очевидно, неразумен, папа не стал бы нас вызывать, если бы в Ленинграде пухли и умирали от голода. Митяй прав, мы не можем взять с собой багаж размером с полвагона.

– Багаж! – повторила заворуженно Марфа. – Настенька, доченька, узнай, можем ли мы в багажном вагоне груз отправить?

Настя и с мужем разговаривала, просила не злиться на мать, которую не переделаешь, и прекратить войну, из-за которой Аннушка практически поселилась под столом. В их семье никогда ничего подобного не было. И теперь, когда впереди радостная перспектива возвращения домой, они почему-то перессорились. Митяй обещал, но при очередной стычке с матерью вспыхивал и обвинял ее в тупоумии.

Цена их перемирия была для Марфы горькой. Митяй разошелся и даже раскричался, хотя обычно голоса на мать не повышал, а она-то орала всласть. Сын вдруг застыл на секунду и рухнул на пол, забился в судорогах. Марфа впервые видела его припадок. Довела дитя, мать-змея!

Марфа не умела жить в противоречиях, выбирать из равно важных проблем. С одной стороны, необходимость содержать семью, с другой – больной сынка, большак. Она даже слегла, не поднялась к завтраку.

Митяй ушел на работу, дети убежали на улицу. Настя присела у лавки,

на которой спала Марфа. Сейчас лежала, глаза в потолок.

– Что нам говорит сибирская женская наука? – спросила Настя.

Марфа считала Сибирь земным раем, а сибиряков – породой исключительно идеальных людей. Но при этом рассуждения Насти о какой-то особой политике сибирячек по отношению к мужикам, считала вымыслом. Это как человек, который с рождения умеет чисто петь, не способен понять тех, кому медведь на ухо наступил.

– Марфа, Марфа! – трясла ее за плечо Настя.

– Чего? Чего говорит твоя наука?

– Не моя, а ваша. Она говорит, что если баба не может добиться от мужика искомого, то баба... внимание! Должна этого добиться самостоятельно! Или с помощью других сочувствующих баб.

– Это как? – села, опустила на пол ноги Марфа.

– Сейчас и обсудим.

В итоге Настя и Марфа побывали-таки на омском базаре, хотя без коровы и овец. Настя на всю жизнь запомнила, как стояла за прилавком, испытывая стыд и азарт одновременно, как, включившись в игру, торговалась с покупателями за цену медвежьей дохи, зеркала в деревянной раме, фарфорового сервиза с колотыми чашками и трехведерного самовара, мороженой клюквы, кедровых орехов, которые Марфа настаивала продавать на стаканы.

Настя никогда не ходила по инстанциям и не умела разговаривать с чиновниками. Все хлопоты с документами, разрешающими уехать в Ленинград, взял на себя Митяй, инвалид войны. На вокзале с робкими вопросами по поводу багажа Настю легко отшили. На помощь пришла Нина Михайловна, к которой Настя заглянула попрощаться, вернуть книги по эпилепсии и вручить скромный подарок – двухмесячного лохматого щенка.

– Вы с ума сошли! – воскликнула Нина Михайловна. – Зачем мне собака? Я совершенно не умею обращаться с животными. Ах, какой потешный! Он надул, видите? Лужу пустил, милашка.

Нина Михайловна отправилась на вокзал вместе с Настей, повторно. И оказалось, что багаж сдать можно, но билеты должны быть в купейном вагоне. И такой вагон имелся, и поезд следовал прямо до Ленинграда, без пересадок. Фантастика!

После приступа мать лебезила и заискивала, не понимала, что из-за ее угодливой приниженности Митяй чувствует себя инвалидом в десять раз

больше. Уж лучше бы кричала!

– Сколочу я тебе ящики для багажа, – сдался Митяй. – Три штуки, не больше! И прекрати кружить вокруг меня и смотреть жалостливо! Делай, что хочешь, хоть привязывай козла к паровозу!

– Корову Кате отдадим, – Марфа радовалась тому, что сын смирился, и боялась показать торжество, скрывала его за болтовней. – Катя – Парасина сестра и по всем статьям наследница, но мы ж Аннушку забираем, поэтому Катя не противится, что некоторые вещи продаем. Катя Аннушку бы оставила, да своих трое, а муж без вести пропавший.

В этом тоже было противоречие, очень горькое. Если приходила похоронка, вдове и детям полагалась пенсия. Если извещение – без вести пропал, – никакой помощи от государства. Получалось: либо надежда, либо деньги. Многодетной вдове на колхозные трудодни прокормить семью нечего мечтать, только личное хозяйство в подспорье, но с него же надо продавать: молочные продукты, огородину, чтобы купить одежду, нитки, иголки. Швейные иголки были в самом большом дефиците. Заметит мать, что дочка без вдетой нитки оставила иголку, не воткнула в подушечку, – за косы оттаскает. Упала иголка на пол – все ползают, пока не отыщут. Провалилась иголка меж половых досок – крик и плач, без иголки одежды не сшить, а на базаре за иголку надо двух кур отдать. Недаром ведь говорится: иглой да бороной деревня стоит. Марфа оставила Кате богатство ценнее изумрудов и рубинов: мешочек с нитками и набор иголок, привезенное из Ленинграда и трепетно Марфой хранимое. Еще много утвари, одежды, обуви, семенного картофеля...

Катя расплакалась в голос:

– Шо ж получается! Я племянницу запродала!

– Не блажи! – осадила ее Марфа. – Я б Аннушку всяко не оставила. Сама знаешь, девочка сложная. Теленку давай тонкое сено, я заготовила, следи, чтоб корова и овцы не сожрали.

– Дык я разе не понимаю. Ах, Марфинька, касаточка! Как приехали вы, так солнышко ярше светило, расставаться сердце шшимлет.

Отвального застолья не устраивали, не до жиру, но по домам тех, с кем сдружились, прошлись, дарили на память всякие мелочи. Митяй, впрочем, не мелочи – инструмент мужицкий. Удивительным образом и для них были заготовлены ответные подарки: полотенца, наволочки с прошвами, варежки детские, поясок вышитый, кулечки с кедровыми орехами, сушеными ягодами...

Скотник Юрка, питавший слабость к Насте, учудил.

Сунул Митяю нечто бугристое, завернутое в холстину:

– От твоего деда Еремея Николаевича, царство небесное. Застал меня в лесу. Все мужики в поле, а он по лесу, и я... ну, мальчишечий грех... Он меня не заругал, даже по шее не врезал. Огляделся, топориком ветку срубил, обстрогал и вручил. Будешь, говорит, рукоблудствовать в такого превратишься. Мне давно без надобности, а вам, может быть, память. И позвольте приложиться к ручке, а то помру, не узнавши, энтой барской утехы.

Митяй ничего не понял, а Настя изящным жестом протянула Юрке руку.

В холстине оказалась фигурка – темная, потрескавшаяся. Черт, сатир или подобное им дьявольское, противное существо. Центр внимания – торчащий пенис, к которому тянутся крючковатые руки, а ноги скривились в судороге возбуждения.

– Отвратительно! – сказала Настя.

– Потрясающе! – восхитился Митяй. – Такая экспрессия! В малой форме заряд невероятной эмоциональной мощи! Мой дед сделал *это* за несколько минут, просто на деревья оглянувшись?

Настя не собиралась навещать учительницу Ирину Сергеевну. Та пришла сама:

– Хочу подарить вам томик Пушкина, моего любимого поэта. Я знаю, что наши отношения далеки от сердечных. Мне казалось, что вы метите на мое место, и я вам не прощу выступления на родительском собрании, в то же время благодарна, если можно быть благодарной за позор. Я бросила пить, но не уверена, что навсегда.

Настя думала, что никогда не расстанется с книжкой Блока, про которого ее мама сказала: «Это король поэтов!» Но почему-то ноги понесли к этажерке, руки вытащили сборник его стихов.

Они обменялись поэтическими томиками. Они прожили в одном селе два года, по всем статьям должны были стать подругами, а едва не превратились во врагов. Они расставались с горечью несостоявшейся дружбы и сознанием невозвратности прожитого.

– Ирина! – сказала Настя, отбросив отчество. – Я абсолютно убеждена, что вы прекрасный педагог! Погорелову, между нами, – подмигнула Настя, – с учительницей повезло гораздо больше, чем с председательницей колхоза.

Председатель колхоза Акулина, по второму браку Майданцева, суетная горлопанка, недолюбливала Медведевых за то, что ее второй ненаглядный

муж Максимка Майданцев когда-то был влюблен в Нюраню Медведеву. За последний год, по общему мнению, Акулина скисла. Максим воевал, на старшего сына получила похоронку, на второго – «пропал без вести», а всего у нее было шесть сынов и дочек. Ей вдруг втемяшилось, что на ее доме лежит проклятие, что ее может постигнуть та же участь, что и бабушку Максима – потерять всех сыновей. Коммунистка Акулина тайно пригласила попа – освятить дом. Все, конечно, узнали, никто не осудил и не донес.

Акулина на отъезд ленинградцев выделила двое запряженных саней с возницами. Это был широкий жест, покрывавший все ее несправедливые придирки.

Люди выходили со дворов, стояли на улице, провожали взглядами. Никто не махал руками, прощаясь, слов не выкрикивали. Молча смотрели, уж попрощались. В отъезде ленинградцев, досадном с точки зрения потери производительной силы Марфы и Митрия, была и радость. Как предчувствие Победы. Приехали из Расеи доходяги, уезжают справные, подкормленные, на место постоянного пребывания. Когда из Сибири на войну мужики уходят – беда, а когда обратным ходом бабы, детки, да инвалиды – славно! К Победе.

Наконец, сели и поехали. Шикарно – в настоящем купе вшестером. На двери, что от коридора отгораживает, зеркало не сильно треснутое – глядись, не хочу. Туалет в конце вагона часто работает, из титана кипятилок бери практически постоянно. Проводница только с первого взгляда мегера, а взаправде просто сильно уставшая женщина. Степка, конечно, взаперти сидеть не мог, по поезду шнырял. Принес весть: под полками много ленинградцев прячется.

Степку никто не понял. Оказалось: не всем блокадникам удалось получить законные пропуска, они правдами и неправдами, подкупая проводников, жалобя пассажиров, залезают в поезда, прячутся, очень сильно хотят обратно в родной город.

Марфа тяжело вздохнула:

– Дык и говорится: кто может, тот и едет, а не может, так ползет. – Она дала Степке пирожков. – Раздай, которые с детьми и голодают.

Он вернулся довольный: как же, выступил благодетелем! В кармане что-то топорщится. Часы на цепочке! Клянется-верещит, что не торговал, ему всучили. Митяй расвирепел, как только припадка не случилось, Стёпку оттащил за уши, благо, места мало, не развернуться в купе, а то бы оставил брата безухим. Митяй сказал, что пойдет «с этим мародёром» извиняться. Настя их одних не отпустила: «Я с вами!» Она весь путь

следования постоянно торкала мужа: «Не смотри в окно! Мелькает! Не смотри на колеса, когда куришь в тамбуре!» Настя, вернувшись, обратилась к Марфе, как к старосте купе, с просительной миной: «Там женщина, преподавательница консерватории, совершенно беспомощная». Для Марфы бездетных беспомощных женщин не существовало. Нужда заставит, бросишь на фортепьяно тренькать, пойдешь полы мыть, а христорадничать на себя одну – позорно. И та же самая Марфа привела с вокзала после стоянки женщину с тремя детьми. Стояли подолгу, выгуливаясь на свежем воздухе, пропуская мчащиеся на Восток эшелоны. У женщины, которую привела Марфа, только один ребенок был свой, двое других – от соседки, с которой вместе в эвакуацию уехали и которая от дистрофии умерла. От полученной в Блокаду дистрофии умирали и через месяц, и через два: в организме шли процессы необратимые. Мать деток сохранила ценой своей жизни, добрая женщина-соседка их не оставила, пятый поезд пропускают... И... они... почти земляки, с Петроградской стороны. В шикарном купе раньше сидели на коленях друг у друга, теперь – на головах. А на подъезде к Ленинграду, когда ехать оставалось часов пять, если не будет долгих стоянок, Марфа опять подсадила к ним пассажиров: бабушку, которая везла в Ленинград двух внуков. Мать этих детей умерла, бабушка болела, из последних сил держалась, не хотела, чтобы внуков в детдом забрали, вот и везла их к своей младшей дочери. Ничего, потеснятся, в тесноте да не в обиде.

На перроне их встречал Александр Павлович Камышин. Суматоха (как внедриться в вагон на отправной станции, так и выскочить из него на конечной станции люди почему-то нервно торопятся) помогла Насте скрыть горестный всхлип. Папа не просто постарел. Он скукожился, стал ниже ростом, превратился в худенького старичка, на котором довоенное пальто, прежде облегающее крепкую фигуру, болталось свободно. Настя поцеловала отца, высокорослый Митяй его обнял, Настя с Митяем снова бросились в вагон – выносить вещи и выводить своих пассажиров.

Вокруг оторопевшего Александра Павловича ширилась куча чемоданов, узлов, между которыми пристраивались дети... В невероятном количестве! Откуда столько детей?

Наконец он увидел Марфу. Статную, большую, красивую, несмотря на мужской тулуп, голову, повязанную шерстяным платком, концы которого, крест-накрест через грудь, уходили за спину, несмотря на валенки с клоунскими галошами.

– Марфа моя! – подскочил, обнял, зарылся головой ей в плечо,

уткнулся носом в жесткую ткань тулупа.

– Ну, будет, будет! – похлопала его по спине Марфа и отстранила. – Раз, два, три чемодана, а где четвертый и пятый? Узлов сколько? Стёпка, ирод! Поздоровайся с Лександр Палычем! Где чемоданы и узлы?

– Да выносят, мама!

Степан как взрослый протянул Александру Павловичу руку, но тот, игнорируя рукопожатие, крепко прижал его к себе.

Стёпка даже крикнул:

– Задушите! Если мама недосчитается чемоданов и узлов, она мне башку отвертит.

Камышин развел руки, сын Стёпка нырнул обратно в вагон, из которого продолжали выплескиваться разновозрастные дети, узлы и чемоданы.

– Папа! Твой внук Илья! – Настя подвела к нему мальчонку в черной цигейковой шапке и шубке, перепоясанной ремешком.

– Вырос-то как! – подхватил его на руки Александр Павлович. – Вы все возмужали и выросли, любо-дорого видеть. Но, позвольте спросить, остальные... весь этот детский сад?

– Временный, – ответила Марфа. – Им только переночевать. У нас ведь две площади, вас не стеснят.

– Как сказать две... Хорошо, что я приехал встречать вас не на легковой машине, а на грузовике.

– На грузовике! – возрадовалась Марфа. – Дык мы сейчас и багаж заберем!

– Еще и багаж!? – Камышин чуть не выронил внука.

Марфа его не слушала:

– Митяй! У нас грузовик! Настя, доставай из сумки квитанции! Бегите за багажом! А то пропадет, стырят, не поперхнутся. Я все нервничала в дороге, а тут грузовик.

Камышин с внуком ехал в кабине, остальные – в кузове. У Митяя вид улиц любимого города вызвал горечь и бессильную злость, словно по жилам вместо крови заструилась желчь. Кругом груды мусора, камней, все дома со следами обстрелов, многие вовсе разрушены, остались куски стен – точно декорации спектакля про конец мира. Памятники либо исчезли, как знаменитые кони Клодта на Аничковом мосту, либо замурованы в саркофаги, обитые досками. Солнце светит, а сияния ленинградских куполов нет. Купола Исаакиевского и Петропавловского соборов покрашены грязно-серой краской, Адмиралтейства и

Михайловского замка – накрыты громадными маскировочными чехлами. Разбомблены Гостиный двор, Русский музей, Театр имени Пушкина. На крышах многих зданий, даже на Кунсткамере, оружейные и пулеметные точки.

У Насти и Марфы было совсем другое настроение. Они вертели головами и отмечали радостно, что стало чище.

– Это называется «чисто»? – покачал головой Митяй. – Что же раньше было?

Не объяснять же ему, что если на улицах нет трупов, то это уже очень чисто.

– Да уберем мы свой город! – воскликнула Настя. – Митька, перестань хмуриться! Посмотри! Трамваи ходят! Афиши видел? Театры работают! Кино крутят! Папа сказал, что начали разбирать баррикады и засыпать щели во дворах, скверах и парках.

«Баррикады и щели, – подумал Митяй, – означает, что допускали возможность боев в городе».

– Еще папа сказал, – продолжала Настя, – что у нас в доме скоро восстановят водопровод и канализацию. Это ли не счастье? Ка-на-лизация! – по слогам проговорила она.

Радостный подъем, который переживала Марфа (канализация, багаж благополучно доехал) испарился у дверей собственной квартиры.

Попросила ключи у Камышина, он замялся:

– Видишь ли, теперь это не ваша квартира, там живут другие люди. Я не хотел тебя сразу расстраивать.

Марфа таращила глаза, смотрела на него как на безумного. Подняв кулаки затарабанила в дверь, продолжая оглядываться на Камышина, который нес несусветицу.

На стук никто не открыл. Марфа повернулась боком, сделала несколько шагов назад, явно намереваясь вышибить дверь с разбега. Камышин едва успел остановить ее, схватить за талию. Его руки не сошлись у нее на поясе – под тулупом у Марфы было демисезонное пальто, две шерстяных кофты, несколько блузок и юбок. Почти весь свой гардероб она привезла на себе, высвобождая место для продуктов.

– Да что ж? Ды как ж? – вырывалась Марфа.

Субтильный Камышин оказался на удивление силен.

– Моя квартира! Не отдам! Как посмели? Грабеж!

– По-твоему, я должен был лечь на пороге и не пустить мать с четырьмя детьми, у которых был ордер? Растолстела ты, однако! Пойдем

домой! Здравствуйте, товарищи! – приветствовал Камышин высыпавших в коридор соседей.

Среди них было много новых лиц, но тех соседок, с которыми пережила страшную блокадную зиму, Марфа сейчас не узнавала.

– Не уйду от своей квартиры! – твердила она.

– Извини, милая, – тихо проговорил Александр Павлович, – на руках я тебя не донесу. Позову Митяя, поволочем. Или добровольно пойдешь?

Марфе пришлось подчиниться.

В квартире Камышиных не было мебели – сожгли в буржуйке. Кое-что Александр Павлович перетащил из Марфиной квартиры: сундук, кровать, стол, кресло Елены Григорьевны. И еще раздобыл две солдатских койки с панцирными сетками. Когда внесли багаж, повернуться стало негде. Их было семеро, Илюшу считая. Женщина с детьми, первая попутчица, сошла на Петроградской. Бабушку с детьми не выгонишь, их родню еще надо отыскать на Васильевском. Итого десять человек – в покатуху не поместиться.

– Нам нужно поговорить. Наедине, – сказал Александр Павлович, не дав Марфе прийти в себя и оценить размер трагедии, едва ли не силком, петляя среди ящиков, чемоданов и узлов, потащил ее в маленькую комнату.

Марфа взмокла. Сбрасывала перед изумленным Камышиным одежды, точно кочан капусты ожил и вздумал скинуть лишние листья. Наконец, осталась в юбке (под ней еще три штуки, но не снимать же при мужике) и в блузке. Под мышками и на груди расплывались темные пятна.

Александр Павлович смотрел на нее с нежностью:

– Какая ты у меня красавица!

«У меня» Марфе не понравилось, и на вокзале он назвал ее «моя Марфа». В обоих случаях прозвучало не как «моя работница, прислуга», а с другим подтекстом. А дальнейшие его слова, уж вовсе – ни в какие ворота!

– Я очень тосковал без тебя! Марфа, я делаю тебе предложение, выходи за меня!

– Куда выходить?

– Замуж. Очень тебя прошу! Мы с тобой вдовы, у нас общие сын и внук...

– Внук – да! А про сына если заикнетесь, ввек не прошу!

– Хорошо, мы обсудим это позже. Ты согласна?

– Ой, да что глупости спрашивать и предлагать! Взбретет же в голову!

– Двадцать с лишним лет назад взбрело, до сих пор бродит и до последних моих дней бродить будет. Я, конечно, мечтал о твоём быстром и

положительном ответе, но не сильно надеялся на него. Поэтому зайду с другой стороны. Слушай меня внимательно и включи свои прагматичные мозги. С жильем в Ленинграде всегда было трудно, а станет катастрофично. В первые месяцы войны в город хлынули беженцы из окрестных областей, сколько их было, никто не подсчитывал, многие, очень многие умерли в Блокаду. Тем, что остались, ехать некуда, их города и села разрушены. По самым скромным прикидкам, это несколько сотен тысяч человек. Далее. Уже подписан приказ о реэвакуации, то есть в Ленинград будут возвращаться предприятия, их рабочие и служащие. Сейчас правдами и неправдами, как ваши попутчики, приезжают сотни, через месяц будут тысячи. Этих людей можно понять, они хотят вернуться в родной город. А жить им негде. Если дома не разрушены, то пустующие квартиры заселяются, как ты уже убедилась. По закону, то есть теоретически, вернуть свое жилье можно. Но это страшная бюрократическая волокита. Кроме того, есть моральный аспект. Хотел бы я на тебя посмотреть, когда ты выбрасываешь на улицу вдову с четырьмя маленькими детьми.

Марфа хотела что-то сказать, но Камышин остановил ее жестом: не перебивай!

– К концу года и в последующие, – говорил он, – каждый скворечник в Питере превратится в желанный угол. Война не окончена и, возможно, это не последняя война. Поэтому деньги, то есть ресурсы, будут брошены на промышленность, на восстановление и укрепление народного хозяйства, а не на улучшение жилищных условий. Ты все поняла? Подхожу к самому главному. Как ты можешь догадываться, я тут был не последним человеком. И мне предлагают квартиру, отдельную, на Петроградской стороне. Но я не могу ее получить один, а женатым, с тобой и Степкой...

– И с Аннушкой.

– И с Аннушкой, – кивнул Камышин, посчитав ремарку Марфы добрым знаком, – мы получим. Марфа! Трехкомнатная, отдельная! С ванной! Могу я, в конце концов, на старости лет не ходить по улицам с шайкой? Кухня семь метров, горячая и холодная вода, пока только холодная. И, Марфа! Там газ... будет, когда восстановят. Представляешь? Никаких печек, никаких дров и угля! Повернула ручку, спичку поднесла – вот он, огонь, вари не хочу.

– А духовка как же?

– Тоже на газе. Цивилизация! Настя с Митяем останутся в этой квартире. Согласись, молодым хочется пожить отдельно, и у нас с тобой есть возможность помочь им.

– Дык вы с молодыми и получите квартиру, а я здесь.

– Нет! – отрезал Камышин и стал похож на командира, который расщедрился до объяснения приказа, а надо было просто командовать. – Или ты выходишь за меня, или я пальцем не пошевелю! Я тебе не выкручиваю руки, то есть выкручиваю, но мне плевать на рыцарское благородство. Я хочу, чтобы ты стала моей женой!

– Кака из меня вам жена! – захныкала Марфа. – Ни образования, ни манер...

– Плевать мне на манеры!

– Я простая деревенская баба. В платке хожу и... без трусов-пantalон!

– Без чего? Мне нет дела до твоих... А! Тебя, вероятно, смущает необходимость...так сказать, спать со мной в одной постели. Но я же не насильник, черт подери! Трусов у нее нет как аргумент замуж не выходить! Без трусов даже проще. Раньше было... Думаешь, мои годы и война жеребьячества прибавили? Напротив! О душе моей подумай! Марфа! Ты самая лучшая: живая, настоящая, теплая. В тебе нет ни капли жеманства и эгоизма. Этого я нахлебался по уши. Ты живешь для других, даришь всем заботу и участие. Я, пока окончательно не состарился, хочу отхватить изрядный кусок. С другой стороны, я и для тебя желаю улучшения положения. Королевских условий не обещаю, но сносные гарантирую.

– Подумать надо...

– Завтра последний срок, или квартира уплывет, она уже месяц нас ждет, – на чистом глазу соврал Камышин.

Он знал, что Марфа, при всех ее замечательных качествах, упряма как ослица. От нее можно чего-то добиться, только загнав в угол, потом тащить на аркане и водить перед носом заманчивой приманкой.

– Ой, не знаю! – страдала Марфа. – Как детям-то, сынам и Насте, скажу! Срам!

– Тебе ничего говорить не придется. Кто у нас глава семьи? Отвечай: «Ты, Сашенька!»

– Ка-ак?

– Научишься. Мы тут уже целый час торчим. Пойдем сдаваться, милая.

Они вышли в большую комнату, и Камышин объявил, что они поженятся. Александр Павлович выглядел радостно-возбужденным, даже помолодевшим. Взмокшая Марфа – будто после пыток.

Настя потом говорила, что неожиданное известие вызвало реакцию, как в финале известной пьесы Гоголя – немая сцена.

– Мы не потому, а потому... – пробормотала Марфа и запуталась.

– Потому что я очень давно люблю ее! – в голос расхохотался счастливый Камышин.